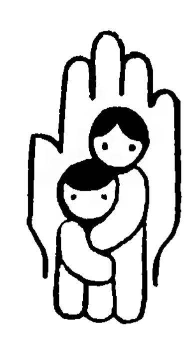
Борис Житков

СЕМЬ ОГНЕЙ



ИЗДАТЕЛЬСТВО „ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА“

Борис Житков Семь огней



*Дополнительно вырученные средства
от надбавки к цене издания направляются на развитие и укрепление
материально-технической базы детских домов
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
санаториев для детей-инвалидов,
на другие виды социальной помощи детям
и иные нужды Советского детского фонда им. В. И. Ленина
для выполнения его уставных задач.*

**ЛЕНИНГРАД
«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ**

1989



Борис Житков

СЕМЬ



ОГНЕЙ

Очерки, рассказы,
повести, пьесы

СОСТАВИТЕЛЬ Г. ЧЕРНЕНКО

ХУДОЖНИКИ
А. БРЕЙ, В. ВЛАДИМИРОВ, Н. ЛАПШИН,
П. МИТУРИЧ, А. САМОХВАЛОВ, Р. СЕМАШКЕВИЧ,
С. СОКОЛОВ, М. ЦЕХАНОВСКИЙ

ОФОРМЛЕНИЕ Г. ФИЛЬЧАКОВА

$Ж\frac{4802000000-155}{М101(03)-89}196-89$

ISBN 5—08—000182—8

ОЧЕРКИ



ТЕЛЕГРАММА

По петербургской улице
Телеграмму провели.
Сдали милого в солдаты,
В Стару Руссу увезли.

Новгородская частушка

Эфиопское радио

Раньше проще было. Вот хоть лет тысячи две тому назад. Дело было так. На юг теперешней Украины пошли походом персы. Дорога шла через реку Дунай. Почти у самого устья переправились персы всем войском. Навели плавучий мост и перешли с конями, с повозками, со всеми припасами и амуницией. Шли, не зная толком, что там, впереди. Слухи были, что живет там дикий народ скифы, что все они на конях, живут вразброд и нападают внезапно, налетом. Как быть: оставить мост и стражу при нем или совсем его поломать? Решили перевезти весь мост на свою сторону, и пусть там его стережет отряд. А то ведь на скифской стороне опасно. Налетят, того гляди, скифы, перебьют всю стражу, завладеют мостом — куда тогда отступать, в случае чего? А если мост ждет на той стороне, то дай только знать, и товарищи подадут мост. А когда можно с боем отступать на мост и, когда вступит последний человек, оттолкнуть мост от берега — и баста. По воде на конях не поскачешь вдогонку.



Войско перешло, стража оттянула мост на свой берег и стала ждать, когда вернутся из дальнего похода товарищи.

Много времени прошло. Далеко зашло персидское войско. Сражалось, пробивалось вперед. Но уж, видно, не с хлебом-солью принимали скифы гостей: пришлось спешить назад. Назад, к Дунаю, к переправе, где оставили мост на том берегу. Пришли. А стража

обжилась на месте. Никто не знал, когда вернется войско. Нельзя же, в самом деле, не сводя глаз, месяцами целыми смотреть на тот берег. А войску уж, видно, невтерпеж было. Да и узнать хотелось, цел ли мост-то. Не перебили ли всю стражу на том берегу, не отрезан ли путь? Как дать знать? Как вызвать мост? Река широкая, с версту...

И вот нашелся в войске один эфиоп (негр). Знаменит был голосиной. Взялся крикнуть на тот берег и вызвать мост. Если есть живой человек, услышит.

И заорал. Заорал так, что стража услыхала, всполошилась, поняла, что свои пришли, и бросилась наводить мост.

Вот это радио! Эфиопское радио.

Живой телеграф

Но уж на три версты и эфиопское радио не достанет. А людям давно хотелось говорить так, чтобы за сто верст слышали. Помощь вызвать, приказ передать. Можно, конечно, гонца послать. Но когда еще гонец доскачет! Бывают такие случаи: надо, чтоб одно слово, но только чтоб сейчас, сию минуту это слово услышали свои, что стоят далеко.

И стали люди выдумывать. Можно так сделать: поставить людей в ряд от одного места до другого. Расставить их на расстоянии человеческого голоса. И пусть эти люди кричат по линии от одного к другому, что им прикажут передать. Живой телеграф. Люди стоят, как телеграфные столбы, и от одного к другому идет во всю глотку телеграмма.

Так пробовали делать. Но зато и перевирали эти передатчики! И ведь сколько народу надо поставить, например, хотя бы на расстоянии пяти верст! Целый полк. Да ведь нельзя же, чтоб люди день и ночь стояли, не пили, не ели, а только б ждали: не крикнет ли сосед справа или слева какого-нибудь слова.

И все равно это долго. А на большое расстояние и вовсе не годится.

Семафорный

Другое выдумали, уже похитрей.

Представьте себе, что я с вами уговорюсь так: поднял я правую руку вверх — значит «И»; поднял я левую руку вровень с плечом — это будет значить «Г»; а если я обе руки поставил в уровень с плечами, то это будет «Т» и так далее. Такую бы ручную азбуку если выдумать, то можно было бы говорить с далекого расстояния, лишь бы видно было, как у человека руки стоят. Такая азбука есть. Ее всякий пионер должен знать. Она называется «семафорная азбука». Ею очень много пользуются во флоте. Есть специалисты этого дела — сигнальщики. Они, чтобы лучше было видно, берут еще в руки по флажку



СЕМАФОРНАЯ АЗБУКА

и так быстро машут руками, что удивляешься, как они друг друга понимают. Так вот в старинные времена во Франции устроили такой телеграф. От одного поста к другому семафорной азбукой показывали буквы. Видеть можно гораздо дальше, чем слышать, — значит, уже постов надо гораздо меньше, чем когда приходится кричать от одного к другому. Только французы выдумали еще лучше. Они поставили вместо людей башни. У башен этих были крылья. Вроде как у ветряной мельницы. И башня эта махала крыльями, как сигнальщик руками. Конечно, в башне сидели люди, и они-то и управляли крыльями. Башню далеко видно, крылья большие, заметные. Значит, не так уж их много надо, чтобы установить телеграфное сообщение между двумя городами. И французский король передавал свои приказания из Парижа в город Марсель, на Средиземном море.

А ночью?.. Ночью дело было плохо. А днем в туман? Или в сильный дождь, в глухую осень?

Но в ясную погоду днем буквы летали от одной семафорной башни к другой так, что не догнать их было никакому коню.

Тогда все были очень довольны, что выдумали такой хитрый телеграф. Говорил по нему только король. Передавались приказы и другие казенные телеграммы.

А уж ночью — ни-ни! Сиди и жди рассвета — будь ты хоть трижды король. Или вот случай: послали, например, телеграмму из Парижа в ясный день, и не дошла: по пути туман. И застряла телеграмма в дороге. Пока туман прошел, гляди, уж вечер.

Нет, ненадежный был телеграф!

Электрический

Но вот когда люди овладели электричеством, сразу пошло дело иначе. Тут уж такая быстрота, что никакая пуля не обгонит. Электричество летит по проволоке так, что в секунду десять раз вокруг света может обежать.

Теперь всякий школьник знает про радио, школьники ставят у себя приемники и слушают, что за тридевять земель говорит кто-нибудь. Да и говорит обыкновенным голосом. Никто даже не удивляется, а еще сердятся, если слабо слышно.

А ведь это, действительно, невероятное дело.

Сидят два человека в разных частях света, ничем не связаны — ни проволокой, ни веревочкой — и говорят между собой, как будто они рядом за одним столом сидят.

Так, может быть, как-нибудь по земле, сквозь почву несется телеграмма? На земле же оба телеграфиста. Может быть, земля им служит вместо проволоки?

Опять не то: ведь телеграфируют же люди в море с корабля на корабль? Может быть, тогда... и по воде бежит электричество?

А как же с аэроплана на аэроплан подают телеграмму? Тут уж ни земли, ни воды! По воздуху! Воздух несет телеграмму! Конечно!

И совсем не конечно: поставьте радиоприемник в банку и выкачайте из этой банки весь воздух — приемник будет работать как ни в чем не бывало. И верно: удивительная штука радио. Как же это без проволоки и даже без ничего?

А знаете, есть такой датский анекдот.

Едут два крестьянина на возу по дороге. Один поглядел на телеграфные столбы и говорит:

— Действительно, не понять: как это они без проволоки могут!

Потом помотал головой и сказал:

— Да, признаться, я и того не пойму, как они и с проволокой-то ухитряются.

Забыл, бедняга, вовремя удивиться. Пока собирался, уже выдумали без проволоки телеграфировать.

Звонком

И верно: раньше чем удивляться радио, не грех было бы узнать, как работает самый обыкновенный телеграф с проволокой. Тем более что дело совсем не такое хитрое.

Ведь простой электрический звонок может служить телеграфом. Да и служит даже. Вот хотя бы: нажмут с улицы кнопку — в доме уже получена телеграмма: «Отворяйте!»

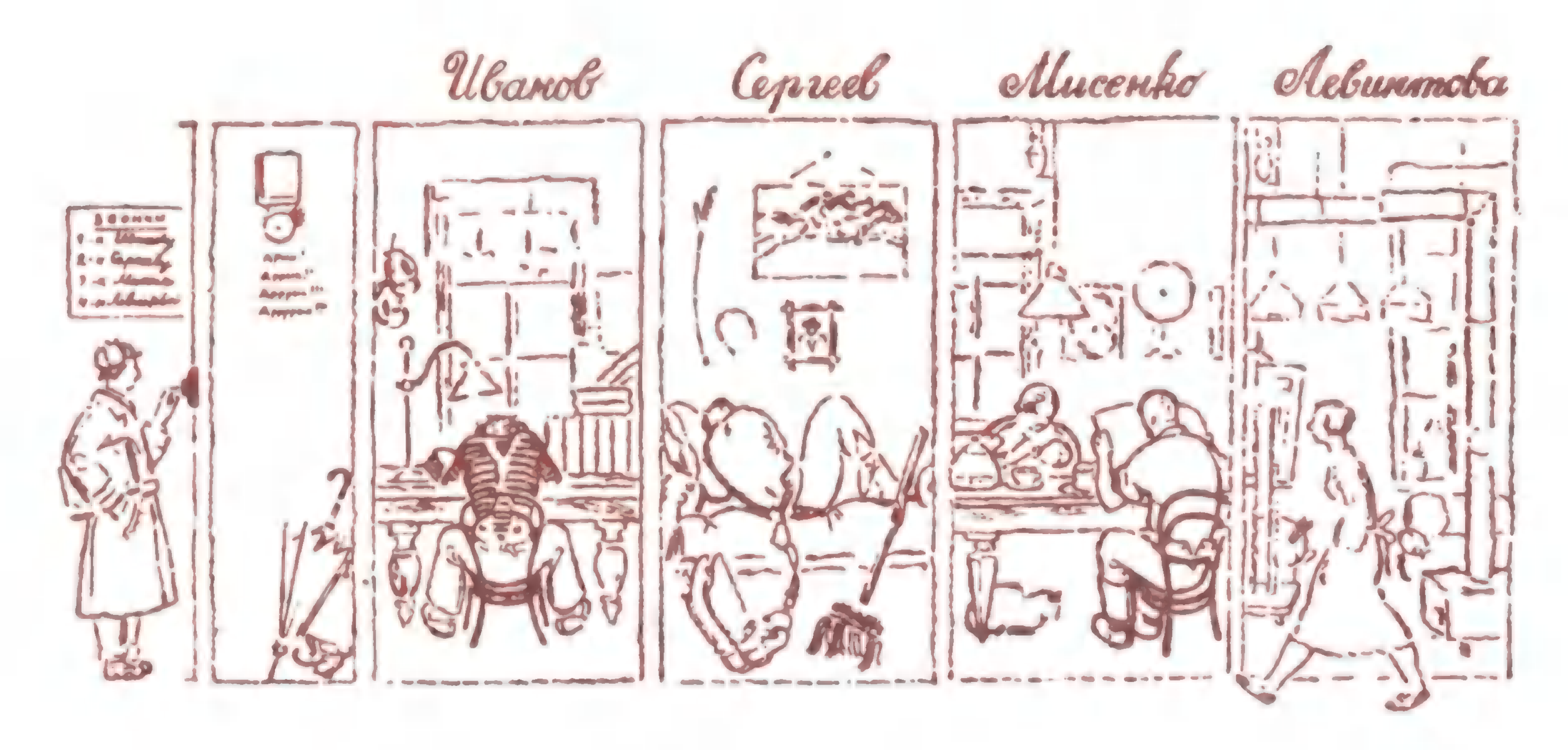
А ведь бывает, что в квартире пятеро жильцов, а звонок один.

— Звонят!

Кому идти отворять? Один думает:

«Очень надо. Кому-то там звонят, а я иди отпирай!»

И всякий думает:



«Пусть отпирает кому надо, я им не швейцар!»

Выходит, что так и не откроют?

Нет! Тогда делают так: пишут на дверях записку.

Один раз звонить — к Ивановым.

Два раза — к Сергеевым.

Три — к Мисенко.

Четыре — к Левинтовой.

Позвонят два раза. Все уже в квартире знают:

— Сергеевы! Отворяйте, к вам пришли!

А можно так уговориться, чтоб целые слова передавать звонком. Целую азбуку выдумать.

Ее и выдумали. Вот, например, так: дать короткий звонок, а потом длинный. И уговориться, что это будет значить «А».

«Дрык! Др-р-р-ры!» — вот и «А».

Букву «К» обозначают так: длинный, короткий и снова длинный.

«Ш» — четыре длинных один за другим.

Вот уже можно сказать слово «каша».

Длинный, короткий, длинный — «К». Переждать чуточку. Потом: короткий и длинный — «А». Потом четыре длинных — «Ш». И снова дать «А». Вот и готово. Кто знает телеграфную азбуку, поймет: «каша». Так что если из города в город провести проволоки, то можно разговаривать электрическим звонком. Для каждой буквы выдуман свой сигнал. Надо только хорошо вытвердить эту телеграфную азбуку. Она называется азбукой Морзе по фамилии изобретателя проволочного телеграфа.

Фонарем

По этой азбуке Морзе удобно переговариваться ночью фонарем. Возьмите такой фонарь, чтобы он светил только в одну сторону. С этой стороны прикройте его — ну хотя бы книгой. Хочется вам передать букву «К». Откройте фонарь на секунду, потом на один миг и опять на секунду. Кто будет следить за вашими сигналами, увидит: долгий

свет, короткий и снова долгий — и по азбуке Морзе поймет, что это «К». Так переговариваются ночью суда в море.

На верхушке мачты ставят электрическую лампочку, а провода спускают на палубу. Кнопкой зажигают и гасят лампочку. Она светит то долгими, то короткими вспышками и передает буквы по азбуке Морзе.

Но вот представьте себе, что вы слушаете, как звонит звонок, и понимаете каждую букву. Выходят слова. Идет что-нибудь длинное-длинное.

Телеграф Морзе

Ведь это пока до конца дослушаешь, забудешь, что в начале было. Записывать?

Конечно, записывать. Но очень неудобно и прислушиваться и записывать. Дослушал слово — и пиши скорее. А пока пишешь, тут уж другое слово идет, как раз и проморгаешь.

Можно, конечно, так: записывать азбукой Морзе. Дали долгий звонок — ставь на бумаге долгую черту. Дали короткий — ставь за ней следом точку. Так и вали: точки, черточки, промежутки, все в ряд, дальше и дальше.

Кончилась телеграмма. Теперь можно спокойно, не торопясь, разобрать, что вам тут назвонили.

Но вот вы пойдите нарочно на телеграф и послушайте, как быстро стукает ключом аппарата телеграфист. Если б в другом городе так звонил бы звонок, тут никто б не поспел записать. А если б нашелся такой ловкач, он часу бы одного такой работы не выдержал. Стал бы путать, под конец совсем очумел бы и сбежал бы вон.

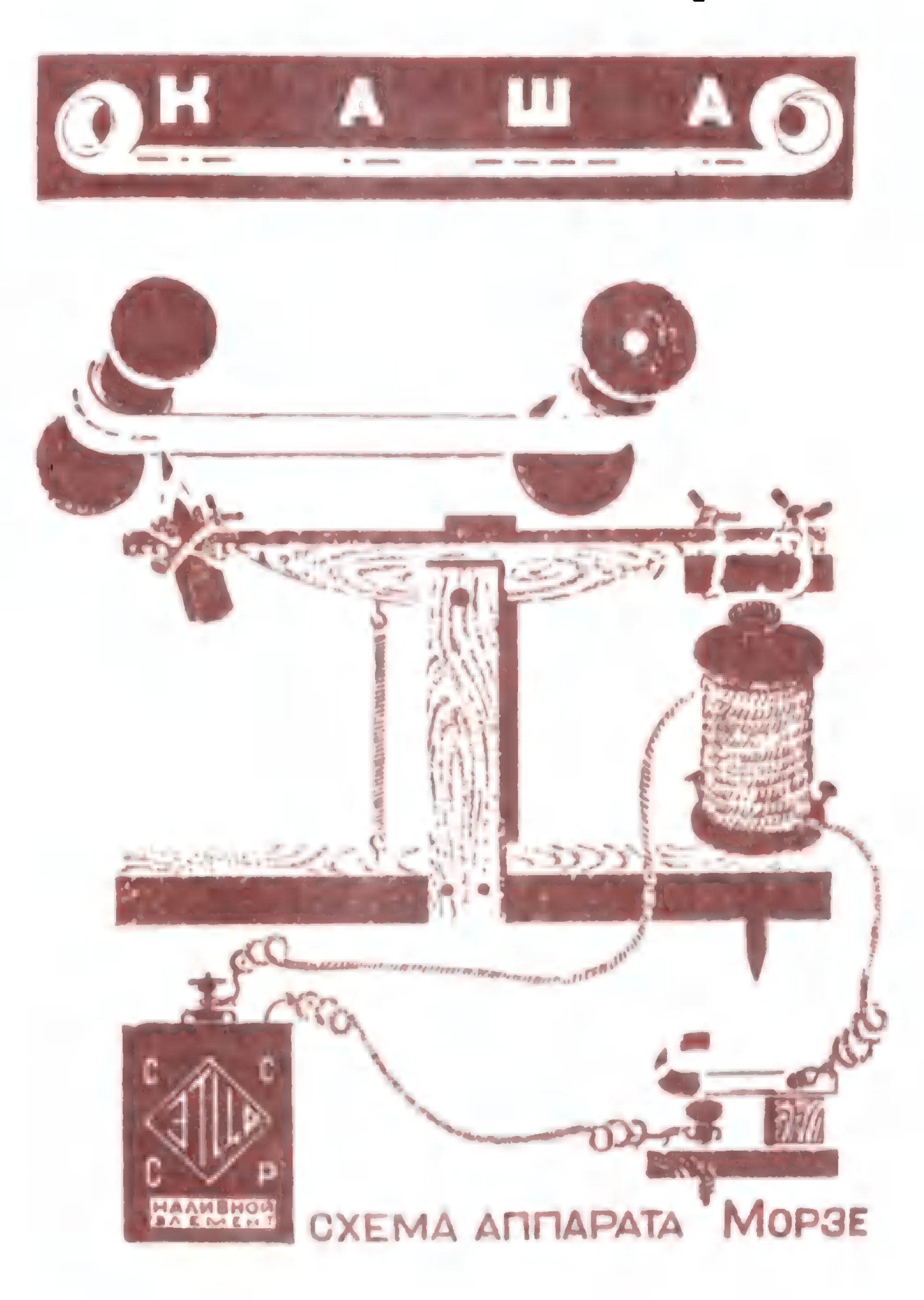


СХЕМА АППАРАТА МОРЗЕ

Самое бы лучшее было, если б сам звонок и записывал. Поставить бы такую машинку.

Такую машинку и выдумал Морзе.

Дело в том, что электрический ток имеет вот какое свойство: если ток пустить вокруг железа, то железо станет магнитом. И только на то время, пока бежит электричество.

Прекратится электрический ток — и стало железо как было.

Устраивают это так: берут катушку (можете взять хоть от ниток), на эту катушку навивают про-

волоку[1]. В середину катушки вставляют железные прутики (проволочки). Теперь если пропустить по этой проволоке ток[2], то железо станет магнитом. Это намагниченное электрическим током железо называют электромагнитом.

Вот Морзе этим и воспользовался. Он заставил карандаш действовать от электричества и писать черточки и точки.

Морзе устроил так: на оси повесил медное коромысло, как это бывает у весов. На одном конце приделал кусок железа (якорь). А чтоб коромысло стояло ровно, другой конец он оттянул пружинкой вниз.

Морзе под якорь подвел электромагнит. А на другой конец коромысла приделал карандашик — торчком вверх.

Теперь пустите-ка ток в электромагнит. Железо моментально намагничивается, потянет к себе якорь. Коромысло повернется, и карандашик пойдет вверх. Как только прервем ток, железо в ту же секунду размагнитится, потеряет силу и отпустит якорь. А пружинка поставит коромысло, как оно было. Спустится вниз и карандашик.

Выходит, значит, что током можно заставлять карандашик подскакивать и отходить вниз, как мы хотим.

Можно сделать так, чтоб он то долго стоял вверху, то чтоб только дернулся вверх и сейчас же отскочил назад.

Теперь надо сделать, чтоб он писал. Карандаш ходит вверх и вниз, вот если б он еще тянулся вдоль, все было б готово, только подставляй ему бумагу.

Ну, из этого есть выход. Коли карандаш у нас вдоль не ходит, кто нам мешает пустить ходить бумагу? Ведь, если вы прижмете карандаш к листу, а я за лист дерну — получится черта, хотя бы карандаш и держали на месте.

Теперь вы не водите карандашом, а только толкайте им в бумагу — то придержите, то клюньте коротко. А я в это время буду равномерно тянуть лист у вас из-под руки. И получатся короткие и длинные черточки, как и надо для азбуки Морзе.

Для такой записи не надо и листа. Довольно узкой ленты, надо лишь тянуть правильно. Лишь бы лента шла не сбиваясь на сторону и тянулась бы равномерно.

Такую ленту и пустил Морзе над карандашиком своего телеграфа. Она сматывается с плоской катушки, ее тянут валики, и тянут-то как раз над карандашиком.

Телеграфист пустит ток по проволоке из другого города. Ток побежит по телеграфной «линии», по проволоке, что висит на столбах вдоль дороги, прибежит в город, на телеграфную станцию, пробежит в электромагните. Вот уже якорь пошел вниз, карандаш вверх — и приткнулся к бумажной ленте. А лента идет, тянется, и на ней карандаш оставляет след — получается черта.

Это я долго рассказываю, а делается это мгновенно. Вот уже где скоро дело делается, да не скоро сказка сказывается. Только

---

[1] Проволоку надо брать не голую, а обмотанную нитками. Она называется «изолированной» и вырабатывается на электромеханических заводах. Для электромагнита надо брать тоненькую.

[2] Ток от освещения не годится. Можно его брать от батарейки карманного фонарика.

шевельнул рукой телеграфист в Питере, в тот же момент уж прижат в Москве карандаш к ленте.

Теперь уж все понятно. Стоит телеграфисту не зря пускать ток, а по азбуке Морзе — то долго, то коротко, и на ленте карандаш будет оставлять то долгие, то короткие следы. Лишь бы лента шла без перерыва.

В почтовом отделении

Теперь я расскажу, как устроен тот аппарат Морзе, что стоит в наших почтовых отделениях.

Посмотришь, и не видно снаружи ни коромысла, ни катушки с лентой. Видно только, как змеей выбегает бумажная тесемка, а на ней черточки и точки. Да слышно, как дробно стучит аппарат.

Коромысло запрятано внутрь медного ящика — оттого его и не видно. Из ящика торчат только его два конца. Один сзади — он над электромагнитами: для верности и силы их поставлено два.

Другой конец загнут вбок и высунут через стенку ящика. На нем вы не увидите никакого карандашика. Карандашик будет скоро стираться — когда же его чинить, если шлют телеграмму за телеграммой. А потом, он будет сильно скрести ленту.

Теперь телеграф пишет чернилами. Только не пером, а колесиком. У колесика обод острый, и внизу под ним маленькая чернильница, как ванночка. Нижний край колеса вечно мокнет в чернилах. Это колесико постоянно вертится. Медленно поворачивается, как раз как идет лента. А лента идет между валиков. И валики, и чернильное колесико — все это вращается от машинки, что сидит внутри медного ящика. Наружу от нее выведена одна только ручка для завода: этой ручкой заводят пружину, что движет всю эту машинку. Заводят аппарат так же, как часы-будильник. И вся машинка похожа на часовую: колесики с зубчиками.

Катушки с лентой потому не видно, что она спрятана в ящике того самого стола, на котором стоит аппарат. Оттуда через щелочку лента выходит, попадает между валиками, а те уж тянут ее над пишущим колесиком.

Пускают ток «ключом». Устроен медный рычажок («ключ») с деревянной ручкой сверху. Одна проволока проведена в рычажок, другая в пуговку, что под пяткой рычажка. Телеграфист стучит пяткой рычажка, проволоки соединяются, и ток бежит по линии в другой город. Телеграфист бьет так скоро, что нам не уследить, что он там стукает. Кажется даже, что зря балуется: отбивает дробь и только. Но это все летят буквы, цифры, знаки. Есть телеграфисты, которые уж так привыкли к стуку телеграфа, что на слух, не глядя на ленту, скажут, что пишет телеграф Морзе. Их так и называют: слухачи. Слухач на ленту не смотрит — она вьется и вьется где-то сбоку — он только слушает да наспех пишет на бланке размашистым почерком.

Трубка Бранли

Вот теперь можно уж говорить и о беспроволочном телеграфе, то есть о таком телеграфном аппарате, который действовал бы без линии проводов. Такой, чтоб я мог его заставить работать, не прикасаясь к нему. Пусть стоит аппарат — пускай для простоты звонок электрический — и вот задача: не прикасаясь рукой, с расстояния, пустить его в ход.

Представьте себе, что вот, действительно, установлен электрический звонок, проведены проволоки от батареи, поставлена даже где-нибудь около звонка кнопка, и все это в одной комнате, а я должен позвонить в звонок, не входя даже в эту комнату.

Надо нажать кнопку, но... но к ней и притронуться нельзя. А не нажмешь кнопку — ничего не будет.

Кажется, невозможно...

Только кажется. Дело вот какое. Внутри кнопки две пружинки. Одна над другой. Звонковый провод перерезан, и отрезанные концы прикреплены так: один к верхней пружине, другой к нижней. Когда мы давим на пуговку кнопки, мы верхнюю пружину притискиваем к нижней. Получается, что ток может идти: обрезанные концы провода соединились через пружины. Отнимите руку, и верхняя пружина отойдет от нижней. Получится снова разрыв. А по воздуху ток не проскочит. Току нужен сплошной металлический мост. Ну а если не сплошной? Если я засыплю весь промежуток между пружинами кнопки металлическими кусочками? Опилками, например? Пойдет тогда ток по опилкам, от кусочка к кусочку, как с камешка на камешек?

Оказывается, ток не идет. Плоха дорога.

Но вот что оказывается: можно ток заставить идти по опилкам, и именно с расстояния, издали исправив ему дорогу!

Стоит только где-нибудь по соседству пустить электрическую искру, и ток побежит по опилкам как ни в чем не бывало.

Звонок зазвонит, и, значит, выйдет, что мы позвонили, не притрагиваясь к кнопке. Искру можно устроить хоть за три комнаты... Даже за версту.

Вот это свойство опилок как будто слипаться заметил ученый Бранли. Он насыпал опилок в трубку, закупорил эту трубку с обоих концов, а сквозь пробки протыкал с обоих концов проволоки. Такую трубку он ставил по дороге тока. Ток через такую трубку не проходил.

Как только где-нибудь проскочит электрическая искра, ток бежит через трубку, как по сплошной проволоке.

Но опилки не навеки остаются такими: стоит только легонько щелкнуть пальцем по трубке — кончено! Опилки снова станут, как были. По ним ток опять не захочет идти. Эту трубку так и назвали «трубкой Бранли».

Грозоотметчик Попова

Бранли о своей трубке напечатал в журналах, все о ней узнали, но что из этого можно сделать дельного, никто сразу не догадался.

Наш русский ученый Попов, Александр Степанович, решил так.

Ведь молния в небе — это та же электрическая искра. Теперь стоит только установить звонок, а вместо кнопки поставить трубку Бранли — звонок будет звонить, чуть где-нибудь появится молния. Он так и сделал. Установил звонок с трубкой Бранли, и звонок звонил, когда только еще приближалась гроза. Звонок давал знать, когда еще за сорок верст была гроза. Попов назвал этот прибор грозоотметчиком.

Но вот беда: один раз мелькнет молния, а звонок будет звонить не переставая, пока кто-нибудь не подойдет и не щелкнет по трубке пальцем. Какой же это грозоотметчик, коли он дает сигнал об одной молнии, а потом хоть их сотня ударь одна за другой, ему все равно? Знай звонит, как и от одной. Но ведь нельзя же стоять над ним все время наготове, чтобы щелкнуть по трубке пальцем, как только звонок звякнет?

Попов придумал, чтоб сам же звонок и щелкал по трубке, чтоб он сам и сбивал опилки. Попов поместил трубку рядом с бойком (молоточком) звонка. И так поставил, что как только молоточек заходит, то начнет бить не только по звонку, но и по трубке: ударит по звонку, отскочит назад, а тут трубка, он по трубке. Опилки встряхнулись, и звонок стал. Только раз один и дрыгнет молоточек.

А вот если молнии идут одна за другой подряд, — ну, тогда молоточек будет стукать по звонку раз за разом.

Смотрите — выходит, что гроза уж может подавать с неба сигналы без проводов.

Теперь уж до беспроволочного телеграфа два шага.

Беспроволочный телеграф

Попов подумал: ведь мы можем и сами делать молнию. Ну, хоть не такую, как в небе, а поменьше. Есть такие машинки, что дают искру, когда захочешь и сколько угодно подряд.

Теперь стоит только человеку сидеть у такой машины и пускать искры то длинным залпом, то короткими вспышками, и вот звонок в грозоотметчике будет звонить то длинными звонками, то короткими. Как захочет человек, который сидит при искровой машине.

А этого только и надо. Короткими и длинными звонками можно говорить по азбуке Морзе.

Беспроволочный телеграф готов.

Дайте короткую вспышку искр, а потом длинную, и грозоотметчик где-нибудь за десять верст прозвонит вам букву «А».

Главный вопрос разрешился: как нажать кнопку издалека и давать долгие и короткие сигналы.

Теперь стоит только к тем же проволокам, что идут от батареи к звонку, приключить аппарат Морзе, и у нас не только будет звук, а будет и запись по азбуке Морзе.

Попов так и сделал. Он взял морзовский аппарат, а кнопкой к нему сделал трубку Бранли[1]. Боек звонка встряхивал трубку, чтобы она не пропускала тока, когда прерывается искровой сигнал.

Для проскакивания искр Попов выдумал аппарат. Это два медных шара, один против другого. В шары проводилось электричество, но такое напряженное, что оно искрой перескакивало из одного шара в другой. Это вот и была та маленькая молния, от которой начинала работать трубка Бранли. Промежуток, в котором проскакивает искра, так и называется: искровой промежуток.

Самодельная молния

Если вам самим захочется посмотреть электрическую искру, то устроить все это можно дома — и маленькую молнию, и кукольный гром.

Сделайте так. Когда дома вечером будет топиться печка, вы возьмите лист писчей бумаги, приложите к печке, где погорячее, и потрите лист хоть рукавом, а лучше всего щеткой. Лист прилипнет к печке. Это его держит сила электричества. Теперь потушите свет в комнате и за уголок отдерните лист от печки. Услышите и треск, и зелененькую искорку увидите. Глядите внимательно туда, где отделяется бумага от печки.

Попов заметил: чем сильнее искра, тем дальше она действует. Теперь на больших мощных радиостанциях пускают громадные искры, и уж треск там стоит не тот, что от листа на печке. Похоже на пальбу, когда пропускают большие искры.

Антенна

И вот что еще заметил Попов.

Если вывести от искрового аппарата проволоку вверх, чтоб в ней, как и в шарах, напрягалось электричество и потом сразу упадало, когда из шара стрельнет искрой в другой шар, — то эта проволока сразу же даст всему аппарату большую силу и аппарат гораздо дальше начнет действовать.

Попов стал подымать проволоки на воздушных змейках и назвал их антеннами.

Но не всегда ведь бывает ветер. Попов стал подымать антенны на высоких мачтах.

---

[1] Когда русский изобретатель Александр Степанович Попов работал над своим аппаратом, приблизительно в то же время итальянец Маркони занимался теми же исследованиями в Америке. Но Попов ничего не знал о работах Маркони. А когда узнал, то оказалось, что Попов в своих работах на год опередил Маркони.

Но оказывается, что если и к приемной станции, где поставлены трубки Бранли и телеграфный аппарат, если и туда приспособить антенну, то приемная станция начнет лучше улавливать действие искр. И вот от трубки Бранли Попов поднял вверх проволоку-антенну.

Детектор

Вскоре после первого телеграфа с трубкой Бранли появились новые приемники действия искр. Их назвали детекторами. Оказывается, что есть немало таких кристаллов, которые действуют, как трубка Бранли, даже лучше — их не надо встряхивать. Они сами перестают проводить электричество, как только прекращается действие искр. Устраивали и жидкие детекторы.

Когда главное дело было сделано, много народу взялось за работу по радио. Усовершенствовали и приемники, и отправную станцию, искровой аппарат.

На всяком пассажирском судне (что уж говорить о военных) между мачтами натянуты антенны, на боевых аэропланах устроены радиостанции. А уж радиоприемников-то! В Москве на какую крышу ни взгляни, целый частокол нагорожен из шестов — всё антенны, антенны.

Но это уже радиотелефоны. Беспроволочные телефоны, по которым можно слушать не по азбуке Морзе, а настоящую человеческую речь, пение, музыку и бой часов.

ПРО ЭТУ КНИГУ

Я, старое и ржавое,
Живу теперь в отставке,
В моих чернилах плавают
Противные козявки.

С. Маршак
Вчера и сегодня

Про эту книгу

Вот я написал «Про эту книгу», а книги-то пока никакой нет. Книга еще будет. Это я надеюсь, что пока я буду писать, как эту книгу сделать, — гляди, уж целую книгу напишу. А пока что — пишу чернилами. Да и чернила дрянные. Какие-то козявки на дне. Что ни клюну пером — рака поймаю какого-нибудь. Эту вот страницу попрошу, чтоб напечатали как есть — со всеми кляксами, чтоб вы видели, с чего на-

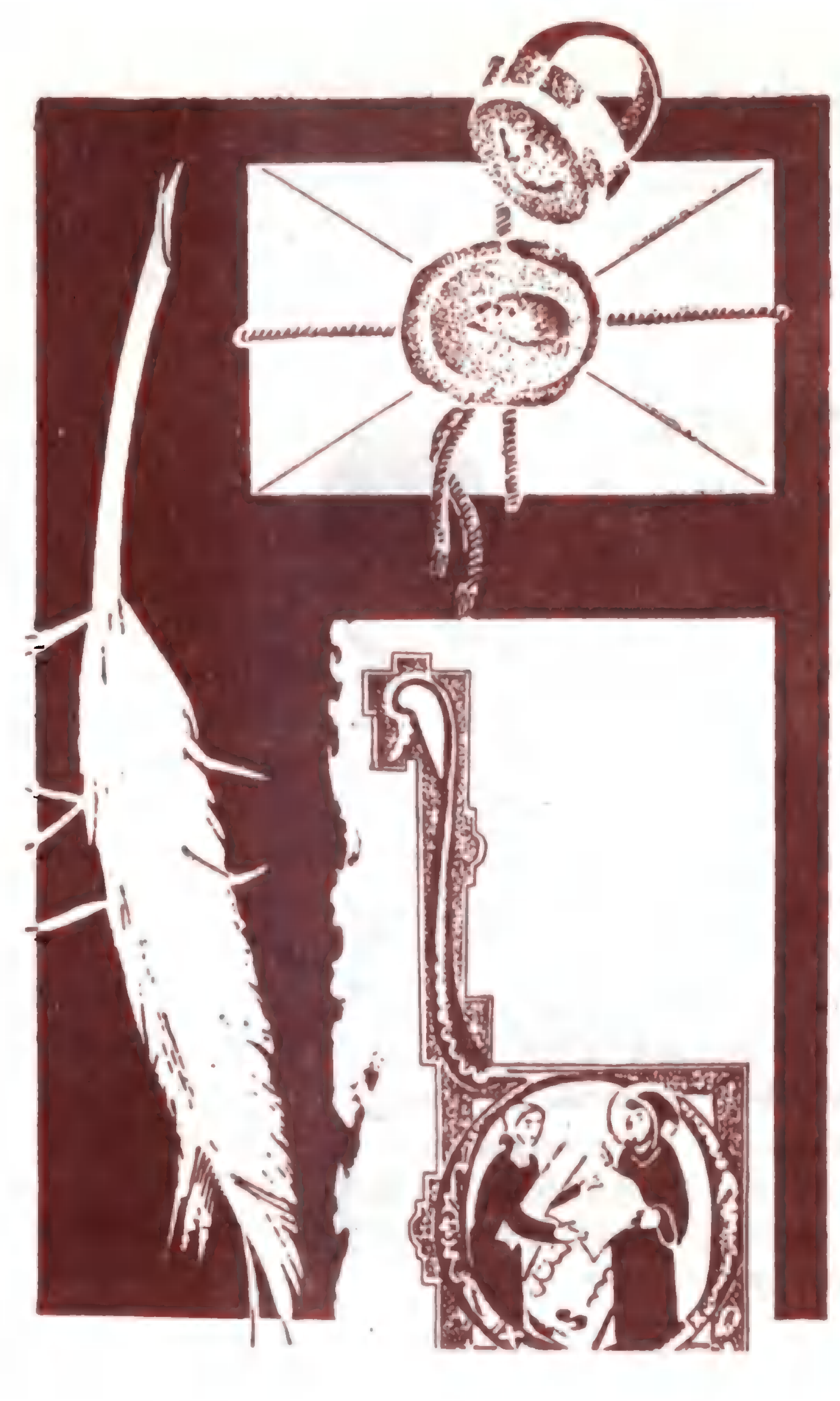
чинается. Это не то, что я стану выводить печатными буквами — я б такого нагородил, что и не разобрать ничего. И криво и косо, да такими бы каракулями, что и самому потом не прочесть. А главное — надоело бы. Две страницы вывел бы с горем пополам и бросил. Ну ее и с этой книгой! А я буду писать вот так, как сейчас, а потом отдам в типографию.

Про эту книгу.

Вот я написал „Про эту книгу", а книги-то пока никакой нет. Книга еще будет. Это я надеюсь, что пока я буду писать, как эту книгу сделать, — гляди, уж целую книгу напишу. Я пока что — пишу чернилами. Да и чернила дрянные. Какие-то козявки на дне. Что ни клюну пером — рака поймаю какого-нибудь. Эту вот страницу попрошу, чтоб напечатали, как есть — со всеми кляксами, чтоб вы видели, с чего начинается. А там дальше пойдет по-печатному. — Это не то, что я стану выводить печатными буквами — я б такого нагородил, что и не разобрать ничего. И криво и косо, да такими бы каракулями, что и самому потом не прочесть. А главное — надоело бы. Две страницы вывел бы с горем пополам и бросил. Ну ее и с этой книгой! А я буду писать вот так, как сейчас, а потом отдам в типографию

Как раньше бывало

Было время, что люди сидели и по-печатному гусиным пером выписывали толщенные книги. Годами писали. Целый день человек сидит и лепит букву к букве. Доходит до новой главы и тут уж на радостях начальную букву завернет такую, что загляденье: и завитки, и шарики, и стрелки. Да еще красной краски подпустит.



Все равно спешить некуда, дело до́лгое. А начальная буква — это как будто станция.

Иной переписчик целую картину разрисует — меленько, чистенько, аккуратно. Нарисовал — и в новый путь: шагай по буковке тысячи верст до новой станции.

Большие мастера были!

На иную старинную книгу смотришь — и верить не хочется: да неужели же вручную все это сделано? Так ровно, будто напечатано.

Но уж сыздавна люди знали печати. Печати эти вырезали на драгоценном камне — портрет или зверя какого-нибудь. Камень этот вставят в перстень и носят на пальце. Когда надо запечатать письмо, залепят письмо воском, а на воск надавят печатью. На воске получится оттиск, выпуклый, рельефный отпечаток. Можно, конечно, вырезать и буквы, — тогда на воске получатся выпуклые буквы.

Теперь письмо запечатывают не воском, а сургучом. А печать режут не на камне, а на меди. Но людям долго не приходило в голову делать на печати выпуклые буквы и мазать их краской — вот как теперь на штемпелях.

Совсем близко около этого были: пальцы чернилами мазали и тыкали ими в бумагу — это вместо подписи. Потому что грамотных мало было, — пожалуй, что одни писцы только и умели толком писать.

Русские бояре, бывало, и совсем писать не умели. Нужно расписаться — чего проще: намазал палец чернилами и припечатал. Так и говорилось: «к сей грамоте руку приложил...»

Но вот догадаться вместо пальца приложить вырезную букву — долго никому в голову не приходило.

Догадался человек

Наконец додумался один немец, Гутенберг. Это было пятьсот лет тому назад. Он сделал вырезные буквы, поставил их в ряд, чтоб вышло слово, намазал краской и притиснул бумагу. Слово отпечаталось. Вот, наверно, рад-то был, когда первый раз удалось.

Теперь делают такие же штемпеля по одной букве. Их отливают из гарта. Это сплав свинца с оловом.

Выходят такие четырехугольные столбики (литеры). На концах у них буква (очко). Вон на рисунке видно. Их делают разной величины. Для крупной печати (вот как сейчас напечатано) и для самой мелкой.

Вот вам для примера буква «У» семи разных величин:

У У У У У У У

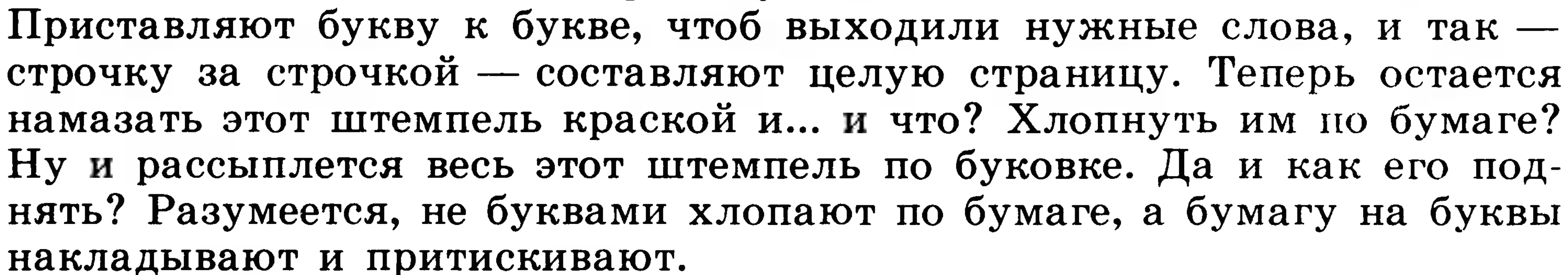
А для афиш есть такие здоровенные буквищи, что и половина ее на странице этой книжки не уместится.

Ну а все-таки — как же печатать? Неужели каждую букву брать за свинцовый хвост, макать в краску и потом хлопать по бумаге букву за буквой? Да ведь это тоска была б смертная: ну-ка выстукайте по букве вот всю эту книгу! А потом, как ни старайся, все равно вышло бы криво, косо. Да уж проще тогда взять да писать пером, как в начале книги, — куда скорей дело пошло бы. А главное — вся сила-то совсем не в том, чтоб по-печатному выходило, а чтоб сразу печатать тысячи книг. Вот этой книги, например, отпечатают сто тысяч штук.

ЛИТЕРА

Типография тем и сильна, что она хоть сто тысяч штук напечатает и сделает это скоро.

Конечно, никто не тыкает по одной букве, а составляют из литер вроде как штемпель. Большой штемпель — в страницу величиной. Приставляют букву к букве, чтоб выходили нужные слова, и так — строчку за строчкой — составляют целую страницу. Теперь остается намазать этот штемпель краской и... и что? Хлопнуть им по бумаге? Ну и рассыплется весь этот штемпель по буковке. Да и как его поднять? Разумеется, не буквами хлопают по бумаге, а бумагу на буквы накладывают и притискивают.



На бумаге так все и отпечатается. Сразу целая страница. Теперь опять намазывай краской по буквам — и снова накладывай бумагу. Так и пошел лист за листом.

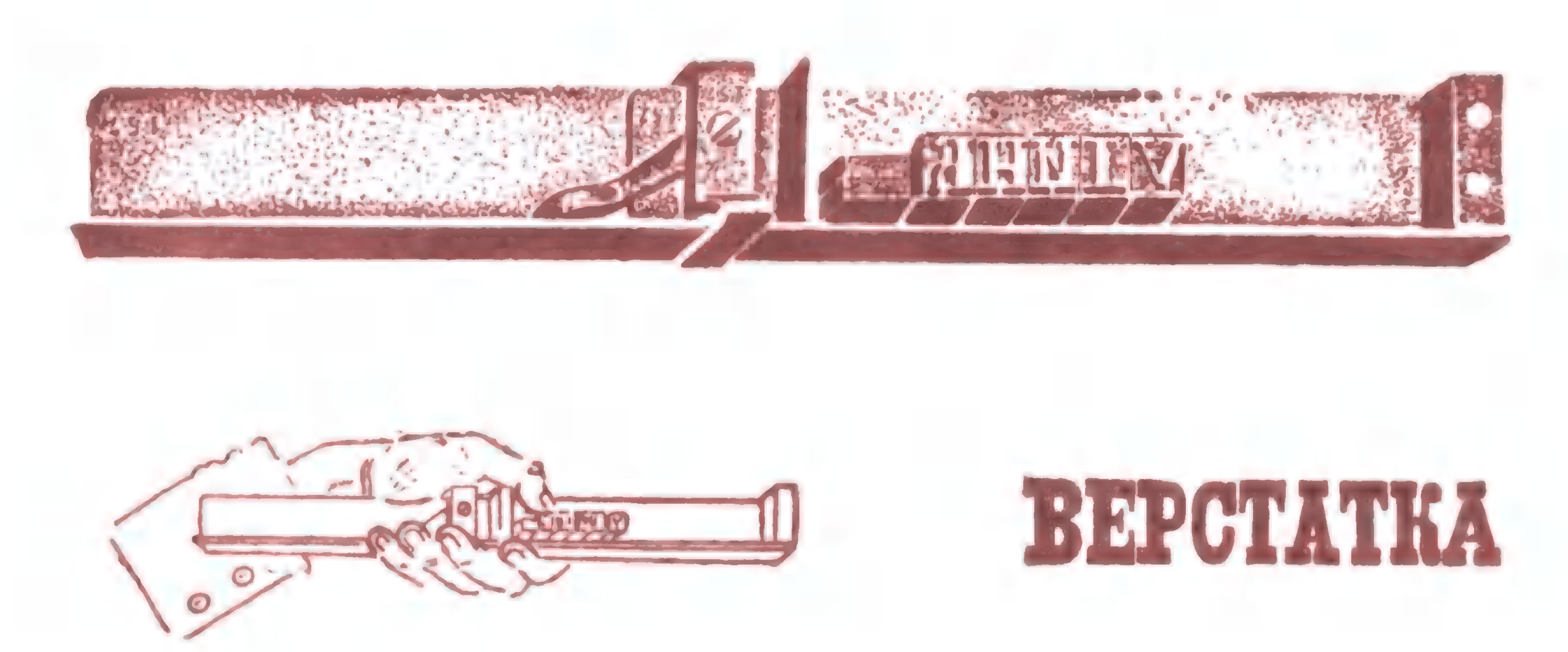
Верстатка

Но вот беда: очень трудно уложить буквы в строки, чтоб вышло ровно. А это не пустяк. Тут не в одной краске дело. Вот попробуйте.

почитайте-ка это? что, удобно? Как по буеракам.
Так это три строчки всего. А ну, как вся бы
книга так?

Надо было выдумать что-нибудь, чтоб буквы становились ровно, в ниточку. Для этого выдумана в е р с т а т к а.

Это железная полочка. Передней стенки у нее нет. В нее и кладут литеры. Литеры плотно ложатся на пол. Пол у этой полочки (верстатки) ровный, как линейка, и все литеры ложатся в линию.



Левый бок у полочки подвижный. Его можно двигать и закреплять в любом месте. От этого полочка может делаться короче и длинней. Если страница широкая и строчки должны быть подлиннее, то бочок оттягивается подальше влево. Теперь остается набирать (ставить) в верстатку литеры, чтоб вышла строка. Набирает специалист — наборщик.

В левой руке он держит перед собой верстатку, а правой укладывает буквы.

Но неужели каждую букву надо рассматривать, чтоб узнать какая? А то ведь, гляди, ляпнешь «П» вместо «Н»? Неужели каждой букве надо смотреть в очко, раньше чем поставить ее в верстатку? Это была б такая мука, да и дело двигалось бы черепашьим шагом! Особенно если мелкие буквы: этак ослепнешь, пока страницу наберешь.

Делают так.

Касса

Все литеры раскладывают в большой плоский ящик с отделеньицами (в кассу). В кассе таких отделений больше ста. В каждом отделеньице своя буква. В одном лежат одни только «А», в другом «Б» и так далее. Надписей на отделениях никаких нет. Наборщик наизусть кассу знает. Он уж так привык, где какая буква, что рука сама тянется в нужную ячейку.

Посмотрите-ка, ведь не все отделения в кассе одинаковые. Это потому, что одних букв надо запасти много. Одни очень ходко идут, а другие редко требуются. Попробуйте, посчитайте для шутки хотя бы в трех строках: сколько тут «О» и сколько «Ф»? «О» — самая ходкая буква.

Ну, хорошо. Наборщик знает, не глядя, какую он берет букву из

кассы. Смотреть на очко не надо. Но ведь можно, не глядя-то, поставить букву вверх ногами. Как же тут быть? Кажется, без смотрения не обойтись. Верно: приходится смотреть. Только наборщик смотрит не глазом, а пальцем.

На каждой литере сделана с одной стороны выемка (рубчик). Этой выемкой надо класть вниз, и тогда буква станет прямо, а не вверх ногами.



Вот взял наборщик из кассы литеру, нащупал пальцем, где выемка (рубчик), и ставит рубчиком вниз. Так и прикладывает букву к букве. Кончилось слово, теперь надо отступить. Но ведь если так просто отступить и начать набирать другое слово, то дело будет плохо. Крайняя буква будет вихляться, склоняться, а за ней и соседи. Пропала вся работа. Надо этот пролет чем-нибудь забить, чтоб литеры стояли туго.

Шпации

Для этого есть специальные болванки. Они бывают разной толщины: то как кубики, то как пластинки. Их называют шпации (расстояния).

Шпации низенькие, они ниже литер. Они не отпечатаются на бумаге, и выйдет промежуток.

Наборщик старается, чтоб строчка кончалась хорошо, грамотно. Чтоб не вышло бы так: АМ на одной строчке, а ЕРИКА на другой. Тут вот и надо подбирать шпации, чтоб не вышло безобразно. То густо слова, то редко.

Бывает, что надо какое-нибудь слово выделить и его напечатать особенно. Тогда лепит наборщик после каждой литеры шпацию, и получается, как говорят, в р а з р я д к у.

Я помню, когда я был мальчишкой, у нас в классе один ученик заявил:

— А знаете, ребята, про нашего Семенова в газете пропечатано, что он дурак! Верно! Я вырезку принес. Крупными буквами пропечатано.



И показывает издали. Смотрим, действительно: у него в тетрадке наклеена газетная вырезка, и крупными буквами по-печатному читаем:

«Ученик второго класса Федор Семенов дурак».

Как будто и верно. Но что-то не то... И вдруг все стали кричать:

— Подделал! Пушка!

А это он вырезал из газеты буквы и аккуратненько их наклеил в тетрадь. Вышло три строчки, но, на беду, он не мог расставить слова так, как это делает наборщик, — промежутки между словами вышли неправильные. И вот сразу даже мальчишки заметили. Нет, шпации не такое простое дело. Самому можно оказаться в дураках.

Вверх ногами

Но вот наборщик закончил строчку. Забил все промежутки шпациями. Крепко стоит строчка в верстатке. Теперь можно вынуть строчку и поставить на доску. Только она не стоит и разваливается. В верстатке есть еще место. Можно поверх этой строки городить вторую. Вот таких строк, как тут, можно семь набрать сразу в верстатку, одну над другой.

Но ведь выходит, что первая строчка оказывается у нас в самом низу, а последняя — на самом верху. Этак придется читать страницу снизу вверх! А что, если сделать так: набирать все вверх ногами, то есть класть все литеры р у б ч и к о м к в е р х у. А потом, когда будем перекладывать из верстатки на доску, поставим первой строчкой кверху. Вот как надо набирать:

А поверх третьей наберем четвертую.
Третью положим сверху второй.
А это вторая поверх нее.
Это вот идет первая строчка.

А поставить это на доску нужно как следует.

Это вот идет первая строчка.
А это вторая поверх нее.
Третью положим сверху второй.
А поверх третьей наберем четвертую.

Наборщик так и делает. Он набирает все вверх ногами, а выкладывает набор из верстатки как следует, весь сразу.

Одна вот беда.

Первую-то строчку хорошо набирать: пол у верстатки ровный, и тут уж нечего беспокоиться — первая строчка выйдет прямая. А вот вторая? Эта может выйти покривей: тут уж не на гладкий пол придется класть, а на литеры. Как бы греха не вышло... Скосишь вторую строчку — третья уже наверно выйдет кривулиной.

Линейка

Тут наборщик пускается вот на какую хитрость. Наберет первую строчку и прикрывает ее сверху тонкой медной линейкой (пластинкой). Она ровная, не хуже, чем пол у верстатки. И вторую строку кладет наборщик на медную пластинку как на пол. А когда строка готова вся до конца, наборщик аккуратно вытягивает из-под строки медную пластинку и кладет ее поверх второй строки — это уж готов пол для третьей. Кончил третью, опять вытянул пластинку и подостлал ее для следующей строки.

Кончилась верстатка. Теперь самый рискованный маневр. Надо вынуть набор из верстатки и перенести на железную доску («уго-

лок»). Тут уж надо быть фокусником. Наборщик ловко захватывает набор с двух концов обеими руками, зажимает его пальцами и переставляет на доску — ни одна литера не шелохнется, не ворохнется. Дать бы это нам с вами — весь набор рассыплем. Так и посеем на пол.

Ну вот, сделал этот фокус наборщик. Набор — на уголке.

А как теперь его поставить? Как начать страницу?

Уголок

Ведь за этим куском, что вынут из верстатки, пойдет второй, третий. Как стену из кирпичей, надо из этих кусков выложить страницу. Надо же, чтоб эти куски легли ровно.

А то вот так вот получится, как тут.

Смо-
трите: все вкось
пошло,
и
концы
выскочили.



А попробуйте ровнять! Того и гляди, весь набор ходуном пойдет, и все начинай снова.

Вот если б класть набор в коробку. Да чтоб коробка была ровной, как страница!

Вроде этого и устроено. Только не надо и коробки. Довольно двух сторон. Одного уголка хватит. Так и называют: у г о л о к. Это гладкая железная доска, к ней снизу и справа приделаны борта. В этот уголок и примащивает наборщик кусок за куском.

Куски ложатся ровно — и страница выходит ровной.

Когда уже страница готова, ее из уголка вон. Надо дать место другой.

Страницу натуго обвязывают веревкой, и теперь ее можно возить по гладкой намасленной доске во все стороны, как по льду ящик. Подставьте другую доску, и можно на нее безвредно стянуть из уголка всю страницу, а потом катай ее, как по катку, куда хочешь.

Форма

Можно, думаете, печатать? Намазал краской буквы — и жми на них бумагу?

А в самом деле! Попробуем.

ас идет, так это прямо из
Вот то, что сейч набора. Здорово! Как
вышло.
ни старались, а все-таки кой-где А вот тут буквы
кривенько
ввeрх ноʟаwи. Здесь, глядите, забыл наборщик шпациювставить. Сейчас вот схватил не ту зукву, а то, может быть, в кассе, в ячейке не та литера попалась. Бывает что запятой нет, где надо. Получаются о п е ч а т к и.

Нельзя же так пускать. Особенно, представьте, если задачник, да неверно!

Решает задачу ученик — не выходит. Все в ответе получается, что семья состояла из 9 7/11 человек и 6/7 женщин. Три раза — и все то же самое. Вот и извольте!..

Позвали брата. Брат сидел-сидел.

— Верно, — говорит, — шесть седьмых женщин, так и получается.

— Ну и ты, значит, дурак. Пойду к отцу.

Потеет теперь и папаша. Не хочет сдаться, стыдно.

А это просто напечатана задача с ошибкой. Одна цифра не та. Из-за нее дома до слез все переругались.



Мать мирила.

— Женщина-то — говорит, — видно, девочка была: шесть ей, седьмой.

Попало и матери.

А виноват наборщик. Да что он? Машина, что ли? Ошибиться не может? Да ведь и в кассе могла быть цифра не в свое отделение положена.

И вот грохнут двадцать тысяч таких задачников, и пойдет досада, и ругань повторится двадцать тысяч раз.

Значит, надо глядеть, что печатаешь. И глядят. Раньше чем пустить печатать, пробуют.

Укладывают набор страница за страницей, одна под другой. Страницы две-три сразу. Мажут краской.

Не то что кисточкой из ведра — этак можно весь набор залепить, получилась бы темная ночь. Нет!

Для этого есть валик. Валик намазывают краской и, держа за ручки, прокатывают по набору.

Потом этот набор покрывают бумагой — и под пресс.

Получается первый оттиск. Называется он ф о р м о й.

Теперь на нем будет видно, как набрал наборщик.

О п е ч а т о к-т о, о п е ч а т о к!..

А вы знаете, что наборщик в час набирает две тысячи букв? Это, выходит, две секунды — и буква. За это время надо успеть и в кассу слазить, и рубчик нащупать, и букву повернуть как надо, и поставить в верстатку. Да все время в рукопись посматривать. А у иного писателя почерк еще похуже моего. Такого наворотит!.. И на все это две секунды. Немудрено и наврать.

Теперь берется за дело корректор. Он читает, сверяя с рукописью, что вышло в ф о р м а х, и отмечает ошибки на полях оттиска.

корректорские пометки. Здесь буква перевернута — видите какая ковыка стоит, — наборщик уже понимает, надо букву поставить как следует. Здесь надо слова дальше расставить — забыл наборщик шпацию вставить. Тут просто негрмотно. Корректор делает знак в тексте, такой же знак ставит на полях и около него пишет, как должно быть по-настоящему. Вдруг где-нибудь шпация вылезла вверх. Ей нало сидеть между двумя словами и распирать их, чтоб они не и самой не высовываться вверх. А она выставила свою свою голову вровень с литерами. Ее краской намазали, и на отпечатке вышел черный квадрат — м а р а ш к а.

А то вдруг слово от слова далеко отошло — надо их стянуть. Или криво строка пошла.

КОРРЕКТУРА

У корекгора большая првычка и зоркий глаз. Он все должен замтетить: и где плохо набрано, и где просто наврано.

Корректор сделал пометки, где исправить. Этот лист с пометками называется п е р в а я к о р р е к т у р а.

Наборщик берет корректуру, вынимает из реала доску с набором и принимается искать, где что не так Вот например, вместо б у к в а

Эта страница и есть первый оттиск. Вон и корректорские пометки. Здесь буква перевернута — видите, какая ковыка стоит, — наборщик уже понимает: надо букву поставить как следует. Здесь надо слова дальше расставить — забыл наборщик шпацию вставить. Тут просто

неграмотно. Корректор делает знак в тексте, такой же знак ставит на полях и около него пишет, как должно быть по-настоящему. Вдруг где-нибудь шпация вылезла вверх. Ей надо сидеть между двумя словами и распирать их, чтоб они не съехали, и самой не высовываться вверх. А она выставила свою голову вровень с литерами. Ее краской намазали, и на отпечатке вышел черный квадрат — м а р а ш к а.

А то вдруг слово от слова далеко отошло — надо их стянуть. Или криво строка пошла.

Корректура

У корректора большая привычка и зоркий глаз. Он все должен заметить: и где плохо набрано, и где просто наврано.

Корректор сделал пометки, где исправить. Этот лист с пометками называется п е р в а я к о р р е к т у р а.

Наборщик берет корректуру, вынимает из реала доску с набором и принимается искать, где что не так. Вот, например, вместо б у к в а набрано з у к в а. Надо вместо «з» поставить «б». Не развязывать же всю страницу, чтобы одну букву достать? Тут идет в ход шило.

Шилом подцепляет наборщик литеру «з», вытаскивает ее из набора, а на ее место аккуратно вставляет «б».

Здесь что? Шпация мала? Вытаскивает наборщик маленькую шпацию долой. Но ведь на ее место большую шпацию не втиснешь. Не влезет. Тут уж хитрость нужна.

По всей строчке ищет наборщик, где бы понемножку уменьшить шпации, чтоб дать место — куда раздвинуть слова. Так вот ковыряет наборщик шилом по всем местам, где указал корректор: там букву перевернул, тут запятую вставил.

Правит, как говорят.

А хорошо ли выправил? Опять сделают отпечаток — и снова корректору: вторая корректура. Пока совсем верно не будет. Да ведь и корректор — тоже человек. Гляди, и корректор ошибку проморгал. Редко бывает, чтобы уж так без единой опечатки и вышла книга. Ну да не беда: уж коли корректор не заметил, читателю, пожалуй, и наверно не углядеть.

Бабашки

Уж известно: если есть какое необычное расстояние, значит, что-нибудь в набор забито. И забито что-нибудь низкое. Такое, что ниже литер и потому не отпечатывается. Конечно, вставлены между строк полоски. Наберет наборщик строчку и вставит низкую линейку, потом уж на нее городит вторую строку. Эти линейки называют шпонами. Эта страница «набрана на шпонах». Шпоны бывают разные: и шире, и уже. Вон смотрите, какие широкие сейчас пошли.

А можно и еще шире закатить.

А ну-ка, замечаете разницу, как сейчас пошла печать? Вот на этой

странице? Реже строки. Правда? Я думаю, сами теперь можете догадаться, как это сделано.

Представьте себе, что мне понадобилось или просто блажь пришла: хочу, чтоб мне на четверть страницы напечатали по самой середине одно слово:

Таракан!

Семь всего букв. Семь литер. Как же они держаться будут в пустом поле? Чем их укрепить, подпереть?

А вот все это пустое поле в наборе-то оказывается вовсе не пустое.

Оно все сплошь забито кубиками — бабашками.

Они ниже литер и потому на бумаге и не вышли. Бабашки подпирают и держат мои семь литер.

И не то еще можно сделать. Можно напечатать вот этак: поставить литеры уступами,

а вокруг бабашки.

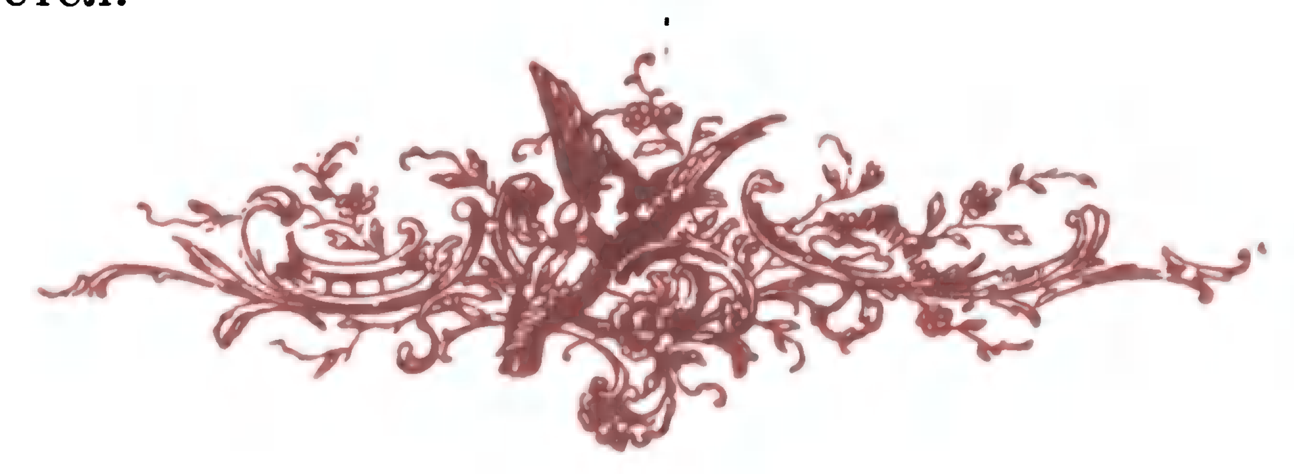
Можно и в круг буквы поставить и пустить слова крест-накрест или змеей какой-нибудь.

А видали вы, в книгах в конце главы ставят черты? Это линеечкой называется. Шабаш, значит, кончил.

Это уже готовая такая есть полоса в типографском наборе. Ее вставляют в набор и подпирают бабашками.

Бывают и похитрее, позатейливей финтифлюшки.

Вот я сейчас эту главу кончу и попрошу типографию, чтоб мне поставили в конце самую разухабистую завертушку, которая концовкой называется.



Клише

Хорошо. Выходит, что можно и финтифлюшки вставлять, и буквы вкось пускать, и разными буквами (шрифтами) набирать. Полосочки вставлять, черточки... А вот можно ли набрать страницу моим почерком? Настоящим, вот как я пишу? Неужели как раз такие буквы

специально заготовили? Да я ведь и пишу-то по-разному. Поглядите-ка на первую страницу: там не только мои буквы, а в точности все, как я писал, и как черкал, и как на полях чертиков из клякс делал, — все как есть. Подите спросите в лавке другую такую книгу — и увидите, что там в точности то же самое на первой странице. И во всех ста тысячах так напечатано. Напечатано — это верно. Да только не набрано. В наборе чертиков нет, клякс тоже. И рож никаких тоже нет. Никакими бабашками и линеечками рисунка не передашь.



Сделано это так.

Я написал страницу. Пока писал — марал на полях чертей. Потом с этой страницы сняли фотографию, как снимают портрет.

На фотографической стеклянной пластинке вышла моя страница так: белая бумага вышла черной, а чернила белыми.



Это всегда на фотографической пластинке все выходит наоборот — светлое темным, а темное светлым, совсем прозрачным.

Это называется негатив.

Теперь если этим негативом прикрыть специальную цинковую пластинку, покрытую особым составом, и выставить на свет, то получится вот что: где черное — там свет не пройдет. Чернота, как ставень, будет закрывать цинк от света. А там, где бело, — там свет пройдет и подействует на эту специальную пластинку. И подействует так, что потом все кругом можно вытравить кислотой, только тех мест, куда свет попал, не вытравишь. Они будут стоять, как острова. И все мои буквы и все мои черточки будут выпукло стоять. Получится рельеф.

Это называют цинковое клише.

Теперь если его намазать краской и придавить к нему бумагу, получится отпечаток, как от штемпеля. Готово дело! Можно печатать. Клише набивают на деревянную колодку, чтоб оно было такой же вышины, как и весь набор.

Конечно, я мог бы вместо чертиков что-нибудь порядочнее нарисовать (коли умел бы). На этой странице вышло бы клише с рисунка. Так и делается.

Художник рисует картину, с нее снимают фотографию и делают клише.

А можно клише делать и не с рисунка, а с фотографии.

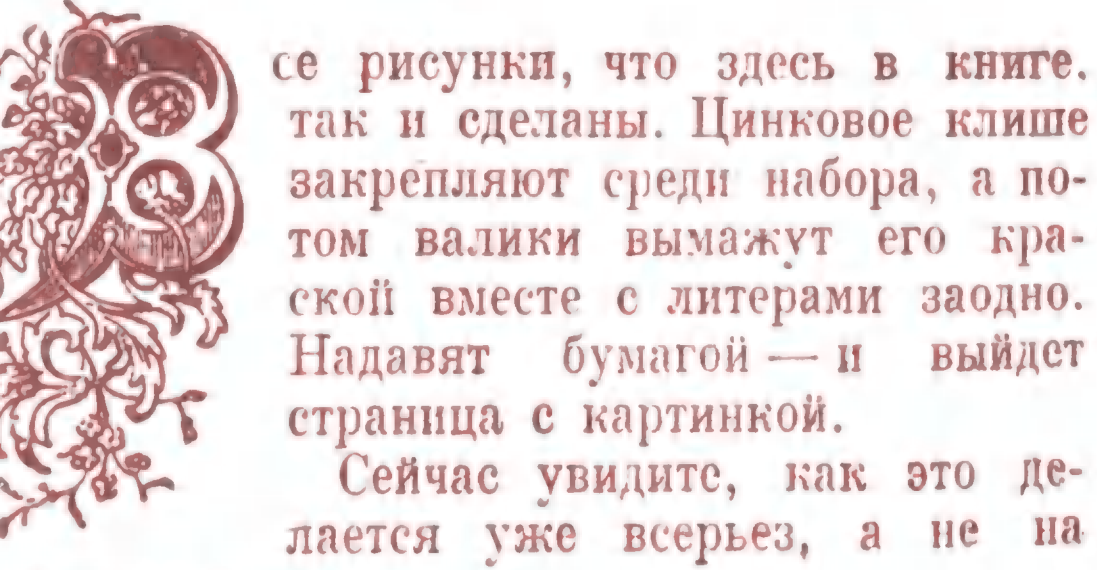
Машина

Все рисунки, что здесь в книге, так и сделаны. Цинковое клише закрепляют среди набора, а потом валики вымажут его краской вместе с литерами заодно. Надавят бумагой — и выйдет страница с картинкой.

Сейчас увидите, как это делается уже всерьез, а не на пробу для корректуры.

Предстоит задача напечатать пятьдесят тысяч книг в сорок четыре страницы, с картинками, моим почерком, с концовками, с заставками [1], и все это требуется сделать скоро, к сроку.

Набор как будто у нас уж есть. Среди литер закреплены бабашками клише для картинок. Вставлены готовые, отлитые из свинцового сплава финтифлюшки для концовок и заставок. Местами даже пущены замысловатые заглавные буквы. Все это уложено в набор по страницам.



Теперь весь этот набор надо заправить в машину, и пусть машина сама и краской его мажет, пусть и бумагу кладет и прижимает сама, пускай и выкладывает отпечатанные листы.

Есть такие машины.

Подробно рассказывать, как они устроены, — это надо целую книгу писать. А я скажу только, в чем самая суть дела.

Представьте себе стол. На этом столе уложен набор — страницы нашей книги.

Этот стол может ездить взад и вперед. Называется он т а л е р. К нему сверху прижат цилиндр — в типографии он барабаном называется, — а около цилиндра валики, которые краску намазывают. Поехал талер — завертелся и цилиндр, с ним и валики. Теперь если на цилиндре лист бумаги положен, то дело готово. Лист прокатится по всему набору, и все буквы и клише отпечатаются. Проехал талер — и готов лист. Талер откатывается назад — подсовывайте на барабан лист, не зевайте! Опять проехал талер под барабаном, и барабан, как вальком, придавил бумагу к набору.

Бумагу подсовывает специальный рабочий — н а к л а д ч и к. Устроено так, что барабан сам потащит бумагу, если положить лист на нужное место. Он ее, как пальцами, клапанами захватывает и тащит.

---

[1] З а с т а в к а — это рисунок, что печатается в начале главы.

Накладчик стоит на возвышении около машины. Рядом с ним на машине лежит стопа бумаги. Он берет лист и спускает его в машину как раз в тот момент, когда талер откатился назад и барабан на секунду как будто приостановился. Накладчик уж не должен зевать, а то талер ждать не будет и порожняком проедет назад. Накладчик и не зевает. Он спускает лист в машину, барабан этот лист захватывает, и машина затягивает его между барабаном и талером.

Машина с другой стороны сама выкладывает отпечатанные листы. Правда, не очень ровно кладет, так что приходится ставить человека, чтобы подравнивал.

Когда смотрите, кажется, что машина живая: сама затягивает лист, прокатывает его по набору и сама выкидывает готовые листы. У ней как будто пальцы есть. Три секунды — и лист.

Тут же над талером устроены валики с краской: талер ездит под ними, и они натирают набор краской.

Типографский лист

Но вот как разложить набор на талере? В каком порядке выложить страницы? [1]

Это вы сами можете сейчас решить. Возьмите лист бумаги, сложите его пополам, еще пополам — вот у вас уже книжечка в восемь страниц. Теперь перегните еще раз — вышло шестнадцать страниц. Вот теперь пронумеруйте страницы. Только не разрезайте. А залезайте карандашом внутрь.

Пометили страницы? Теперь разверните лист, как он был. Смотрите-ка что получилось:

на одной стороне

5	12	9	8
4	13	16	1

на другой стороне

7	10	11	6
2	15	14	3

Вот какая каша. А если теперь сложить этот лист снова книжкой, как он был сложен, сшить его, как тетрадь, и разрезать страницы, то окажется, что вовсе не каша, а номера страниц идут правильно, по порядку.

В немного измененном порядке, как стоят страницы на развернутом листе, их и расставляют на талер, вот так:

на одной стороне

8	9	12	5
1	16	13	4

а на другой

6	11	10	7
3	14	15	2

[1] Типографы говорят: «как спустить форму».

Пустят машину, накладчик знай листы подсовывает, отпечатают пятьдесят тысяч таких листов по восьми страниц сразу. Выйдет, конечно, пока только с одной стороны.

Потом отпечатают тем же манером и другую сторону. Только набор на талере переменят. Отпечатаются другие восемь страниц (шестнадцать страниц в листе). Напечатают одну сторону, перевернут лист бумаги — и на другую.

Потом разрежут пополам — и выйдет два экземпляра.

Рассмотрите эту книжку хорошенько. Увидите, что она состоит из тетрадочек. Это все сложенные листы. Шестнадцать страниц — и лист. Вон посмотрите: на 17-й странице стоит в уголке маленькое «2»; это значит — начался второй лист. На 33-й будет стоять «3».

Отпечатанные листы складывают в тетрадки ф а л ь ц о в щ и ц ы (в типографии говорят не складывать, а фальцевать). Делают они это очень ловко. Раз! — согнула и косточкой пригладила. Два! — опять пригладила. Каждый перегиб надо пригладить. И вот надо же так наловчиться, чтоб три с половиной тысячи листов за день сфальцевать! Да еще очень аккуратно, чтобы страница точно одна на другую ложилась.

Редакция

Ну, кажется, я уже свое дело сделал: написал про эту книгу. Теперь надо пойти в Государственное издательство и сказать там:

— Вот написал. Печатайте. Верно говорю: хорошая книга!

Так, думаете, сразу и ухватятся, обрадуются и сломя голову бросятся в типографию: набирайте! правьте! суйте в машину! да поживей!

Ну не-ет...

Это уж я пишу, как побывал в Государственном издательстве. Было вот как.

Какая-то девица копалась в бумагах. Я ей говорю:

— Вот я книжку написал.

И сую рукопись.

Она даже на меня не взглянула.

— Про что у вас там?

— Про книгу, — говорю, — для детей... Хорошо написано.

Хотел уж похвалить свою работу.

А она как отрежет:

— Чего вы идете не спрося? Несите в редакцию детского отдела. Здесь корректорская! Написано, кажется, на дверях!

Я выскочил. Тут уж в коридоре стал спрашивать, где это.

— Шестой этаж, комната пятьдесят восемь.

Я в шестой этаж. Вот и номер пятьдесят восемь — редакция.

Сидят три дяди.

Я опять:

— Вот напечатайте, пожалуйста. Может быть...

Один — в очках, бритый. Взял мою рукопись. Перевернул две-три страницы.

— Нет, — говорит, — дорогой мой, так нельзя. Перепишите все на машинке. У нас нет времени разгадывать ваши каракули.

Нечего делать. Отдал переписчице. Отстукала она мне всю книгу на машинке. Я стал читать. Ой, опечатки. Фу ты. Прочел все. Исправил осторожненько пером.

> Нечего делать. Отдал переписчице. Отстукала она мне всю книгу на машинке. Я стал читать. Ой, опечатки. Фу, ты. Прочел все. Исправил осторожненько пером.
>
> Приношу опять в редакцию. Опять взял, что в очках.
>
> Поднял очки на лоб и стал читать про себя. Одну страницу пробежал, потом из середины другую. Близко нагнулся к бумаге, чуть что не носом по строчкам водит.

Приношу опять в редакцию. Опять взял, что в очках.

Поднял очки на лоб и стал читать про себя. Одну страницу пробежал, потом из середины другую. Близко нагнулся к бумаге, чуть что не носом по строчкам водит.

У меня душа из головы — в пятки, из пяток — в голову.

Как на экзамене.

А он бормочет:

— Скучновато, кажется, написано.

И сует другому:

— Прочти!

Другой помоложе, вихрастый. Вид у него свирепый. Он засунул рукопись в портфель.

— Зайдите, — говорит, — через неделю, я просмотрю.

— Там, — говорю, — все как надо. Я ведь знаю, я сам писал.

— Вы знаете, а мы не знаем. Мы не можем печатать что попало. Мы за каждую книгу отвечаем. Может быть, вам кажется, что хорошо, а мы найдем, что никуда не годится. И не мешайте нам, мы сейчас заняты.

Прихожу через неделю.

Молодой достал мою книгу.

Я смотрю — там на полях отметки: и вопросительные знаки, и восклицательные, и отчеркнуто, и подчеркнуто. На полях все исписано. Закорючки какие-то...

А молодой отворачивает страницу и тычет пальцем:

— Вот тут у вас, например! Что тут написано?

«Накладка идет вручную. То есть накладчик работает рукой. Он быстро засовывает ее в машину. Барабан ее захватывает, и машина затягивает ее между барабаном и талером».

Я уж струсил.

— А что? — шепчу я. — Ну да... затягивает машина.

— Да что, что затягивает? У вас выходит, что руку. Десять тысяч рук, что ли, надо накладчику, чтобы калекой эту работу кончить? Поняли?

— Бумагу... Я ж написал там, что бумагу...
А редактор тычет ногтем в строчку и читает:
— «Работает рукой... быстро засовывает ее...» Кого «ее»? Руку, выходит, и засовывает! Иначе как же понять? И такого у вас тут, знаете, полным-полно.
— Так, значит, не годится?
— Вы вот что: исправьте и приходите. А тогда и поговорим.
Пришел я домой — и давай все с самого начала просматривать. Ну-ну! Верно: и наворотил же я!
Сидел, поправлял.
Исправил наконец все. Снова несу.
Проглядел уж тот, что в очках, и говорит:
— Ничего пока сказать вам не можем. Надо дать прочесть специалисту. Могут попасться какие-нибудь промахи в технических описаниях. Мы вас вызовем. У вас телефон есть?
А сам все по строчкам глазами водит, и как раз попалось то место про накладчика. Но уж на том месте, где у меня машина калечила накладчика, было исправлено. Исправил я сверху пером:
«Он спускает лист в машину. Барабан этот лист захватывает, и машина затягивает бумагу между барабаном и талером».
Теперь книгу отдали специалистам-типографам. Что-то они скажут?
Да, теперь я знаю, что такое редакция!
А теперь вы прочтите, читатели. Что-то вы мне скажете?..

СВЕТ БЕЗ ОГНЯ

Я помню, как у нас в квартире провели электричество. Электричество тогда в редкость было. Я тогда еще мальчишкой был.
Монтер, уходя, повернул выключатель и говорит:
— Ну вот, готово! Горит.
Я смотрю — засияли стеклянные баночки. А монтер выключателем — трык! — и все потухло.
Когда он ушел, все бросились пробовать. Я думал, что ни у кого не выйдет. Это монтер только может.
Очень я удивился, когда и у меня вышло. Я два дня не мог угомониться. Все зажигал и тушил. Все не верилось, что каждый раз удастся. Хоть сто раз — без отказа. Пройдет полчаса, я опять: трык — горит! Трык... и погасло.
Все хотелось еще и еще удостовериться.
А отец мне говорит:
— Теперь-то просто. А вот твоя бабушка мне говорила. Как поставили на улицах масляные фонари да первый раз зажгли — как днем. Замечательно! И гуляли вечером по деревянным мосткам под масляными коптилками. Тоже нарадоваться не могли.

Я уже большой был. Зашел как-то на Невском в Питере в один магазин. Там автомобили были выставлены. Я хотел поближе посмотреть, какие они. Но как вошел, так и забыл про автомобили. Меня удивило, что в магазине светло и ни одной лампы. Ни электрической, никакой. Как будто кто из крана какого-нибудь напустил полную комнату света, вот как можно напустить запаху. Свет ровный и нет нигде тени, так что не угадаешь, откуда он идет. Стены белые, и как будто от них весь воздух светится.

Я стал искать разгадку этому чуду и вдруг заметил, что под потолком, по карнизу, вдоль всех стен, идет матовая белая трубка толщиной в руку. Эта трубка вся равномерно светилась, как будто в нее накачали дневного свету.

Магазинщики заметили, что я, разиня рот, пялюсь на карниз, и объяснили:

— Многие интересуются. Это в трубку очень разреженный газ напущен, и через него идет электричество. От этого газ светится. Очень даже натуральный свет выходит.

Натуральный! А по-моему выходит, что чудесный. Как из сказки. Чем же не сказка: пальцем в стену ткнул там где-нибудь, и комната наполнилась светом. Надо сказать, что комната довольно плотно была набита светом, потому что ни одного темного уголка не оставалось.

В электрической лампе — там хоть видишь волоски. Они раскалены добела, от них и свет; хоть нет огня, так накал есть по крайней мере. А тут — на́ тебе! Ни огня, ни накала, а прямо сам свет сидит в трубке и все вокруг освещает.

А потом я еще вот что узнал: делают такие фонари, которые светят ярче солнца. До того ярко светят, что если поставить палку и с одной стороны пусть светит солнце, а с другой этот фонарь, то фонарь пересилит: тень от палки ляжет в сторону солнца. В такой фонарь если заглянуть, так, того гляди, ослепнешь. Вот какая в электричестве сила!

Но откуда же в электричестве эта сила? Из чего электричество делается, как оно бежит по проволоке?

Где выделывают электричество? На электрической станции.

Заглянуть в окно — там машина гудит, воет что-то. Что же эти машины перерабатывают?

Машина круглая, вся закрыта, ничего сверху не видно. Но даже когда сбоку стоишь, то чувствуешь, как там внутри что-то вертится, бешено вертится. Мелет она что-нибудь?

Если бы вам машину открыли, то увидали бы вы, что там пусто. Никакого материала нет — пусто и чисто. Из чего же делается тогда электричество?

Из ничего.

Как же из ничего? Из ничего — ничего и не выйдет! Ну это, знаете, как сказать. Вот хотите, я вам сделаю из ничего, и притом очень нужную вещь? Положим, вы только что вылезли из холодной воды. Что вам нужней всего? Теплота, конечно. Так вот я вам теплоту и сделаю из ничего. Начну вас тереть полотенцем, пока кожа у вас не покраснеет, пока не станете вы как вареный рак, — вот и готово.

Я сделал теплоту. Даже самому жарко стало. А из чего? Никакого материала — одна работа.

Сами вы теплоту вырабатываете из ничего, когда на морозе руки трете. Да возьмите сейчас по столу рукой потрите, только хорошенько, — сейчас же выработаете теплоту. Ну а скажите: из какого такого материала? Из ничего — одна работа.

Вы начнете сейчас говорить:

«А теплота сама-то тоже как будто ничего, ее ведь нельзя взять да в руках подержать».

На это я вам скажу, что и электричества тоже шапкой не нагребешь. Оно тоже, как и теплота, делается из ничего — одна работа. И работа, кстати сказать, не маленькая. Посмотреть только, сколько на электрическую станцию возят угля или нефти! А машины какие! Машины по нескольку тысяч лошадиных сил. Теперь вот что важно: как устроить такую машину, чтоб она давала электричество?

Машины эти выдуманы около ста лет тому назад английским физиком Фарадеем.

Дело вот в чем.

Давно было известно, что если электрический ток (ну хоть от звонковой батарейки) пустить по проволоке вокруг железного бруска, то этот брусок становится магнитом. Его назвали электромагнитом. Электромагнитом работает электрический звонок, телеграф и телефон.

И вот Фарадей подумал:

«Получается же от тока магнит. А нельзя ли наоборот: от магнита получить ток?»

Так и записал себе в записную книжку:

«Добыть электричество из магнита».

И это ему удалось через несколько лет. Он заметил, что если махать проволокой перед магнитом, то в ней заводится электричество.



Осталось только устроить машинку, чтобы не приходилось самому стоять и махать проволокой перед магнитом, — это раз.

А второе, к проволоке, которая все время в ходу, надо провести линию проводов.

Первое дело разрешилось так: проволоку намотали на барабан, надели барабан на ось и всю эту историю установили между концов (полюсов) изогнутого магнита. Теперь верти только ось, и не одна, а целый моток проволок будет пробегать мимо магнитов.

Это как будто бы удалось неплохо. А работать можно заставить любую машину: можно приспособить паровик, водяную мельницу, даже ветрянку, чтобы они вертели моток проволоки.

Ладно: проволока на барабане — обмотка, как говорят, — вертится. В ней образуется электричество. А вот как его оттуда достать?

Если бы концы этой обмотки присоединить к проводам, то из обмотки бежало бы электричество в провода, а там уж можно было бы делать с ним что хотим. Можно было бы пустить его в звонок, в электрическую лампу, в трамвай...

Но как же тут ухватить концы этой обмотки, когда она вертится как волчок?

Кажется, невозможное дело...

Но все-таки умудрились люди связать с этой вертящейся обмоткой неподвижные провода.

Ведь бывает такое — одно вертится, а другое стоит и никогда друг с другом не расстаются! Вот решите эту загадку. Если ее решить, тогда дело в шляпе.

А нож и точило? Точильщик вертит точило, а нож у него в руке стоит неподвижно. Однако точило с ножом не расстается, и точило все время скребет и стачивает нож.

«Эка, — скажете, — так ведь это колесо, точило-то! А ведь то проволока».

А кто нам мешает сделать колесо с медным ободом, насадить это колесо на ту же ось, где сидит барабан, вытащить из обмотки конец и припаять этот конец к медному ободу колеса. А теперь прижмите к этому медному ободу ваш неподвижный провод, как нож к точилу, и пускай теперь вертится ось с обмоткой, сколько ей угодно.

Колесо с медным ободом вертится вместе с обмоткой. От того, что к нему припаян конец проволоки, никакой путаницы не будет. А ток из обмотки будет попадать по проволоке в медный обод, а с обода переходить в неподвижный провод.

Таким же манером мы устроим и другой конец обмотки: насадим на ось другое колесо и к нему припаяем второй конец обмотки.

Теперь мы все электричество, что образуется в обмотке, на ходу будем ловить и пускать по нашей проводке, куда нам надо.

Ну, выпутались из этого дела.

Если вы придете на электрическую станцию и увидите машину с медными кольцами на оси, — знайте, что это как раз та машина, про которую мы только что говорили. Только вот что: провода не суют к этим кольцам так прямо. Концы проводов скоро стираются, стачиваются. Обыкновенно устраивают у них угольные наконечники, как говорят, «щетки». Этими щетками как будто сметают то электричество, которое принесли на медные кольца концы обмотки.

Чтоб угольные щетки не отходили от медных колец, устроены пружинки. Пружинки все время придавливают щетки к медным кольцам, и ток без перерыва бежит в провода.

Но вот что меня злило, когда мне говорили: ток бежит. Посмотреть на проволоку — ничего не бежит. И она вовсе не пустая внутри, а сплошная. Так что и внутри ничего бежать не может. Я понимаю, что в водопроводной трубе бежит внутри вода, а сверху ничего не заметно. Так она же с пустотой внутри, а не сплошная, как электрический провод.

Потом я с этим помирился. И знаете как?

Вот представьте себе такое чудо: торчит из стены лом, взялись вы за конец рукой — и сразу руку отдернули: горячо. И лом по виду обыкновенный и торчком заделан в кирпичную стену.

И если вам показать, что устроено там за стеной, то вы скажете, что все очень просто и ничего нет удивительного.

За стеной торчит другой конец этого лома, и там развели целый костер и накаливают этот конец что есть мочи. Он уже красный стал.

Позвольте! Так это накаливают тот конец, что за стеной, а не тот, что торчит из стенки.

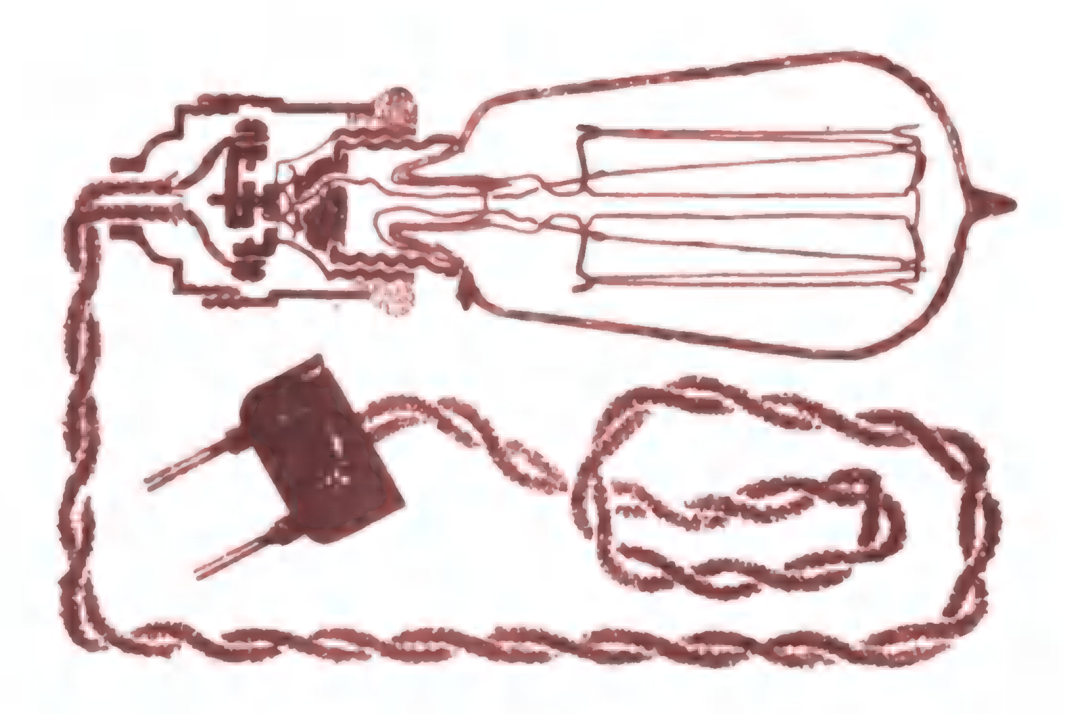
Вы скажете: ну уж это глупо, всякий ведь дурак знает, что теплота не стоит на месте, а растекается. Кто хоть раз грел гвоздь на свечке, тот знает, что его в руках не удержишь.

Почему-то никого не удивляет, что теплота идет по лому и что ничего сверху не заметно. И никому в голову не приходит требовать, чтоб для теплоты в лому был канал какой-нибудь.

А для электричества? Почему же электричество не может так же незаметно идти по сплошному проводу?

Дело в том, что с теплотой мы давно знакомы и свыклись. Каждый день чай ложкой мешаем. А к электричеству не привыкли еще. И все как-то не можешь успокоиться, что оно и по гвоздю пойдет, и в руку вскочит, и по дереву может побежать. Конечно, оно бежит гораздо скорее, чем ползет теплота. Но только уж если мы не удивляемся теплоте, что она незаметно идет по железному гвоздю, то нечего обижаться и на электричество, когда оно незаметно летит по проводам.

А все-таки как же с лампой-то? С электрической лампой? Электрическая машина мы знаем, как устроена: магниты, а между ними вертятся проволоки. Так вот машина посылает ток по проводам. И чем толще провода, тем легче по ним бежать электричеству. Это сильно заметно, когда электричеству приходится делать длинный путь. Если ему подставить тонкий провод да заставить идти сотню верст, — вся его сила уйдет на то, чтоб пробираться по этой узкой дороге.



А ну, подставим току совсем тонюсенькую проволоку!

Тут уже ток с таким трудом и усилием ползет по этому волоску, что раскалится этот волосок. А то и вовсе перегорит. Раскалиться он может докрасна, а то и добела. Вот, вот! Пусть добела! Ведь коли добела раскалится, — он будет светить. Вот уж и готово освещение.

Посмотрите: в электриче-

ской лампе как раз и запущены такие волоски. Их не один, а несколько. Это очень тонкие, как паутина, волоски. Через такие току очень трудно пробираться. А чем труднее — тем нам лучше: ток их ярче накалит, сильней и свет будет.

А вот почему все это в стеклянной баночке?

Дело все в том, что, если мы на воздухе накалили бы добела эти волоски, они и секунды не жили б: вмиг бы перегорели. А в баночке, в лампочке — воздуха нет. Он из нее старательно выкачан. Если в лампочку попадает воздух, — аминь! все пропало: волоски моментально сгорят, и лампе конец. Случалось кому-нибудь отбить у лампочки этот острый хвостик, что торчит внизу? Лампа ведь моментально гаснет. Это воздух в нее попал, и сгорели волоски. Когда вы отбили хвостик, в лампе получилась маленькая дырочка, через нее ворвался внутрь воздух. А это погибель.

Теперь понятно, почему лампочка так плотно запаяна, так заделана в медную шейку — цоколь. Это все из предосторожности, чтоб не просочился бы где-нибудь воздух.

Раньше делали в электрических лампах угольные волоски. Да и теперь встречаются такие «угольные» лампы. Но уголь плохо раскаляется, и свет от него желтоватый. Чтоб его раскалить совсем добела, надо очень много тока.

Ну уж, пожалуй, довольно объяснять, почему лампа без огня, а светит.

Понятно уж, в чем дело: ток попадает в тонкие волоски и тут ему трудно идти, волоски разогреваются... Стойте-ка! А что, не могут ли и провода разогреться? Хорошо, если еще сейчас не особенно большой ток идет, а ну двинут как-нибудь со станции посильнее, ведь, того гляди, и наши комнатные провода покажутся ему узки. Тоже ведь разогреются! Да так и было бы. Даже бывает: провода раскалятся, обмотка на них (изоляция) затлеет, запахнет жженой резиной. Бывают пожары от электричества. Ведь выходит, это опасная штука — электрическое освещение: сиди и жди пожара.

Нет! Бояться очень-то нечего. Есть сторож, что никогда не спит. Он сейчас же прервет проводку, чуть только пойдет не в меру сильный ток.

Устроено так: по пути тока в провода вставлен небольшой участок тонкой проволоки, гораздо тоньше, чем провода. Если ударит сильный ток, этот участок первый нагреется. Нагреется и... расплавится: он свинцовый. Как только он расплавится, прервется линия проводки. Значит, и току — стоп. Нет хода. Электричество погаснет, конечно! Но уж провода, наверно, не загорятся.

Этот участок запрятывают в стеклянную трубку.

На фарфоровой подставке стоят два гнезда из медных пружинок. В эти гнезда как раз входит трубка. У трубки медные концы, и внутри пропихнут между ними свинцовый волосок. Это и есть тот сторож, что не пропускает сильного тока. Называется он предохранителем. Его устанавливают так: разрезают провод и один отрезанный конец соединяют с одним пружинным гнездом, другой обрезанный конец присоединяют к другому гнезду. Когда ток пойдет по проводу, он проберется в гнездо, из него в медную головку трубки. По самой трубке ему хода



нет: она стеклянная, а по стеклу электричество не идет. Ток побежит по свинцовому волоску, оттуда в медную головку, в гнездо и покатил дальше по проводу. Чуть пошел в проводе опасный ток — готово! Ему не пройти через свинцовый волосок: он расплавится, и прервется линия.

На предохранители не скупятся: их суют, куда только можно.

Вот на стене на деревянном кружочке (розетке) привинчена черная коробочка. От нее провода, а в ней три дырочки. Постукайте коробочку — фарфоровая. Узнаете? Это штепсель.

Штепсель штука удобная. К нему легко присоединить лампу, и от него пойдет ток. На ламповых проводах устроена вилка; ткнул вилку в штепсель — и горит лампа. Как же это устроено? Что за вилка и что за дырочки в штепселе?

Загляните в эти дырочки. В двух видны медные трубочки, а в третьей торчит головка винта. Если этот винт вывинтить, то со штепселя снимется крышка с тремя дырочками, а на стене останется дно коробки. Из него рожками торчат две медные трубочки. Их-то мы и видели в дырочки. К этим трубочкам снизу штепселя и проведены концы проводов. Если за них сразу взяться рукой, то куснет током.

А вон укреплены два винта. Это штепсель привинчен к розетке. (Ни штепсель, ни выключатели, ни ламповые патроны никогда прямо к стене не привинчиваются — всегда подкладывают розетки.)

А вот с боков по два медных торчка, а между ними закреплены тонкие пластинки.

Это вот и есть предохранители. Эти пластинки расплавятся, когда пойдет очень сильный ток.

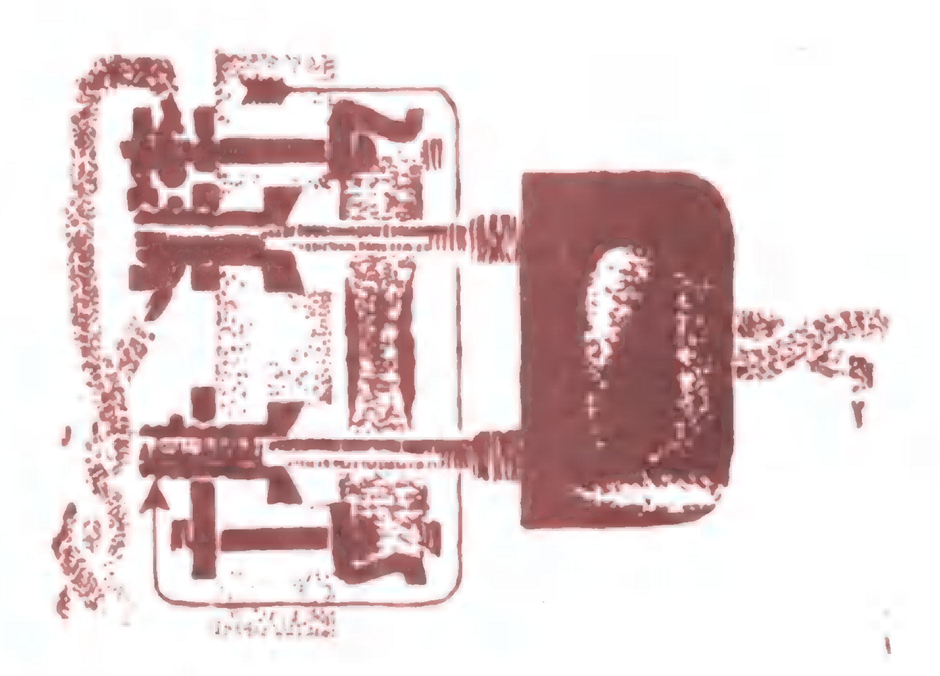
Теперь отворачивайте винты и снимайте штепсель с розетки. Смотрите, чтоб отверткой не соединить обе трубки: вмиг перегорит предохранитель.

Вот теперь повис ваш штепсель на шнурках проводки. Посмотрите, что сзади: там шнурок расплетается надвое и концы входят в две дырки с медной обкладкой. Посмотрите теперь с лица: концы уже голые, медные — выходят наружу и прижаты к медной обкладке винтиками.

Ток идет по шнурку, оттуда в медную обкладку дырки, а из нее в торчок предохранителя. Из торчка по тонкой свинцовой пластинке в другой торчок, а из него в трубку. В ту самую трубку, куда входит ножка вилки.

Тем же порядком ток попадает из другого конца провода в соседнюю трубку.

Теперь поставьте все на место как было.



Значит, что же выходит? Выходит, что из каждой дырочки в штепселе — прямой путь к проводу. Если надо подать ток к ламповым проводам, то стоит только один провод засунуть в одну трубку, другой в другую, и пойдет ток в лампу.

Верно! Но только провода в трубке будут плохо держаться. Для этого у них устраивают наконечники. Эти наконечники сидят на общей подставке. Это и есть та вилка, что вставляется в штепсель.

Свинтите с вилки ее рожки. Это легко сделать. Подставка сейчас же раскроется, и видно будет, как в нее заправлены концы проводов и как они своими колечками были надеты на концы рожек. Теперь просуньте снова назад рожки в крышку штепселя, — конечно, теми концами, на которых нарезан винт. Наденьте на эти концы колечки проводов и завинчивайте рожки в гнезда — вилка станет как была. Значит, выходит так: из дырок штепселя идет ток в рожки вилки, из рожек в ламповые провода. Готово — лампа присоединена к проводке и горит.

Ну а все-таки, как же ток в самую лампу-то пробирается? Лампа кончается винтом, винт этот входит в гнездо, довертел до конца — и готово, горит. Присоединилась лампа к проводке. А захотелось другую лампу — очень легко вывинтить и завинтить другую. Что за винтовое соединение такое?

Чтоб лампа светила, надо ввести в нее ток, и так ввести, чтоб он прошел по всем волоскам и накалил их.

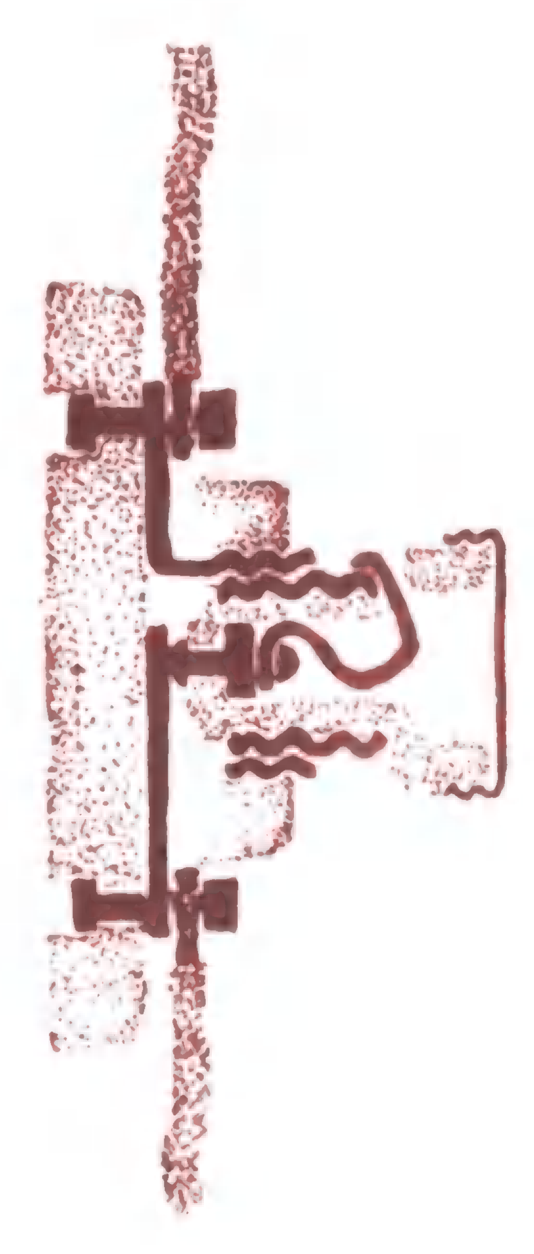
Волоски... то есть это нам кажется, что это волоски, а там всего один волосок, но только он пущен в лампе зигзагом. Чтоб через него прошел ток, надо, чтоб один конец волоска соединился с одним проводом, а другой с другим.

Но как их высунуть наружу? Да ведь волосок-то такой тонкий, что к нему никак не прикрутить электрический провод. Присмотритесь — концы у волоска утолщаются. Они уж такие толстые, что не накаляются от тока. Концы уходят в шейку лампы. А дальше? Дальше так: один конец идет вбок и припаян к этой медной винтовой обкладке шейки, что завинчивается в гнездо (патрон). А теперь взгляните на шейку сверху: там как будто медная бляшка. Вот к этой медной бляшке проведен другой конец.

Если взять и без всякого патрона приставить к шейке провод: один в бок, а другой в бляшку, — лампа загорится.

А патрон это делает сам. К винтовому гнезду патрона подведен ток. Только мы стали ввинчивать лампу, как уже один конец волоска присоединился к проводке. Ведь он припаян к винтовой обкладке шейки, а винтовая обкладка уж вошла в гнездо, — а туда проведен провод.

Но лампа еще не горит: надо и другой конец волоска прижать к проводу. Надо прижать к проводу ту бляшку, которая сверху шейки. Ввинтите лампу глубже и глубже в патрон, пока медная бляшка не



уйдет в дно. Вот теперь лампа загорится. Это бляшка уперлась в медное дно патрона. А к этому медному дну и проведен другой провод.

Слыхали вы когда-нибудь: потухло электричество! Это пробка перегорела!

Что за пробка такая и что ею затыкают? Почему ей перегорать надо?

Вон посмотрите, около счетчика ввинчены коробочки. Они круглые. Бывают фарфоровые. Бывают с металлическими крышками. Это вот и есть пробки.

Пробки — это те же лампы. Так же они ввинчены в патрон, и так же у них устроен волосок. Только волосок потолще, а сверху нет стеклянного пузырька. Оттого, что волосок толстый, он не раскаляется от обыкновенного тока. А вот пошел сильный ток. Для него и этот волосок тонок. Он сейчас же его раскалит. Но волосок этот свинцовый, чуть его нагрей — и он расплавился — перегорел. Сторож погиб на посту, но не пропустил врага — перегородил дорогу сильному току. Пробка фыркнет, вспыхнет на миг синим пламенем, и все электричество погасло.

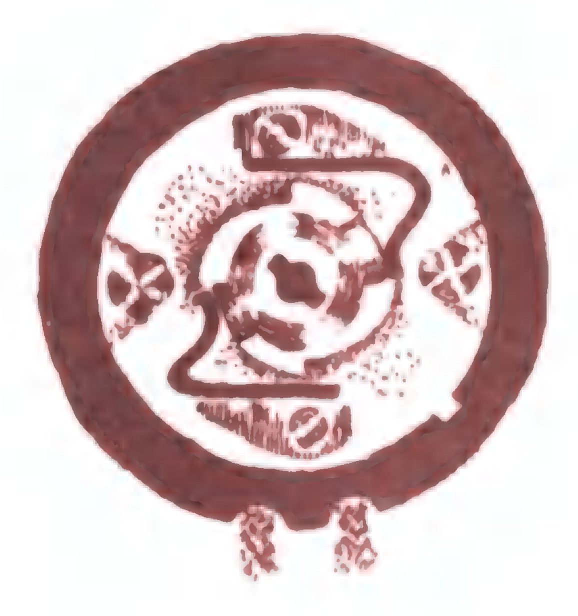
Но не беда: есть запасные пробки. Старую, перегорелую вывинтил — и заворачивай новую. И снова бежит ток по проводке, через волосок пробки, через предохранитель в штепселе, в электрический шнурок в лампе и раскаляет в лампе тонкую металлическую паутинку. Поверните выключатель, и свет горит.



Но как же действует этот выключатель, как он запирает и открывает свет? Как будто водопроводный кран. Действительно, как удобно: щелк — и свет, щелк — и нет.

Но ведь я могу и без выключателя погасить свет: перережу провод — и готово. Ток через обрыв не пойдет.

Ну а если я порванный провод соединю, но только не металлом, а фарфором? Вставлю на пути фарфоровый барабан? Величиной с пуговку хотя бы? Пойдет ток или нет? Нет, это все равно что никак не соединен провод. Фарфор не соединение, а... разъединение.



Теперь сделаем так: наденем на барабан хомутик. Медный хомутик. И так его насадим, что одна ножка хомута придется с одного боку, а другая — с другого. Чтоб верхом сидел бы хомутик этот на фарфоровом барабане. И вот этот барабан с медным хомутом вставим в разорванное место провода. А разорванные концы пусть все время прижимаются к барабану. Теперь у нас барабан как замок.

Пока провода упираются в фарфоровые бока барабана, ток не пойдет, у него по дороге фарфор — через фарфор не пролезть. Теперь повернем барабан так, чтоб медные ноги хомута как раз пришлись против проводов. Ну теперь другое дело! Ток сейчас же в медь, и по хомуту, как по медному мосту, перебежит через фарфоровый барабан, и поскакал дальше, как будто провод и не был порван.

Теперь остается устроить только так, чтоб барабан поворачивался легко и удобно. Чтоб концы порванного провода всегда бы плотно к нему прижимались.

Но это уж нетрудно устроить. Барабан закреплен на оси. Ось кончается ручкой, за которую удобно рукой поворачивать. А чтоб не отставали провода, их, конечно, не упирают прямо в барабан. Их подводят к пружинкам. Пружинки эти стоят с боков барабана и пружинисто нажимают ему на бока. Они никогда от него не отходят: повернут ли барабан к ним медным хомутом или фарфоровыми боками. Все это: и ось с барабаном, и пружинки с проводами, — все укреплено на круглой фарфоровой подставке, а сверху прикрыто медным колпачком — наружу торчит только ручка, чтобы поворачивать выключатель.

Провода в комнате обычно тянутся по карнизу, под самым потолком. Не делать же там разрыв и не ставить же выключатель под самый потолок. Делают проще — спускают вниз по стене один провод длинной петлей (петлю эту для аккуратности сворачивают в жгут). Внизу этой петли делают прорыв и сюда, к оборванным концам, присоединяют выключатель. Ток побежит по проводке, спустится по петле, а тут выключатель! И вот подставит ли выключатель медный мост или фарфоровые бока — от этого все зависит: пойдет ток дальше в лампу или станет и не двинется никуда.

А машина на станции вертится и вертится, у ней всегда готово электричество. И чем сильней магнит в машине, тем больше току шлет она в провода на линию.

Но как взбодрить магниты, как поддать им силы? Да ведь если поставить туда электромагниты, если поставить железо, обмотанное проволокой, ведь тогда сила магнита в наших руках — чем больше току пошлем в обмотку магнита, тем сильней будет магнит.

А откуда же ток взять? Да от нашей же машины. Действуют наши магниты кое-как спервоначалу. Пошел ток, правда, слабенький. Нечего его весь пускать на линию, отведем немного себе в машину, пустим его вокруг магнитов. Магниты сейчас же посильнеют и пошлют нам больше току. А мы опять из этого тока уделим часть на поддержку магнитов в машине. Они еще сильней станут. Сильней уже пошел ток на линию. Верти только нашу электрическую машину, наш генератор. Чем сильней идет от него ток, тем сильней он и работает, сам себя усиливает, и растет и растет ток в линии. Так это до каких же пор? Ну, тут есть уже средство: как раз на том ответвлении, что идет к магнитам генератора, стоит по дороге препятствие. Стоят проволоки. Там проволоки потоньше, пробираться через них току трудновато.

Устроено так, что можно подставить много проволок по пути тока, а можно и совсем их убрать. Все это делает механик поворотом ручки.

Это реостат. На мраморной доске на станции укреплены круглые, как часы, указатели: они показывают, сколько тока дает машина на линию, сколько его идет в магниты. Там на доске и большие выключатели. Здесь уж особое устройство. Как будто оборванный провод расщепился на две части, и расщелина обделана, как две медные щеки. Другой конец обрыва укреплен к концу ножа, а сам нож на шарнире приделан к доске. За ручку его можно прижать вниз и плотно всунуть между медных щек оборванного конца. Тогда через нож побежит электричество из оборванного конца и будет непрерывная линия. Поднимите этот нож за ручку, выньте его из разреза, и прервется линия. Нож ходит, как будто он для того, чтобы им рубить, — вроде той машинки, которой колют сахар. Поэтому такой выключатель называют рубильником.

Заработал паровик или дизель-мотор на станции, завертелся от него генератор. Побежал слабенький ток в магниты. Приободрились магниты, сильней пошел ток: закачались стрелки на указателе на мраморной доске, вот уж сильней, сильней. Механик следит за стрелками. Току больше и больше. А мотору все трудней и трудней вертеть генератор: трудней поворачивать проволочный моток между сильных магнитов. Как будто что-то липкое, как патока, затекло между проволоками и магнитами.

Но ничего, механик поддал ходу мотору — верти, не ленись. А ток уж бежит по линии, и вспыхнули на улицах фонари. А вот еще рубильник на мраморной доске. Прижал его механик — и далеко на окраине города осветились дома, вспыхнул свет в театре. Зажужжал фонарь в кино.

И механик распределяет ток по всему городу, стоя перед этой распределительной доской, на которой стрелки в приборах указывают, сколько идет тока, а над рубильниками стоят надписи, в какой район пущен ток.

Но нельзя же все одной машиной работать и день и ночь круглый год. И ей надо дать отдых и ее надо подлечить. А перестать светить нельзя: может быть, сейчас днем где-нибудь в подвалах идет важная работа, и весь расчет на электрический свет. Надо включить другую машину, так, чтоб и на один миг не было перерыва в освещении. От секунды может зависеть человеческая жизнь: что, если доктор делает в больнице операцию, где каждое движение, каждый неверный шаг может стоить жизни больному... а тут вдруг тьма! Меняют машину?

Нет! Машина на станции не одна. Несколько генераторов стоят на электрической станции, и, если уж чуть начал сдавать один, ему на смену готов другой. Иной раз только дрогнет на линии свет, чуть заметно мигнет — это на станции одна машина передала свою работу другой.

И по-прежнему накалены в лампах волосочки и горят не сгорая. Свет без огня.

ГРИВЕННИК

I

Говорят, серебряный

Гривенник — что в нем интересного, в этом гривеннике? Кто его не видал? Всякий знает. На нем написано «10», с другой стороны советский герб, а сам он серебряный.

Вот уж и не верно. Не очень-то он серебряный. Такой же он серебряный, как и медный. Дайте гривенник ученому человеку — химику, он разберет его состав и скажет: тут половина серебра, а половина меди.

А потом легко сказать: написано. Возьмите-ка напишите на серебряном кружке «10 копеек», да не как-нибудь там нацарапайте, а чтобы выпукло вышло и ровненько. А если взяться герб выделывать, — тут уж черт ногу сломит: меленько, накручено, наворочено. Куда там!

Вот тебе и гривенник!

А гривенников-то видимо-невидимо

По всему Союзу ходят. Кажется, если б заставить кого-нибудь вырезать каждый гривенник, так он бы не дешевле как по три рубля за штуку взял. И так бы вышло, что один на другой не был бы похож. И каждый гривенник выглядел бы по-своему. Вот была бы история!

Гривенник не стоит трех рублей,

а всего десять копеек. И все они, как один. Только что бывают постарей и поновей. А если на старость внимания не обращать, так гривенники ничем не отличаются друг от друга. Как же это сделано? Давно ведь люди этим занимаются, было время научиться монеты делать. А в старое время монеты делали тяп-ляп, и сходило. Вот посмотрите:



Старинный пятак

Этому пятаку сто двадцать лет. Таких пятаков если на рубль набрать, то карман порвешь. Зато уж меди там...

А вот вам и серебряная монета — ей две тысячи лет.





АФИНЫ - 450 г. до н. э.

Здесь уж совсем кой-как сделано: выпуклая голова — и то ладно. Зато уж тут серебро настоящее.

Кусок серебра

Ведь за кусок серебра можно и не глядя на рисунок дать хлеба хороший кусок.

Так, может быть, и рисунка не надо?

Наделать кусков серебра, и, когда захотел купить что-нибудь, давай куски. Одного мало — бери два. Три, четыре бери! Купец знает серебру цену, отдаст товар.

Ну а вдруг одного куска мало, а двух кусков, пожалуй, и многовато будет? Что ж тут придется делать?

Рубить!

Оно и на самом деле так было. Так просто и платили кусками серебра, а коли целого куска много, рубили его. Получался уже рубленый кусок. Отсюда и пошло слово «рубль». Большие куски назывались «гривна», а полгривны — «полтина». Гривна была длинная, чтоб ее удобней было рубить, и ее при надобности, как колбасу, делили на куски. Но вот беда —

Кусок куску рознь

Я отрежу маленький кусочек, а вы отхватите полгривны — так что же: и то полтина и это тоже полтина? Выходит, что каждый раз надо взвешивать — в каком куске сколько серебра. Уж положили так: все гривны пусть будут одинаковые.

Ну а с полтиной как быть?

Наберется у лавочника разных кусков, как хламу какого. Вот надо сдачи дать — какой кусок взять? Остается одно: кидай на весы, сколько он потянет.

«Девять, десять — деньги весят»

Эта поговорка осталась с тех пор, когда весили деньги. Возни было много, а обмана и того больше. Мало, что купец тебя на товаре обмерит, он тебя еще и на деньгах обвесит.

Установили наконец гривну не рубить зря, а только пополам — это будет полтина.

Полтину тоже пополам — это уж будет четвертак.

Опять обман!

Конечно, обман! Я пойду, отрублю дома от гривны два куска — разве кто на базаре заметит, что они чуть-чуть меньше полтины? Вот я и без работы в прибыли.

Как же поймать, если кто пустился на обман? Взвесить! А я буду кричать на весь базар: «Ладно! Сам жулик! У тебя весы кривые, да и гири воровские!» Значит,

Надо идти к верному человеку,

пусть он взвесит и нас разберет. Что же этому верному человеку делать? Сидеть целый день и народ мирить — полтины взвешивать? А может быть, уж вешаный кусок принесут другие люди — опять вешай? Нет! Так никакое торговое дело не может пойти.

А если пометить?

Вот правда: пометить, какие куски верные, чтоб не носили по двадцать раз взвешивать. Но торговый народ и сам не плох, и другому в обиду не хочет даться. А вдруг от этих-то меченых полтин кто-нибудь догадается по кусочку отщербнуть... Гляди, и целая гривна серебра наберется. А ведь чуточку откусил — и не заметно вовсе.

Вот тут и дошли до того, что нельзя иначе, как ставить метки по краям. И с одной стороны и с другой — чтоб не подскреб какой-нибудь каналья с отрубленного краю. Пусть метит казна. А чтоб все казенную метку знали, чтоб всякий к ней привык, — надо, чтоб была на всех рублях одинаковая метка.



Монета

Так и делали: разрубят гривну и с отрубленных концов поставят казенные клейма-печати. А когда стали круглые рубли чеканить, то и клали печать и с лица и с изнанки.

Одно и то же клеймо пришлось делать на всех рублях — и такое, чтоб его не так-то просто было подделать.

Вот тут и дошли люди до монеты.

Конечно, если резать на монете рисунок, так одна работа выйдет дороже самой монеты. Нет, выдумали проще: выбивать печать. Печать, как для сургуча. Давили эту вырезную печать, конечно, не рукой, а били

Молотом

Поставят печать (она железная делалась) на кусок серебра или золота, а сверху по ней молотом — раз! За один удар — готово клеймо. Наготовят кусочков, чтоб и вес был аккуратный и чтоб формы они были подходящей, и выбивают печать. Готова монета. Но вот смотрите,

Что выходит

Возиться с каждым кусочком некогда — и поставили печать как пришлось — трах! — да за другую живо! Бывало так, что только край один выйдет — и то не беда. В те времена и так было хорошо. Мастеров мало было, и подделать печать было трудно.

Теперь вы посмотрите: вот он наш советский гривенник.

Все ровно, все на месте, и каемочка, и зубчики вокруг, и надписи, и сам он гладенький. Как же его делают? Неужели молотом?

Да, молотом.

А вот каким молотом и как — читайте дальше.

II

Не фальшивый ли?

В самом деле: раньше чем выколачивать этот гривенник каким-то там молотом, надо же подумать — из чего мы его куем.

Ведь я в самом начале сказал: в нашем русском гривеннике половина меди. А все говорят — серебряный.

«Нет ли, — говорят, — у вас на рубль серебра? Хоть гривенниками».

Серебра! А гривенник-то... не очень серебряный.

А ведь поди ж ты — за пять гривенников дают полтинник, и без всякой приплаты. Придите в Госбанк и получайте. Это уж кусок настоящего серебра, и с краю помечен вес: 9 граммов чистого серебра. Верный человек пометил — казна. А сколько из этого полтинника гривенников можно было бы наделать, — пожалуй, на целый рубль!

Выходит, что менять нет расчета

А вот в чем все дело.

Представьте, что все деньги — только полновесные серебряные полтинники. У вас в кармане полтинник. Пришли вы в лавку. Спросили карандаш. Сколько? Десять копеек. Как быть с полтинником? Откусить от него пятую часть, что ли? Клещами, кусаками какими-нибудь? Так теперь не делают. Пропал тогда полтинник.

Вы говорите купцам:

«Я вам записочку дам. Я ведь не последний раз у вас. Как наберется у вас пять моих записочек по десять копеек — я вам их обменяю на полтинник».

Купцы не верят

«Нет, — говорят, — давайте лучше так. Вы оставьте свой полтинник здесь, а вот мы вам дадим записочку, что вам еще можно набрать товару на сорок копеек. Сами же вы изволили обещать заходить к нам».

«Можно бы и так», — думаете вы. Да как быть: вы еще мороженого хотели съесть.

Обидно: полтинник в кармане, а на пятак мороженого нельзя взять.

Как тут быть? Ну его, с карандашом. Пойдем к мороженщику. С ним та же канитель. Вы ему не верите, он вам.

А что, если сделать так?!

Положить полтинник, как говорится, «за руки» верному человеку — такому, что и купец, и вы верите. А он пусть от себя даст пять записочек: «Кто принесет таких пять записочек — отдам за них полтинник» — и его подпись. Если его все за верного человека знают, — конечно, согласятся и карандаш вам дать за такую записку, и мороженого на гривенник.

А потом и сдачи можно такими записками давать: лишь бы знать, что «за руками» в верном месте лежат настоящие серебряные кружки и на них помечено: 9 граммов серебра.

А кто же такой, кого все знают?

Казна. Казна даст записку — и всякий ей поверит. Но ведь записки-то эти так бы живо обшмызгались, что от них лоскуты одни через год остались бы. Хороши были бы железные, да беда — ржавеют. Взять бы медные? Ну так вот медные и делают. Пятаки, семитки, копейки. А уж гривенник тогда придется делать целой бляхой. Гляди, и в карман не влезет.

Пусть будет светлый

Подбавили в медь серебра и выбили на одной смеси круглые бляшки. На них стоит «10». Это вот и есть металлическая расписка в том, что «за руками» у верного человека — у казны попросту — лежат настоящие серебряные полтины. Набери пяток этих круглых расписок и получай, если хочешь, в банке серебро.

А из какого металла расписки эти сделаны — не все ли равно? Были бы крепкие.

Так что же: разве гривенник «фальшивый», если в нем половина меди? Да будь он хоть чугунный — лишь бы за пять этих гривенников давали полтинники, что лежат у Госбанка «за руками».

А из чистого серебра — фальшивый!

Наверное, фальшивый! И если золотой будет гривенник — тоже фальшивый. Казна таких не выпускает — это уж, значит, какой-нибудь любитель постарался, и казна такой гривенник не признает за свою металлическую расписку.

«Мы, — скажут, — таких не выпускали. Наши все полумедные!»

Был в старое время такой фальшивомонетчик, что делал у себя дома гривенники. И так старался, чтоб не попасться, что заваливал в гривенники серебра в полтора раза больше, чем было в казенном. На этом и попался. А на суде все плакался: «За что судите? Ведь мой-то гривенник лучше ваших казенных!

Если мои фальшивые, так куда ж казенные годятся? Тогда вперед казну судите. За что меня-то мучаете!»

В казне, на Монетном Дворе

вот как делают.

В огромный горшок (он называется тигель) наваливают 25 пудов серебра и 25 пудов меди.

Монетный Двор — это денежный завод. Там есть огромные печи. Вот в такую печь и ставят тигель. Жар там такой, что и медь, и серебро плавятся, как олово на свечке. Плавятся и смешиваются.

Потом из тигля эту смесь черпают ковшами. Металл в тигле совсем жидкий, и его можно лить, как молоко из кувшина.

Нельзя быть «меднее»!

В том-то и сила, что нельзя быть гривеннику ни меднее, ни серебрянее, чем наполовину. Не в том дело, из какого именно металла гривенник, а в том вся суть, чтоб все гривенники были, как один. Чтоб всякий в руки взял и понял: казенной выделки.

Как бы только тут промаху не дать!

Как же попробовать?

Делают так: ложечкой зачерпнут немного металла, остудят в воде и смотрят: то ли вышло, что надо?

Там, на Монетном Дворе[1], есть химики. Они уж разбирают — тот ли состав, что надо, или ошибка. Может быть, чего добавить надо — меди или серебра. Все узнали, подправили — и вот как раз:

Ровно половина меди. Теперь лей!

Тогда льют металл в формочки.

Формочки сделаны так.

В стенке чугунного кубика сверху вниз прорезаны три желоба. Если бы в них стали лить серебро, оно вылилось бы.



Чтобы этого не случилось, прижимают другой такой же кубик. Получаются три колодца. Таких кубиков городят целый ряд. Во все колодцы сверху ковшиком льют жидкое серебро. Когда оно застывает, формы разнимают и из желобков вываливаются серебряные чурочки. Их называют

Praванины

Для двугривенных praванины отливают потолще, для гривенника потоньше. Но только не подумайте, что прямо из этих praванин и начнут ковать монеты. Нет! Тут все дело идет к тому, чтоб резать монету из листа, как вырезают стаканом кружки из теста для вареников или пельменей. Только что-то тесто у нас больно крутое. Кто возьмется раскатать в лист серебряную praванину? Возьмется машина и раскатает,

Как тесто скалкой

Да не только серебряную praванину, а даже сталь — на что крепкая — и ту машина раскатывает в лист. Вот кровельные листы — это ведь железная бумага. Это машина в такую бумажку раскатала тяжелую железную болванку, как хозяйка кусок теста.

Только машина работает не в одну скалку, а

---

[1] Он в Ленинграде, в Петропавловской крепости.

В две скалки

Скалки эти толстые, чугунные. Называются «вальцы». Один валец лежит на другом. Вертятся они так, что, если между ними что-нибудь сунуть, они сейчас же затянут и выбросят с другой стороны. Только уж, конечно, сплющат.

Однако их можно раздвигать так, чтобы между ними оставалась

Щелка

Можно щелку сделать по своему желанию — толще, тоньше. В этой щелке все дело. Пустят щелку пошире и сунут между вальцами кованину. Вальцы затянут ее и выплюнут с другой стороны, чуть сплющат.

А теперь надо сузить щелку,

опять туда кованину пустить — ее еще поприжмет. Еще сплющится кованина. Она уже и на чурочку-то не стала похожа — все площе, все длинней. Гляди, уже лента тянется между вальцов — это так размяло, раскатало нашу кованину.

Вот тут уж скоро стоп! Тут надо смотреть, как бы не перетонить. Как только лента вышла толщиной ровно с гривенник — довольно раскатывать. Готова

Серебряная лента

Вы думаете, она похожа на серебряную: белая, блестит, сияет? Она чумазая, черная, как горелая ржаная корка. Дело, видите, вот в чем.

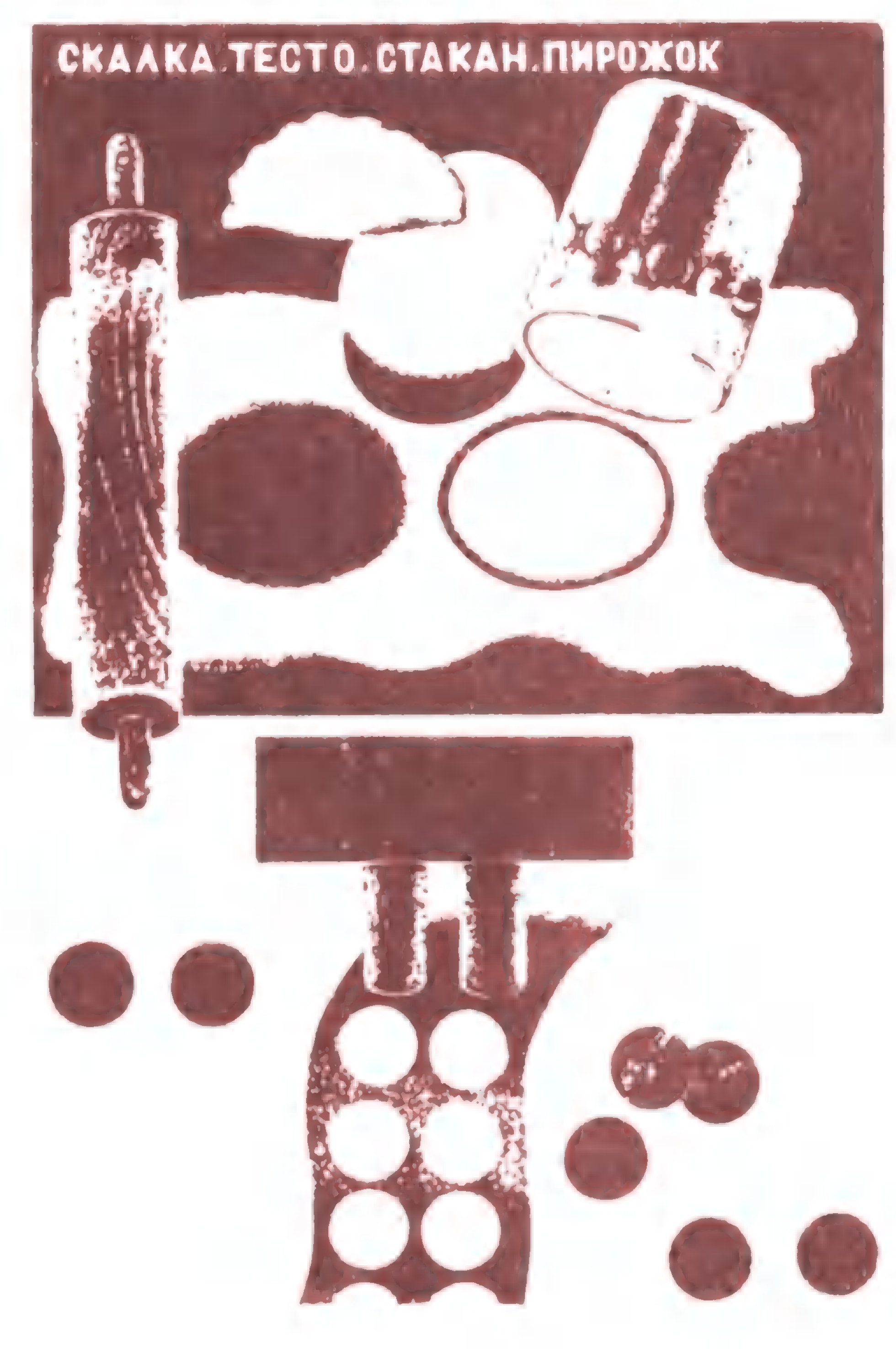
Хоть машине серебро все равно что нам тесто, но все-таки ей хотят помочь. Если серебро отжечь, то оно становится мягче.

Попробуйте проволоку накалить в огне, и пусть она остынет в воздухе. Увидите — она станет мягче. И вот, когда серебро отжигают в печах на огне, оно чернеет. Теперь достать бы такой

Стакан,

чтоб выдавливал из этой ленты кружки, как из теста. Чтоб не уступал в силе тем скалкам, что раскатали кованину в тонкую ленточку. Есть такие стаканы на Монетном Дворе. Это стальные чурбашки, столбики, как раз по размеру монеты. У них края обточены острым ребром. Таким столбиком машина ударяет по ленте, а снизу в столе круглая дыра по размеру монеты. Столбик ударяет по ленте и продавливает ее сквозь дырку. У дырки края тоже аккуратно обточены: острые, строгие края. Ровно, гладко выбивает столбик, одним ударом: раз! И снизу вылетает выбитый из ленты кружочек.

Кружочки



Для скорости работы эти стаканы поставлены по два рядом, и за один удар машина выбивает два кружка сразу.

А бьет машина скоро — триста раз в минуту. Черненькие кружочки так и сыплются — пятьдесят тысяч в час.

Вот уж для нашей металлической расписки бумага готова. Остается только проставить на ней, сколько копеек, и выбить печать с гербом. Но сначала делаются

Рамочки —

ободок по краю. Возьмите монету. Посмотрите — видите, края чуть приподняты. Как будто рамкой обведены вокруг, кантик такой. Этот кантик вот как делают.

Представьте себе две линейки на столе, одна рядом с другой. Между ними зажмите кружок. Теперь если линейки потянуть, одну вперед, а другую назад, повернется ведь кружок. Вот в такие стальные линейки попадает монетный кружок.

Линейки его сильно сжимают между собой и поворачивают. Обжимают так, что с краев делается выступ. Вот этот выступ и есть тот самый ободок, что идет вокруг всей монеты. Все теперь приготовлено. Остается

Самое главное —

поставить цифру и печать. И цифру и печать выдавливают так же, как можно выдавить на тесте любой рисунок. Так же выдавливают, как на сургуче печать.

На печати, которой придавливают сургуч, вырезан глубокий рисунок. Когда ею давят на расплавленный сургуч, то он заполняет все вырезы печати, а печать снимут — на сургуче остается выпуклый рисунок.

А если б сделать так: повернуть печать рисунком вверх, накапать сургуча и сверху придавить другой печатью? Вышла бы пластинка с рисунком на обеих сторонах.

С монетным кружком так и делают. Кладут кружок на печать,

а сверху машина прижимает другой печатью. На одной печати «10 копеек», а на другой герб.

Кажется, все готово. Остается только вычистить нашу монету до блеска. Нет!

Зубчики

забыли! По краю ведь идут зубчики. Но тут дело устроено очень просто. Прежде чем кружку улечься на нижнюю печать, ему надо пройти через кольцо. Протиснуться через круглое окошко. Окошко все по краям в зубцах.

Эти зубцы оставляют метки по краю монеты, и получаются те самые зубчики, что видны с краю гривенника.

Теперь уже все. Только

Не оставаться же черной!

В самом деле, надо же монетку отмыть от этой черной окалины, что осталась после отжига.

Отмывают кислотой. Устроен большой ящик. В этом ящике на оси вертится бочка. Бочка вся в мелких дырочках. В ящик наливают разбавленной серной кислоты, а в бочку насыпают монет. Кислота входит в бочку. Бочку вертят на оси, и монеты купаются, переворачиваются, трутся одна о другую и

Делаются чистенькими,

блестящими. Потом бочку вынимают из кислоты и переносят в ящик с водой.

Вертят бочку теперь уж в воде: отмывают монеты от кислоты. Потом бочку открывают, и все монеты высыпаются на дно ящика. Оттуда их выгребают тазами. Тазы с дырками на манер дуршлагов. Теперь дать высохнуть, и монета готова. Все монеты старательно пересматривают, и чуть какой гривенник не домылся, темный, — его отправляют домываться. Нельзя чумазого гулять пускать.

Смотрят рисунок —

хорошо ли вышло. Надо, чтоб все были, как один. А чуть кто не такой — ступай назад, на переделку, а то не признают тебя. «Таких, — скажут, — кривых казна не выпускает, ты, видно, из фальшивых». И не признают гривенника.

Да, на Монетном Дворе строго: чуть что не так — назад, на переплавку.

Пятиалтынный и двугривенный

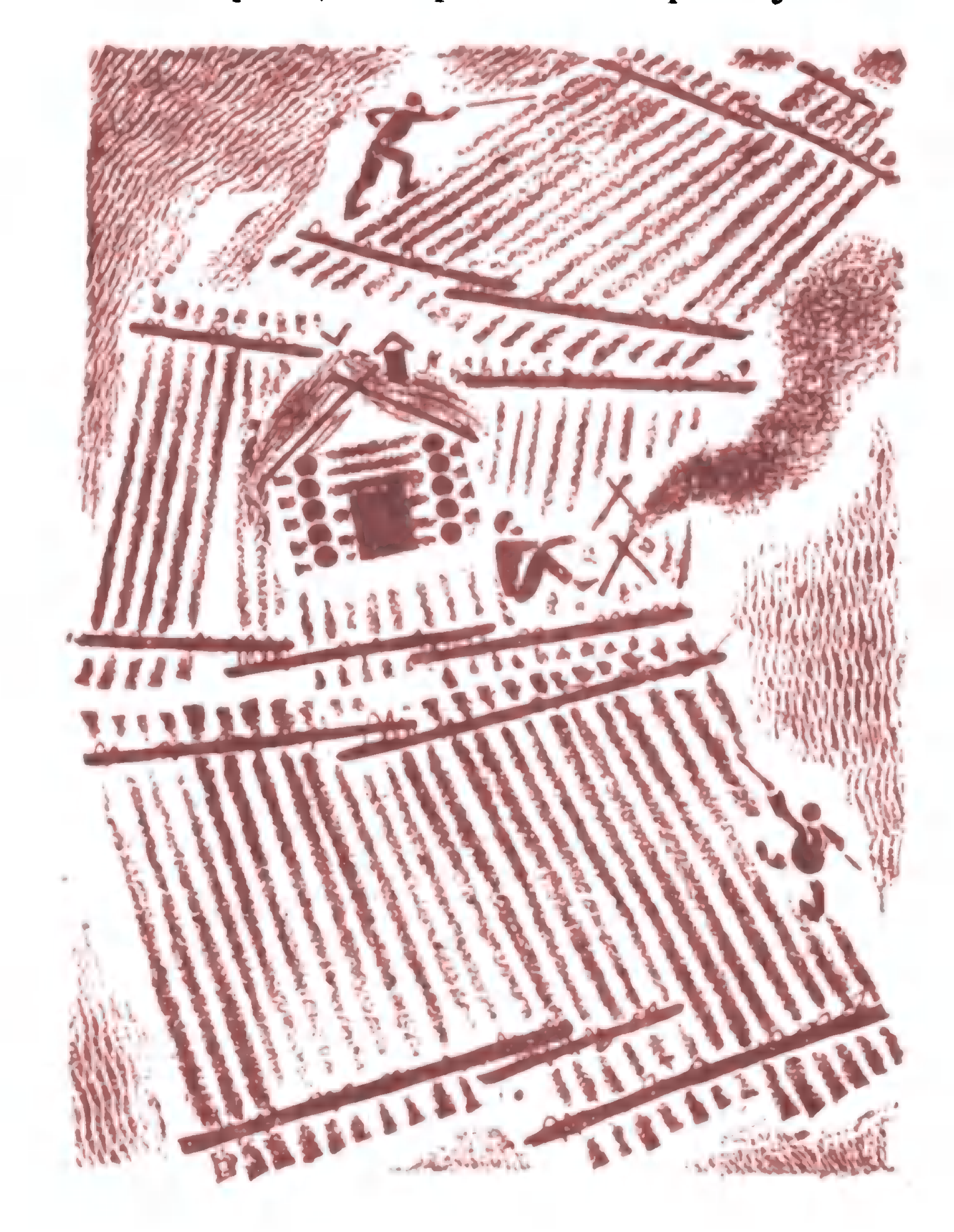
Это гривеннику старшие братья. Делают их совершенно так же. Только кованина отливается потолще. Из нее и лента прокатывается потолще. Из ленты и кружок пошире выбивается. А выбивает на кружке машина. Да и рисунок другой.

И вот работает в Ленинграде денежная фабрика Монетный Двор. Выбивает серебряные кружочки. Что за товар? На что он? Кому? А вот не могут без него обойтись, меняют на него люди и хлеб, и одежду, и труд свой отдают. Как будто выходит — это всем товарам товар. А посмотришь на гривенник — просто серебряный кружок, и ни в какое дело его пустить нельзя. Хуже ржавого гвоздя. Гвоздь хоть в стену забить можно. А вот поди ты: всякий гривеннику рад больше, чем гвоздю.

ПЛОТНИК

Как вы думаете, откуда произошло это слово — «плотник»? От «плот».

Плот — это значит плотно, тесно скрепленные бревна. Это первое судно у людей было. Чего, кажется, проще? Бревно к бревну нагородил, связал как-нибудь — и готово: нехитрая штука. А ну-ка, попробуйте! Попробуйте, настелите на воде такой плавучий пол, чтоб он на ходу не расползся, чтоб его ни волной, ни течением не размыло. Чтоб на порогах не разметало по бревнышку.



А ведь посмотришь на другой плот — остров целый плывет. Изба на нем стоит, в избе печь топится. А то намостят плотовщики земли и на плоту костер разведут. Сидят вечером вокруг костра, картошку варят, а дым комаров отгоняет. Только бы еще огород кругом развести! Плывет плот по реке сотни верст — и хоть бы что — плотно сделан. На то и плотники.

Морской плот

На плоту можно переехать за сто верст. Всем хозяйством погрузиться. Избу разобрать, свалить на плот и скотину на плот поставить, сесть самим и, не торопясь, по течению спускаться вниз по реке.

Ну а если против течения? Нет, тут уж шабаш. Против течения куда ж такую махину гнать! Как ни пихайся шестами в дно, как ни тужься, плот своим широким лбом так упрется в воду, что хоть брось. Лучше по берегу пешком идти.

Ну а если бревна реже поставить? Сквозной плот сделать?

Конечно, легче пойдет! Так вот люди дошли до того, что стали делать плот совсем пустой: только два крайних бревна оставили, а между ними ничего. Два бревна, метра на два одно от другого, и соединены двумя перемычками.

Самая простая плотницкая работа. А вы знаете, что это судно? Океанское судно! Я не шучу.

Дело было вот какое. Пароход снялся из Коломбо (порт на острове Цейлон в Индии) и ушел уже миль[1] пять от берега в Индийский океан. А на берегу остался один человек из команды.

Его ждали. Но не стоять же до вечера целому пароходу из-за одного разини? И решили идти без него.

Вдруг смотрят — вдали парус. Далеко сзади, чуть виден. Парус все ближе, ближе. Пароход идет вперед по десять миль в час, а парус нагоняет.

Именно парус, потому что судна-то самого вовсе не было видать, так вот прямо из воды и торчит мачта.

Зыбь в океане большая, ветер свежий, а парус так и скачет по гребешкам. Стало наконец в бинокль видно, что не просто мачта из воды торчит, а что-то под ней чернеется. Разглядели, что под парусом два человека сидят — один в белом, другой совсем черный.

Через полчаса все уж без бинокля различали двух людей на бревне под большим парусом. Пеной, зыбью их обдавало, а они летели по гребням, только пыль водяная рассыпалась в стороны. И как только бревно это не перевернется?

[1] Морская миля — около $1\,^3/_4$ километра.

Но сила вся в том, что рядом бежало другое бревно. Оно поперечинами было соединено с главным. Это вот и был тот самый пустой плот из двух бревен, только с парусом.

Выходило — как водяные лыжи. Эти лыжи не могли перевернуться.

На том бревне, где сидели люди, шли по бокам две доски: два борта. Получалось, как будто длинная узкая лодка.

Черный сингалез правил с кормы веслом, а наш держал веревку от паруса и махал нам белой фуражкой.

Они быстро нагнали пароход. Спустили трап, и наш товарищ взобрался на палубу.

— Что, — говорит, — не ушли!

Он рассказал, что завозился на берегу, прибежал на пристань — нет парохода! Чуть не заплакал с горя. Топтался на берегу, не знал, что делать, все в море глядел.

Сингалез догадался, в чем дело, и взялся за три русских рубля догнать пароход на своем парусном плоту. С опаской сел наш приятель на бревно, да что ж было делать?

А сингалез поставил парус и рванул вдогонку.

По 18 миль [1] в час летели они под парусом. Чуть не вдвое шибче нашего парохода.

Эти плоты называются катамаранами.

Я потом внимательно их рассматривал у сингалезов.

Работа плотницкая. Но какая!

Оказывается, то бревно, что плывет рядом, — пустое внутри. Я сначала не мог догадаться: оно острое по концам, как сигара, и гладкое, ни одной щелочки. На бревно надеты обручи, как на бочке.

Я стал спрашивать сингалезов, зачем обручи. Тогда один взял камень и постучал по бревну. Застучало гулко, как по коробке. Я понял: пустое.

И только тогда я заметил тонкую линию, где соединялись верхняя и нижняя половины бревна. Тонкая прорезь — будто кто ножиком наметил.

Сингалезские плотники делают так: распиливают бревно вдоль, обе половины выдалбливают, как корыта. Потом снова складывают. И так пригоняют эти половинки, что, если не знаешь, и в ум не придет: скажешь — целое бревно. До того плотно!

Очаковские мастера

Есть на Черном море город Очаков. Это как раз где впадают в море и Буг, и Днепр. Вот тут-то, вокруг Очакова, и разбросаны рыбачьи становища. Живет тут исконное рыбачье население.

На всех морях рыбак тот же: главное ему — судно, что мужику конь. И пашет рыбак море, что мужик поле.

---

[1] 32 ½ километра.

На плоскодонных шлюпках — шаландах — выходят далеко в море очаковские «рыбалки», и уж тут вся надежда — шаланда.

Легко должна ходить она на веслах, стойко носить паруса. Круто вырезаться под парусом, когда прямо в лоб работает противный ветер. Как утка, должна шаланда выигрывать на волну, не зарываться носом в зыбь, «сухо ходить» в свежую погоду.

И чего-чего не спросит рыбак с шаланды! Жену себе подобрать легче, чем вот эту дощатую посудину. Да и верно: не только что счастье-удачу вверяет рыбак шаланде, а и жизнь свою. Поймает в море погода, заревет, завоет и зальет, опрокинет рыбака — и пропал со всем уловом и с сетками.

А посмотришь на рыбачьи шаланды, как будто они все, как одна. Да и рыбак их на вид не распознает.

— Разве, — скажет, — в нее влезешь? Вот как она себя в море покажет!

Но были мастера на берегу под Очаковом, что без промаху, без ошибки делали надежные и ходкие посудины. Рыбаки ценят таких мастеров и каждого работу знают.

— Вот Антонова работа! — скажет рыбак и ладошкой по борту стукнет.

Понимай: первый сорт!

А этот Антон был запойный пьяница. Запьет — не подходи. Как дым — так его ветром и слонит. Рыбаки за ним следом ходят, ждут. Всем обещал в очередь. Уж и доски готовы, сложены. Дело не ждет. Плюнуть бы да к другому пойти... Да жаль! Уж возьмет Антон инструмент и такую отстругнет посудину, что летать по всему морю, по всем берегам — и никакая сила! На веслах — толкни только — сама идет. А парусами! Давай только ветру, что крепче, то лучше. Летит — из воды вырывается. Приляжет на бок и чешет по зыбям, только пена летит. Впереди всех прибежит Антонова шаланда к берегу, и, пока соседи с моря придут, тут уже и сетки развешаны, и рыба на базар поехала, а рыбак лежит на песке, покуривает.

Вот и ходят рыбалки за пьяным Антоном.

— Дяденька! Потом допьешь, нас-то не томи!

А Антон мутный весь, будто и не на этом свете. Старуху уж заговаривать два раза нанимали — ничего не берет.

Пришел солдат.

— Я, — говорит, — верную рюмку знаю. Налью эту рюмку ему — и как рукой.

Верно. Сняло. Чего он там наливал — его уж дело.

И вот уж по всему берегу говор идет: «Взялся». Все наперебой:

— Дядя Антон, мне вперед.

Антон брови насупит на подмастерьев зверем. Слова не скажет, только глазами ворочает, а те уж мечутся, как мыши.

Сразу семь шаланд заложил. И не понять, как он с перепою ошибки не даст: помнит, кому какую обещал.

Зло работает. Поглядеть — так зря дерево крошит. А он и разу-то одного зря не ударит, и все без поправки. Отпилил, обрезал, ткнул на место — и как прилипло.



Гвоздь ли вбить — одним ударом. Приставил к месту, стукнул обухом топора — и утонул гвоздь в дерево по самую шляпку. Как в масло ушел. И тут уж с ним не говори, с руки не сбивай.

Доску только в руку взял — он уж ей цену знает. Какую отшвырнул, эта уже, знай, не обогнется по борту — лопнет. И пробовать нечего. А уж какую в дело взял, — значит, надежная доска. Обогнул, обвел по борту, и туго, пружинисто легла доска. Растет шаланда, и вот стала вся белая, стройная. Как говорит. Как живая. Не терпится рыбаку — хорошо уж, ладно. Скорей бы в руки. Ходит около, как ребенок возле игрушки:

— Да уж хватит, дядя, стараться!

Антон и усом не поведет. Пока во всех статьях шаланда не будет «справная», как он понимает, — не столкнет ее заказчику.

И на всем побережье его шаланды славились. Легкие: на берег вытащить — не надо рвать усталые руки. Погоду держать — сиди что дома. А уж про ход и не говори.

Пробовали другие: мерили Антонову посуду и вдоль и поперек. И аршинчиком, и шнурочком. Потом по этой мерке и делали. Все, кажись, так. Пошел в море — не то! Так и не знал никто, в чем секрет.

— Талант имеет в руке, — говорили рыбаки.

В руке ли талант, в глазу ли, а только Антон ни разу за всю свою пьяную жизнь не дал промашки: все шаланды на славу, и какая лучше — сказать трудно, — хозяева спорят.

Избяной инженер

А вот есть в России плотники. Ну и плотники! О них по всей России слух идет: кологривские ребята. Знаменитые потомственные плотники, из роду в род. Чуть не всем уездом плотничают — Кологривским уездом, Костромской губернии.

Вот иной раз слышишь — говорят:

«Куда годится? Топорная работа!»

Скажите-ка это костромичу! Он вам покажет, что топором можно сделать. Топор у него острый как бритва. И этим топором он и карандаш очинит, и ложку из дерева вырежет, и бревно по шнурку обтешет, что рубанком выстрогает!



Возьмет топор за обух — вот нож и стамеска. И такую резьбу на тесине, на оконном наличнике вытанцует, что глядишь и диву даешься: да неужто это топорная работа?

А как схватил топор за самое топорище двумя руками — держись! Тут и столетний дуб не устоит.

И для всякой работы, для всякого удара — своя ухватка. Надо знать, как взяться за топор: когда повыше, под самое горло, когда за обух, а где за топорище, за самый конец — для силы, для широкого маху.

Хороший плотник тяпнет топором — и как раз по метке. Кажется, положи ему волос, так он волос вдоль надвое разрубит.

А со стороны глядеть — ляпает, кажется, топором как зря.

Наш Север — страна лесистая, сосновая страна. Деревни у нас деревянные, да и города городили из бревен. Было где понатореть плотникам в избяном деле. Не просто избу рубили: четыре угла да крыша.



Нет, ставили избу для уюта и чтоб с виду была приветливая. Чтоб жить тепло и смотреть радостно.

Такие избы и сейчас стоят у нас на Севере.

Глянешь: не изба — дворец. Да и в каком дворце на крыльцо санями въедешь? А столбики? А ставеньки резные? А наличники? И на все свой уклад, свое правило.

Ладит плотник ставни. И это не зря. Ставня что? Солнцу дверь. Ставню отпирают — солнышко впускают в горницу.

Вот на ставнях и режет плотник солнце.

А кто солнце встречает? Петух. Режет мастер и петуха.

А спроси его: почему?

— А иначе-то как же? Так уж заведено у нас.

На крыше «конек» конем и кончается. Резным конем. Он вперед глядит. Будто не изба это, а та кибитка, в которой праотцы кочевали и заехали сюда на Север.

Знает деревенский архитектор весь устав, как надо по чину избу ставить.

Чин-то чином, а все же у каждого своя рука. Бывает веселая рука у мастера. Кажется, изба как и все — а смеется изба. Другая уже старая, столетняя, покосилась, а все по-старушечьи улыбается.

Рубит мастер избу, загорелись руки — и пошел затейничать.

И у крылечка столбики, и на столбиках пояски и выкружки, а столбики надутые, чванные.

На оконце наличник закрутил резной, выпиленный. Там ковырнул, тут подтесал, а все не так, все мало! И уж нарядно глядит изба, празднично.

Нет, неймется мастеру, дай уж я ее разделаю по-своему, по-нашему!

Пройдет век, и все прохожие поглядывают: стара, стара. А видать: была красавица.

Другой плотник — серьезный мужик. Этот рубит избу кряжистую. Та же она во всех статьях, да смотрит не так. Сыто глядит, с достоинством. Кажется, в землю уперлась, корнем вросла. Без улыбки, нахмуренная. Так, кажется, и говорит прохожему: «Проходи, проходи мимо. Мне твоего не надо. А своего уж не дам».

— Неприветливая, — говорят про нее, — хмурая изба!

Ночевать сюда не попросишься.

Как-то проездом видел я в Костромской губернии избенку. Уж не знаю, сам ли хозяин ее ставил, или уж такой чудацкий плотник к нему забрел.



Стоит изба, и вся вразвалку. Будто сейчас из кабака. Вот, кажется, сейчас шатнется и станет, раскорячась, среди улицы. Вот она я!

Задорная изба.

Кучер смеется, кнутовищем кажет:

— Стороной, что ль, объехать?

А как разобрать — все будто правильно. Будто и не хуже других. Как иное лицо: все, кажется, на месте — и нос, и две ноздри, и глаза не косые. А глянешь — и в кулак прыснешь.

Вот тут и видна рука. У какого мастера хорошая рука, знают того во всей округе. В дальние деревни зовут.

Заживется крестьянин, затеет новую избу ставить — едет к мастеру с поклоном. И бабе неймется, и ей туда же! Да ведь как же? А клетушечки, а кладовочки, а сенцы да лавочки — бабье ведь это дело. Мужик что? Ему лишь бы крепкая да видная, а бабьего удобства не соблюдет, всего не выговорит, тогда вот и майся всю жизнь. Разве что, не дай господи, погоришь.

Мастер на бабу не глядит, будто ее и нет вовсе. Да и баба-то в стороне сидит и только кой-когда словечко вставит:

— Клетушечку попросторней бы!

Мастер будто и не слышит вовсе, что там из угла пищит. А сам уж на ус намотал.

Хозяину первый вопрос:

— Лесу-то припас?

Хозяин знает, что мастер строгий, и уж навез лесу сто дерев.

Вот и мастер приехал. Это только лес посмотреть. Глянет на бревно и говорит:

— Кати. А вот это прочь волоки.

— Как?

— А так! Я его насквозь вижу.

И верно. Плотник знает, здорово ли бревно, давно ли срублено и где росло: на песке ли, на болоте ли; и когда дерево свалили — зимой или уж по весне. Глядит на бревно и будто паспорт его читает. И сколько ему годов от роду — скажет, и все верно. Где тут с ним спорить! Волоки прочь, коли велит.

Хозяин уж не на лес свой глядит, а мастеру в брови: а ну как половину-то вышвырнет, что тогда?

Поглядел плотник и место, где избу ставить. Глазом прикинул, и уж все у него в голове. Вся изба в голове стоит, вся по бревнышку: и что куда пойдет, и где окно, где дверь, и где печь станет, и как стропила лягут, и все бабьи угодья взял в расчет. Живая изба у него в голове.

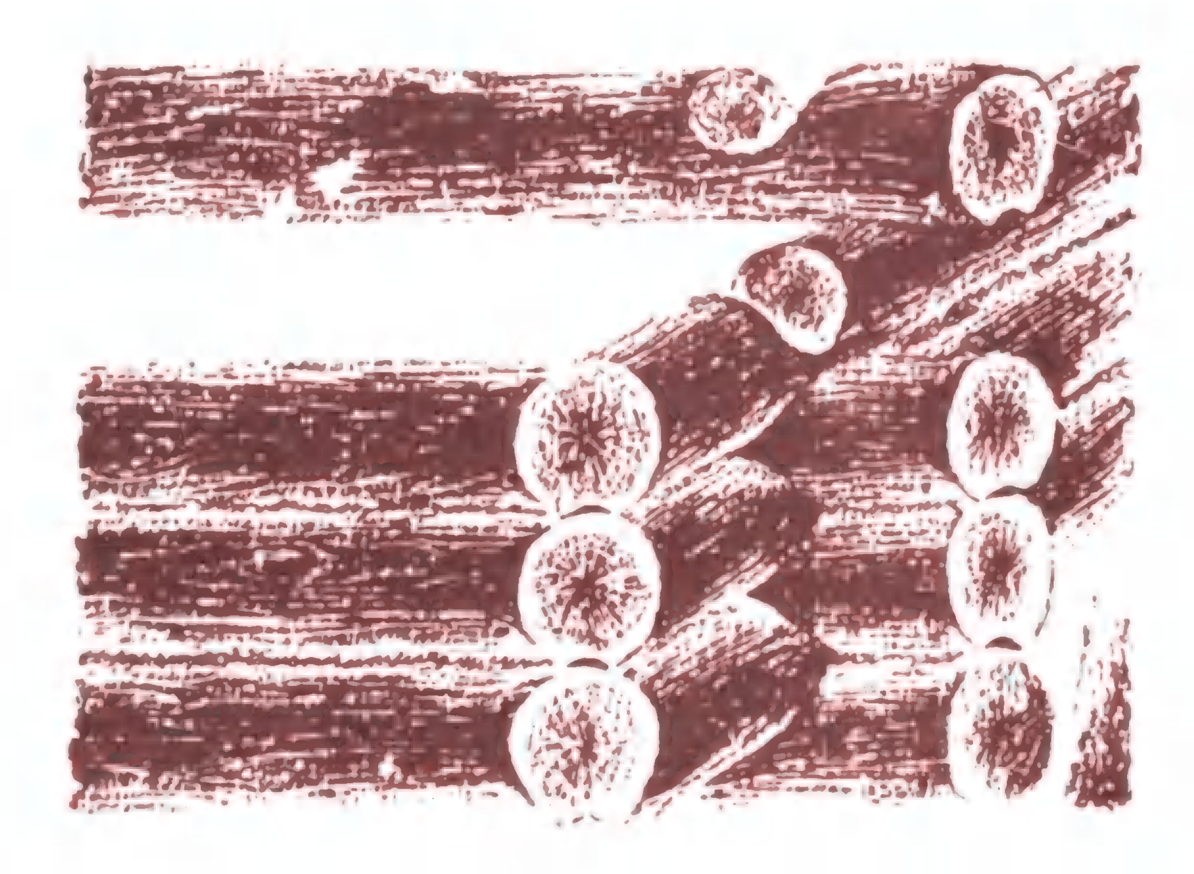
Промерил, забил в землю четыре колышка: тут углам быть.

И пошел. Работает с сыном, троих плотников нанял, да хозяйских двое.

Тешет мастер топором, как пером пишет. Щепка пахучая слоится, щелится. Мокрая рубаха к спине прилипла, а он знай тешет. Поплюет в руки — и опять снова-здорово.

А «делов» множество. Хочет хозяин не избу, не дом, а хоромы поставить. Хоромы в два этажа с «галдареей» и «выходами». Один выход (балкон) спереди, под самою крышею, другой поставь ему над

крыльцом. И чтоб крытый был на два ската, со столбиками. А «галдарея» пусть вкруг всего дома идет с перильцами, с резными балясинами.



Поглядишь на избу с углов и думаешь: как же она сложена? Кажется, будто бревно сквозь пропущено. Чудо какое!

А чудо вот в чем.

В углу, где бревно с бревном перекрещиваются, делается на каждом вырубка, как будто шея. Конец самый остается, как был, толстый — голова. И на перекрестном бревне зарубается такая же шея, и в конце такая же голова торчит. Бревна ложатся шеей на шею, а головы торчат из угла.

Вырубку делают круглую, как чашка. Так и говорят: «Углы в чашку рублены».

Плотник уже знает и рубит чашку на глаз, на память. Смотри — срослись бревна головами. Городи поверху второй слой. Вот легло бревно на бревно. Плотно ли?

Нет! Плотней надо. Мало того, что бревно с бревном сойдется, пусть даже и без щелочки, — да жить-то будет холодно. Тонка стена будет в тех местах, где бревна сходятся. Так дела плотник не оставит. Он верхнее бревно на нижнее верхом посадит. Он по низу в верхнем бревне вытешет желоб, корыто целое. И этим желобом верхнее бревно обнимает нижнее за спину, плотно его обляжет. Не будет в стене ни щелочки, ни продушины. Не шутит олонецкий мороз.

Посмотришь на иную избу — что за бревнища: руками не обхватишь!

Связал в чашку четыре бревна — вот и венец. И городит деревенский инженер венец на венец. Не метит и отвесом будто не провешивает, а не перекосит нигде. Не даст маху.

Вот и полы настлали и под крышу подвели. Далеко стреха выпущена — нависла крыша. А как же? Она «галдарейку» прикрывает.

Чердак чистый — для всякого запасу. С чердака «выход»: балкон с перильцами. Четыре столбика, а над столбиками дуга резная затейливая, с фестонами, с завитками, с выкрутасами.

Под крышей резьба. Две доски пришиты, и все в затейливых дырочках, по концам узор выпилен, как шитое полотенце.

А где балка выходит наружу, — так не торчать же ей чурбаном! Опять-таки затея: вырубил мастер на конце фестон.

Крыша тесовая, плотная, на два ската. Так неужто в дождь вода так и будет лить с крыши да на стену или прямо на «галдарейку»?

На то идут по краю крыши «потоки» — деревянные желоба. Желоба эти держатся «сошками». Это концы стропил выпущены наружу и завернуты крючком.

Ну уж коли торчит наружу, вышла на люди стропильная нога, — нельзя ее так бросить. Тут на этих крючках испокон веков вырезают птиц. Называют их «курицами».

Витиеватые птицы с завитушками.

Есть избы, что древние времена помнят, а и на них те же курицы держат потоки.

И ничего-то мастер торчать колом не оставит — все заделает резным рисунком или зашьет резной доской, сквозной пиленой вырезкой. Как иглой разошьет избу со всех концов.

Одни углы мастер не разделывает. Серьезно, дельно углы глядят: толстые, обрубленные. Тут уж не краса — тут сила.

Сезонщик

Гореть ли меньше стали, или уж плотников много развелось, только мало стало топору дела в деревне.

А хороши в городе заработки. Когда это в деревне два-то с полтиной в день выгонишь? А в городе, говорят, все лето работа не переводится.

И потянулись костромские плотнички в город. Чуть весной повеяло, гляди — уж зашевелились костромичи. Ящик с инструментом за плечи — и на чугунку в город.

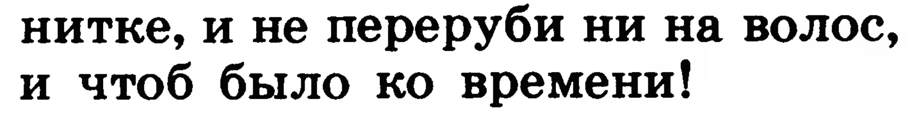
А в городе уж работа не та. Тут все по плану, по ниточке, по мерочке, по аршинчику.

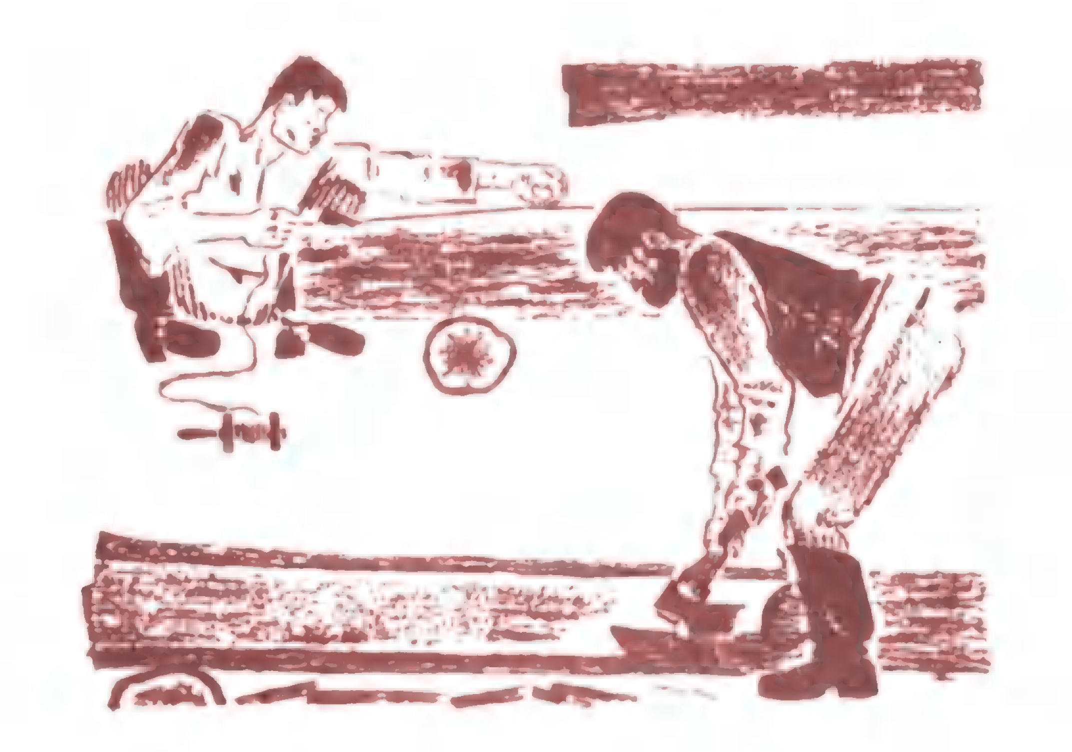
Тут уж не мудруй! А вот отбили тебе по нитке линию, прямую как струна, — и теши ты по ней с утра до вечера. Одно бревно вытесал, а вот тебе и другое подкатывают.

А зазудит в руках охота поиграть топором, — нет, держись! Тут тебе, борода, не деревенские пряники выкручивать — тут линия!

Уж которую сажень, версту, кажись, вытесал. Спину бы разогнуть или затейливое что оттяпать... Нет, теши, щепи бревно сосновое, пока язык за плечи не закинешь.

Какие уж тут столбики да курицы — полы вот надо класть, надо угол в балке выбрать. И чтоб угол прямой был, и чтоб линия шла по нитке, и не переруби ни на волос, и чтоб было ко времени!





Вот и понаторели в этой работе деревенские плотники. Как из-под машины, как со станка выходит работа из-под топора.

— Не впервой, — скажет, — полы-то стлать!

И уж без указки, без рядчика, сами и балки обтешут, и полы постелют, и потолки поставят. Все уж знают, все «произошли».

А знать надо много.

Главное тут — вязка. Как брус с брусом связать, сомкнуть, «замок» положить?

Много есть способов, много замков, и надо знать, где какой в дело пустить.

Надо два конца зарезать такой фигурой, чтоб одна в другую вошла, чтоб два бруска сцепились, спаялись, как одно сплошное дерево.



Вот тут нужна точность. Тут нужна рука. Чтоб как карандашом по линейке, так вот и топором по дереву. А уж перехватил — пропало.

Глядел я на одного плотника. Лет ему как бы не шестьдесят было. Зарубает замок, пилит и долбит. И будто ни о чем старик и не думает.

А глянул я на руку: старая загорелая рука, вся в морщинах, в складинах. И показалось, что рука-то эта умная. Что не старик знает, куда и как повернуть, а рука за него сама уж ворочает куда надо. Старик то, может, про деревню думает, внуков своих, кологривских ребятишек, вспоминает.

А сложил замок, как влепил. Пристукнул обухом — и срослись два дерева в одно.

И режет старик замок за замком, шевелится наморщенная рука: сама живет, сама работает. Умаялся плотник к вечеру. Да и то сказать: за что ни схватись — большие пуды. Бревно ли, брус ли. А сила не та, не та хватка цепкая, как бывало: тяпнул бревно, всадил полтопора и поволок бревно за собой, как собачонку на привязи.

Хорошо молодым-то ребятам: знай потеет да вихрами потряхивает.

Под вечер десятник выговаривает:

— Фальшивить ты стал, Федорыч.

— Помилуй, — говорит старик, — кака фальшь, Семен Андреич? Все в лучшем виде.

А сам вспоминает, как в деревне-то, в Солях, трактирщику дом ставили: горячей рукой — чуть солнышко и до захода — ворочал бревна неохватные, тонкой пилкой — швайзиком — выкручивал на узорной доске финтифлюхи.

Мост

А то ставят костромские плотники на реке мост. Хитрый мост, весь в укосинах. И не понять, что к чему. Шестьдесят брусьев вытеши с четырех сторон — а куда они, к чему — не спрашивай. Без тебя голова есть. На то инженер. Теши по мерке, не оглядывайся. Знай свою линию.

Затесал сваю остряком — кати новую. А вон целый штабель их выложен. Там уж без тебя «башмак» — наконечник железный наколотят и забьют куда надобно. Не твоего ума это дело.

Задумается костромич, дух переведет. А десятник тут как тут.

— Чего затылок то трешь, паря? Тут уж без тебя удумано. Теши без оглядки. Гляди — вечер близко.

Вот и укосины поставили. Туда бревно, сюда — паутина деревянная. Городят чего-то, и не понять сразу, что к чему.

Плюнет плотник:

— Ихнее дело! Я не ответчик.

Лещадь стали уже класть — настил. Стало теперь дело видно. Хитро вышло. Перильца ставят, стоечки.

Уж тут бы, кажется, душу отвести! Отстругнули бы что позатейливей. Праздником бы справили хороший-то конец. Так нет ведь!



Прямые стойки стоят, как солдаты. Под угольник струганы. Стоят во фрунт как мертвые. А поверху придавили их перила. Бревно бревном, только что струганное. Никакой в нем радости.

— Ка-азна! — говорят плотники. — Одно слово — казенное. Такое оно и есть.

Мост что ногами вонзился в реку, горбится крутой спиной, горит живым свежим деревом.

Посмотрит плотник с берега на свою работу — чего только не напутано: и сваи, и подпорочки, и укосинки, и стяжки. Все связано, все друг за друга держится. Там врублено, там сквозным болтом прохвачено, там шип в гнездо засажен. Тут уж ничего на глазок не пущено: до последнего вершочка все вымеряно. По дюймику, по самой мелкой мерочке тесали, пилили плотники, где было указано. Собирали бруски, бревна, как десятник велел. А инженер по мосту ходил, поглядывал да поругивался... Вслепую работали плотники. Руби, где велено.

Донельзя тошно мастеровому человеку работать без понятия. Гляди — на пятом мосту пришли плотники в полный ум.

Уж бранятся с десятником бородачи:

— Да ты нас не учи! Указчик какой! Нешто мы-то дела не знаем? Мостишка твоего поганого не сладим! Вона в Питере мост поставили:

не сено возить — трамвай ходит. А на ночь середка дыбом становится, пароходы пропущает. Нева-река не твоей канаве чета... А ты учить! Ну, вот то-то.

И жалуется десятник строителю:

— Что с народом поделаешь, поумнел больно. Нипочем не хотят по проекту строить. Беда прямо!

А на плотников кричит:

— Не мудри ты мне, теши, как велят, голова садовая!

Ругнется плотник, сорвет сердце — и за топор. Ворчит под нос:

— Не мудри да не мудри... да мы-то...

И тяпает, тяпает по нитке, по чужой линии...

Механик

Ставит крестьянин себе избу, ставит и дом для хлебушка. Себе городит повыше, чтоб не сырела изба, но и амбарушку хлебную старается мужик повыше поставить. Как стол на четырех ножках стоит амбарушка. Да и ножки иной хозяин вытешет с перехватами. Стоит такая избенка на курьих ножках.

Вместо лестницы закопает хозяин свайки — одна другой выше до самого порога. На дверях замок слесарный бывает, что в полдвери.

А бывает замок и плотницкий. И ключ к нему деревянный. Идет мужик в амбар, ключ на плече несет: в полсажени ключ, складной, с коленом.

Устроен замок будто бы и просто: снутри дверей деревянный засов. В засове дырки. А в ключе палец. Просунет хозяин ключ в скважину — скважина-то в кулак! Ключ в колене согнется и повиснет над засовом. Пальцем как раз против дыр. Теперь нащупай дыру и заведи туда палец. Хозяин вслепую попадет. Засунул деревянный палец в дыру, теперь ворочай ключ — и поедет засов в сторону.



Кажется, больно уж просто, всякий приладит какой-нибудь крюк. Да нет! Тут столько хитростей, и у каждого своя. У иного перед дыркой на гвоздике болтается деревянная задвижечка, вот как бывает на дверных замках. Надо сначала на ощупь отвести эту задвижечку, а потом уж попадешь в дырку. А чужой тычется-тычется ключом — ничего нащупать не может. Как есть глухой засов, и не за что зацепиться. Плюнет и бросит.

У другого и дыр в засове никаких, а снизу под засовом своя заветная зарубка, и чурочка набита. И так она запрятана, что, не зная, нипочем не найдешь. День будешь шарить и уйдешь ни с чем. Это уж своя, деревенская, плотничья механика: две сажени замок и с полсажени ключ.

«Что ж, — скажете, — это не хитрость — деревянный засов да аршинное ковыряло! Какая тут механика?

Или вот амбар на четырех ножках! Что тут хитрого?»

А вот на одной ноге не хотите? Да не амбар на одной ноге, а целая фабрика!

Мало что на одной ноге стоит, а еще на этой ноге во все стороны поворачивается. С хвостом сзади.

Выйдет хозяин, возьмет всю фабрику за хвост и повернет куда хочет.

Не механика это?

А фабрика работает без угля, без нефти, без огня, без копоти. Может быть, конями или сами люди ее вертят?

Нет! Нету там ни людей, ни коней. А вот стоят возы у фабрики и ждут товара.

И все это дело плотник сладил.

Фабрика эта муку выделывает. Мельница это. Ветрянка. Кто, кажется, ее не видал? Ветер дует, мельница крыльями машет. Никакой, подумаешь, и мудрости. А войдешь в мельницу и сквозь тонкую мучную пыль разглядишь: вертится-то жернов плашмя, а ведь крылья стоймя ходят. Как же это так? А вот полезайте-ка на чердак. По узенькой, по скрипучей лесенке залезешь под мельничную крышу, и тут видна вся деревянная механика.

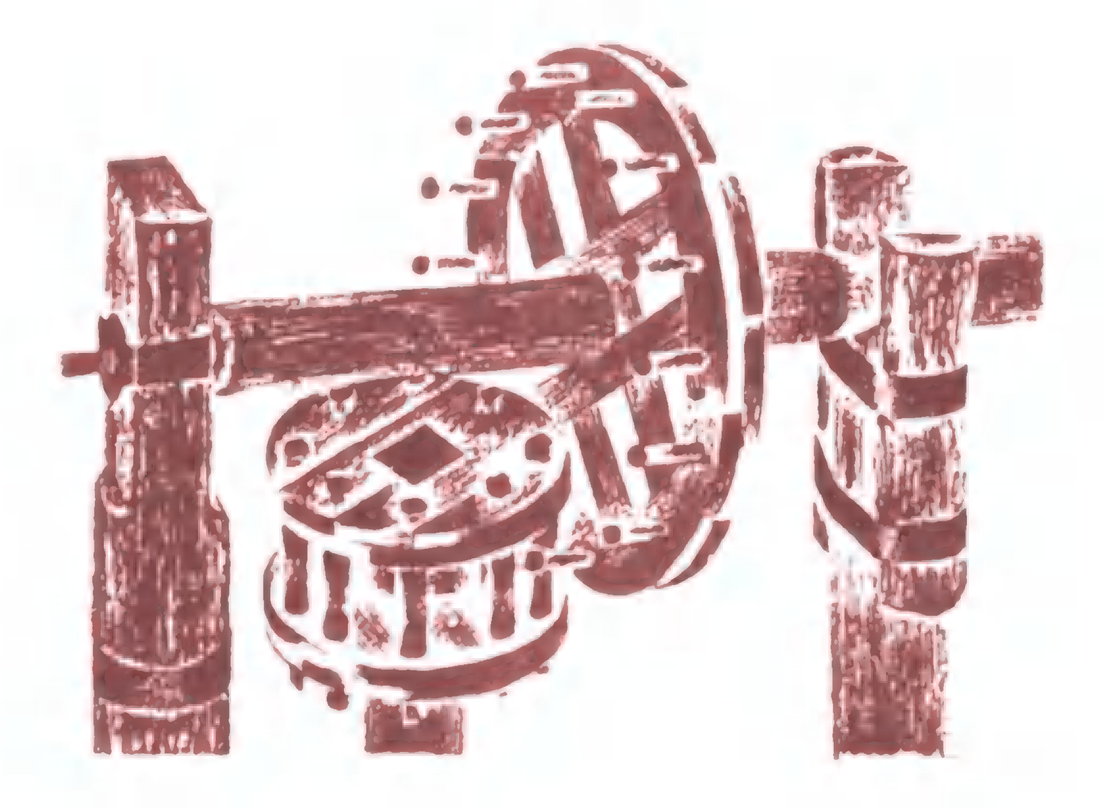


Толстая ось, бревно целое — это на чем крылья насажены. Идет эта ось через весь чердак и внизу, в полу, под крышей уходит в гнездо.

Снаружи никогда и не подумаешь, что такая орясина продета сквозь мельничную крышу. Ворочается солидно, неторопливо, но так здорово, что уж тут руками не суйся!

На этой оси надето колесо. Из этого колеса торчат зубья. Они натыканы по ободу и торчком вперед смотрят.

Рядом с этим колесом стоит барабан. Донья у него дощатые, а бока у него из колышков. Как будто круглая клетка. От этого барабана идет вал вниз к жерновам. Крылья вертятся, вертится и колесо с зубьями. Зубья задевают барабан и ворочают его. А с ним вместе ворочается и вал, что идет к жерновам.



Вот и выходит, что крутится стоячая ось. А мельнику только того и надо. Эту ось он пропускает сквозь лежачий жернов. Дыра в нем широкая, ось свободно проходит. Этому жернову надо на месте лежать. Это лежак. А вот на него сверху кладут другой жернов. Через него ось уж не проходит зря. Верхний жернов уж туго, накрепко насажен на оси. Как ось завертится, он и пойдет в ход. Подсыпай только зерна, и начнет верхний жернов зерно раздавливать, тереть. В порошок сотрет, в муку. Мельник сыплет зерна, а жернов трет рожь, пшеницу. Плавает на муке жернов, «плавун» так и называется.

А наверху гонит колесо зуб за зубом, только дегтем подмазывай, чтоб легче шло.

Ветер дует в крылья, прямо им в лоб, и, чем сильней нажимает ветер, тем скорей машут крылья. Ну а вдруг повернул ветер, сбоку стал дуть? Выходит, что и стала фабрика.

Нет! На то она и на одной ноге, на то у ней и хвост сзади. Вышел мельник и взялся за «вирло» — за хвост. Это толстенное бревно, иной раз из четырех-пяти бревен связано. Бревно идет из-под мельницы и наглухо с ней скреплено. На конце у него колесо. Простое тележное колесо — чтобы не бороздил хвост по земле, а катался бы легко и спокойно.

Вот за это вирло и поворачивает мельник свой деревянный завод лицом к ветру. А завод стоит на одной ноге. Это толстая свая — она и есть та ось, на которой вертится вся мельница: и с жерновами, и с крыльями, всем своим поставом поворачивается.

Глубоко забита эта свая — в ней вся сила, вся держава. Да и мельница прочно на нее насажена. А ну рванет ветрило и сдунет всю мельницу, как спичечную коробку?! Да нет, шалишь! Тут уж своя, деревенская, механика. Плотно все плотник уделал. Стоит в зимние шторма мельница на самом юру. Буран кругом, весь снег дыбом подняло. Бьет мельницу, треплет. А она стоит бочком и только от порывов подрагивает.

А как задули осенние ветры — потянулись крестьянские возы к мельнице. Даром что грязь, распутица, — всякому хлеба смолоть хочется. Очередь стоит.

Повернуть мельницу? Сейчас. Всем народом наваливаются на вирло. Да ведь бывает, что и не скрянуть. Лошадей впрягают. А то у мельника вокруг мельницы набиты сваи, и вот от сваи к свае перетягивает он канатом вирло. А на канате блоки — тоже целая механика. И бывает, что мельник вдвоем с работником канатами поворачивают за вирло целый дом.

Был бы только ветер — завертится мукомольная фабрика. Ну а вдруг остановить надо? Не бежать же на двор да не хва-

таться за вирло — мельницу от ветра отворачивать. А если скоро надо, сейчас?

И тут удумал деревенский механик. На чердаке у мельницы устроен стопор. Попросту сказать — бревно. Один конец бревна заправлен под стреху крыши, а другим концом накрывает это бревно ось, ту ось, что идет к крыльям. Стоит налечь этим бревном на ось, и затормозятся крылья. Станут. А надо отпустить — подними бревно и привесь за конец под крышу на петлю.

Так и орудует мельник. Случится починка, или что в жерновах неладно, — бежит мельник на чердак, скорей бревно с петли долой. Навалилось бревно на ось, тут и мельник сам животом на бревне повис для нажиму, для тяжести.

Крылья все тише, все ленивей поворачиваются, вот уж еле движутся. Тут уж слез мельник с бревна, притянул его веревкой потуже к полу и пошел чинить. Бревно уж за себя ответит! Не хитро, но уж честно и без отказу.

Подойдите к ветрянке, к деревянной коробочке, послушайте. Урчит в ней внутри, погрохивает, будто жует она. Она и жует, трет каменными зубами хлеб. А откуда силу берет? Духом, вольным ветром работает.

Было время, говорили: всю Москву плотник поставил. Да где те времена? Города пошли все каменные, мосты железные, на мельницах паровик ухает...

А все же глянешь на деревенскую механику — и чего человек из соснового бревна не нагородил! Ума-то, сноровки во всем, в каждом повороте! Без гвоздя иная изба сложена, а века простояла.

Глядишь и диву даешься.

БЕЗ ПРОМАХУ

Сижу я раз с моим приятелем-столяром в цирке. Он меня в бок толкает:

— Смотри, смотри! Ах, чтоб ты пропал. Без промаху!

На арене жонглер. Кладет на задок, на пятку стеклышко, ногой подбрасывает и ловит в глаз, как монокль: ногой дрыг — и стекло в глазу.

Мой приятель хлопает, ногами топочет.

— Ах ты шельмец, — кричит, — а ну еще! Бис! Бис! Пропади ты совсем!

А тот, как ему нипочем: ногой дрыг — и готово!

Всю дорогу домой столяр мой прийти в себя не мог.

— Скажи ты пожалуйста: без промаху! Расскажи мне кто, в глаза наплевал бы.

Наутро в мастерской стругает планку, модель для отливки ладит: тут точно надо — по мерочке, по ниточке. Стругает и приговаривает:

— Скажи ты на милость: без промаху!

Я подошел.

— Ты не перестругай — «без промаху»-то! Померяй!

А он провел ладошкой по планке и вывернул из верстака: ладно, готова.

— Мерил?

— Чего, — говорит, — мерить: двадцать два миллиметра.

Я за метр. Туда-сюда тычу метром, к окну, к свету: кругом двадцать два миллиметра!

— Когда же ты мерил? — говорю.

— Да вот было двадцать три с гачком. Протянул две стружки — вот и чок-в-чок.

— Без промаху?

— Какой же промах? Пьяный я, что ли? — говорит.

— Так чего же ты вчерашнему-то дивишься? Со стеклышком-то? Ведь и ты без промаху.

Он обиделся даже.

— Приравнял! Это дерево и дерево, и больше нет ничего. А то... глазом!

А сам тянет рубанком стружку и под рукой чует меру и цену ей — стружке этой: на волосок не переберет, не перестружит.

Взял планку: раз! раз!

Смело к размеру подбежал — полдюйма снял. Приставил мерку — два шажка осталось. Смахнул стружку, слизнул другую — и чок-в-чок. Меряй не меряй: без промаху. Тут и глазом не поймать: точно.

А соберет части, сложит работу: шип в шип без щелочки, волоска не просунешь, как будто оно всегда так было — как срослось. Вот оно что значит — модельщик. И делает такой столяр деревянные модели тех самых вещей, что потом будут отливать из чугуна, из стали, из бронзы в литейной. Сделает модельщик по чертежу точно и прочно: формовщики отформуют, отпечатают в земле форму по деревянной модели. А форму зальют расплавленным металлом: он, как огненное масло, льется из тигля и заполняет все уголки в земляной форме и застывает. Окреп металл, сбили земляную форму, и вот стоит бронзовый слепок с той деревянной модели, что сладил столяр.

КАМЕННАЯ ПЕЧАТЬ

Миллионы плакатов висят на стенах по всему миру, цветные, яркие; миллионы красочных книг лежат на столах, на полках, на прилавках, и редко кто знает, кому обязаны люди, что могут за гроши купить цветную картину, кто это дал способ машинным путем в миллионах множить цветную печать.

Давно уже люди печатали буквы, печатали и одноцветные гравюры. Гравюры раскрашивали от руки. Но буквы печатались

с выпуклостей, а гравюры переводились с прорезанных в медной доске канавках. А цветные картинки печатаются литографией с плоского камня, где нет ни выпуклостей, ни выбоин. Как это случилось, что человек дошел до такого способа, странного и с первого взгляда даже невероятного?

Теперь я расскажу, как это все случилось. Случилось это лет полтораста тому назад, и случилось не сразу.

Началось с бедности. Умер бедный актер, оставил восемь душ детей. Фамилия актера Зенефельдер. Сын его Алоизий бросился искать заработка — нигде ничего. Ему раз повезло с пьесой: написал пьесу, поставили в театре, кое-что заработал. Он давай еще пьесы готовить. Но тут вышло не то: ни театр не брал его пьес к постановке, ни издатели не брались печатать. А он думал, что пьесы замечательные и стоит отпечатать их, сейчас же раскупит публика. Не хотят печатать — сам отпечатаю. И Зенефельдер стал пробовать сам делать буквы. Ну хоть из дерева. Наделал букв, составил из них слово, намочил краской — и все пропало: буквы намокли, разбухли, и ничего не разобрать. Тогда он взял дома цинковую тарелку. Он решил навести на нее воск, на воске процарапать буквы и сверху налить кислоты. Кислота пусть проест цинк, где процарапано, и выйдут углубления в виде букв. А потом можно печатать: это уж известно. Накатал краски, краска залила углубления. Обтер сверху лишнюю краску — и тискай бумагу. Краска из углубленных букв пристанет к бумаге, и выйдет славный отпечаток.

Вдруг в двери прачка за бельем. Ей ждать некогда.

— Давай белье, и я пошла.

— Белье-то вот, а записать... записать где?

Туда-сюда — ничего под рукой, хоть бы лоскуток бумаги. Ну на чем попало, лишь бы скорей! Хватил кисточку, в восковую мастику ее и тут же рядом на камне записал: столько-то рубах, столько простынь...

— Ладно, потом перепишу, а это пока, для памяти.

Прачка ушла, прошел спех. Зенефельдер поглядел на свою запись. А что, если камень затравить кислотой? Травил тарелку — не берет. Она не цинковой оказалась, проклятая, но наполовину свинцовой. А ну камень? Зенефельдер сделал из воска бортик вокруг своей надписи и в эту загородку налил кислоту. Камень был известняк, он поддался кислоте, как мел поддается уксусу. Но то место, где была масляная краска, кислота не тронула. Кислота не взяла масла, и под маслом камень остался цел.

Зенефельдер смыл кислоту — вышло выпуклое клише. Ого! Дело-то идет легче, чем со свинцовой тарелкой. И вот Зенефельдер набросился на камень.

Теперь если написать на камне не счет от прачки, а страницу из его пьесы, да потом обтравить, то получится каменное выпуклое клише и с него можно делать оттиски страниц, печатать пьесы, продавать — жить, одним словом, а не голодать всей семьей.

Как видите, вовсе не плоское печатание, а «высокое», то есть с выпуклых мест, с островов.

Но уж тут было очень хорошее соседство: камень-известняк, кислота и масло-жир, то есть как раз три кита, на которых лежит вся ли-

тография[1]. Тут, при этой работе на камне, уж появилось вероятие — натолкнуться на те замечательные свойства камня и жира, которые решают все дело.

А дело вот в чем: если на камне, на литографском известняке, сделать жирное пятно и потом все протравить азотной кислотой — и камень, и пятно, — то оба они — и пятно и камень — принимают замечательные свойства. Камень не берет масляной краски, а пятно хватает ее жадно.

Теперь рисуйте жиром какие угодно выкрутасы на камне, я полью все это азотной кислотой, смою кислоту прочь и смело накатаю валиком краску. Камень останется чист, а жировой рисунок заблестит свежей краской. Притисните лист, и рисунок перейдет на бумажный лист.

Дело сделано.

Однако все-таки скоро ли Зенефельдер набрел на это свойство жира и камня?

Как только он заметил, что камень легко травится, он сейчас же стал пробовать печатать с выбоин, то есть так, как он хотел печатать с цинковой тарелки. И тут камень не выдал. Удалось протравить выбоины, загнать туда валиком краску и тискать листы. Все выходило как следует.

И вот, возясь с камнем, с кислотой, краской, Зенефельдер, конечно, заметил то, на что мы и внимания не обратили бы. Надо быть одержимым этим духом печатания, чтоб так чувствовать все свойства этого печатного материала. А свойство было вот какое: после того как протравишь камень азотной кислотой, к нему хуже пристает краска. Хуже пристает и та мастика, которой покрывал свои камни Зенефельдер.

А тут еще подвернулся случай. Счастливый случай. Этот счастливый случай каждому из нас подворачивался сто раз. Действительно, большое счастье мазать гуммиарабиком печатную бумагу! Кому не приходилось приклеивать газетную бумагу? И для всех нас это бывал не счастливый, а несчастный случай. Ничего особого мы не замечали, а ругались, что бумага рвется, липнет к рукам, морщится, расползается. А Зенефельдер увидел... Счастливый глаз, а не случай!

Зенефельдер увидел, что гуммиарабик покрыл белые места бумаги, и печать вышла из этого дела сухой. Попробуйте сами жидким гуммиарабиком ваткой протереть печатную бумагу и гляньте глазом вдоль бумаги: вы увидите, что печатные буквы стоят сухими островами среди клеевых луж. И Зенефельдеру пришла в голову печатная мысль (все его мысли были в то время печатные): взять и накатать валиком сейчас же по влажному еще листу краску. И краска не пристала к белым сырым местам, а к сухой печати она пристала. И когда Зенефельдер притиснул к этой крашеной странице лист, — печать перешла. Страница отпечаталась, конечно, в зеркальном, обращенном виде.

Теперь уж сделать вывод для Зенефельдера было не трудно. Он знал, что масляная краска плохо пристает к травленому камню, —

[1] Литография — по-русски — камнепись.

это раз. Второе — что краска (масляная) не пристанет к влажной поверхности и тут хорошо работает гуммиарабик. И еще знал Зенефельдер уж давно: кислота не берет краски, не разъедает, не уничтожает ее.

А что, если написать краской или мастикой на камне буквы, а потом немного протравить его азотной кислотой? Ведь камень начнет хуже принимать краску, а жирным буквам ничего не сделается от кислоты, и они будут жадно хватать краску с валика. А если еще и гуммиарабиком с водой? Тогда уж, наверное, краска не налипнет на белые места. И вот Алоизий Зенефельдер стал писать на камне жирными буквами, стал травить камень азотной кислотой (он уж сразу в кислоту прибавлял и гуммиарабику), и что же: краска с валика пачкала только буквы и оставляла чистым весь остальной камень.

Можно было заметить, что жирный рисунок букв как-то даже стал крепче после травления, он даже как будто стал другим, другого состава.

Теперь литография, эта печать с камня, каменная печать, была изобретена. Оставалось ее совершенствовать.

Чем лучше рисовать на камне? Просто салом? Мылом? Мылом с воском? Вот что теперь только надо узнать: что лучше всего? Лучший рецепт протравы. Подобрать краску, чтоб хорошо прилипала к рисунку на камне и чтоб хорошо переходила с камня на бумагу.

Зенефельдер совершенствовал год от году свое литографское дело, а пенки снимали другие. Зенефельдер горел, бился над улучшением, делал тысячи опытов все в той же бедности, почти без средств; он поставил литографию на прочный практический путь, нашел двадцать семь способов печатания с камней, и, когда в 1834 году бедняком умирал Зенефельдер, добиваясь лучшего свойства туши, по всей Европе шла слава новой художественной печати, и литографические заведения делали дела, и «умные» люди набивали карманы.

Но все-таки не они творцы литографии, их и память простыла сто лет тому назад. Отец литографии — неугомонный Алоизий Зенефельдер.

Зенефельдер знал, что так уж давно печатают граверы и выходит превосходно. А граверы печатали свои гравюры именно так: они делали в металлической плоской доске углубления.

Счастливый случай! Счет какой-то прачки — и вот мировое открытие. Везет же человеку! Почему, скажем, мне вот не повезло или вам? Но правду-то сказать: если б мы с вами стояли тогда в той комнате рядом с Зенефельдером, то ровно бы ничего не заметили. Записали бы счет, чтоб не просчитала прачка, сосчитали, сколько штук, а больше ничего бы не выжали из своей головы и тисками.

Дело, разумеется, в том, что и голова и глаз у Зенефельдера были другие, особенно в то время, когда он искал способов печатать. Все, все было в нем напряженно и заострено, все в одну точку: печатать! Как печатать? Этот вопрос был для него самым решительным, самым главным, единственным. Он был готов околеть тут же около своих досок, только б добиться результата. И все, что в нем было: взгляд,

догадка, глаза, слух, обоняние, даже чутье к запаху краски, — все насторожилось, накалилось, и в такие моменты человек видит то, чего не замечает обычно, ум молниеносно делает выводы, и человек сам не знает и не помнит, как он пришел к неоспоримому заключению, за которое готов отвечать головой.

Люди сами не знают, какая сила в них таится, и сами потом удивляются на себя, когда вспоминают момент озарения, подъема.

Я сам видел, как с балкона горящего дома спустились две старухи, спустились, как обезьяны, ловко, цепко, хватко. А до того каждое утро спорили, кому кофейник из кухни тащить. А вот дошло дело до жизни, и откуда что взялось.

Вот со мной случай: мне пришлось взяться за рыболовство. Наживил я крючья, стал спихивать лодку в море. А старые рыбаки мне говорят:

— Да ты очумел, что ли? Вода, как чай, ничего не выловишь. Только веревкой воду мерить.

Посмотрел я на воду — вода как вода. Всегда она такая. Ну, как обыкновенно в море. Я не послушался стариков, провозился день в море и ни с чем вернулся. И усталый и голодный спать лег. А наживки больше двадцати килограммов зря загубил. Поймать или не поймать — стало для меня вопросом жизни. И я уж как подходил к морю, так издали старался выглядеть, что оно мне сулит. И вот год спустя приходит ко мне товарищ из города:

— Айда в море, поймаем чего-нибудь.

А я говорю:

— Что ты? Очумел, друг? Вода, как чай.

Да, вы сделайте такой опыт: дайте человеку десяток фотографий все незнакомых лиц. Он их будет перебирать, вяло рассматривать, и вы даже не добьетесь, кто ему больше нравится.

— Да все, — скажет, — ничего.

И вот сейчас же скажете:

— Если б тебя судили и тебе смерть грозила, кого бы ты выбрал судьей?

В миг один у него другими станут глаза, и он в каждом лице будет проглядывать то, чего не видал до сих пор, он пронзительно будет видеть и до последней соринки взвешивать, что говорят ему эти лица. А если б это все не для примера, а на самом деле, — он безошибочно сказал бы, кто для него самый безопасный судья.

Он не мог бы дать отчета, почему он так решил, как и я не мог сказать, почему «вода, как чай».

Жена говорит мужу:

— Что-то Саня наш нездоров.

А Сане двух лет нет, и он красный, веселый и ест за двух.

— Полно скулить-то, — говорит муж, — вон гляди, бегает как.

— Вот то-то бегает, — говорит жена, — да топает не так, вот слышно: нехорошо чего-то топает.

Муж усмехается, плечами пожимает. А к вечеру вернулся муж, а ребенок мечется в жару, горячий, как утюг.

И что там баба слышала? Не может понять. Но слышала верно, потому что для нее свой ребенок дороже жизни.

А уж раз дело идет о жизни, здесь все, что в человеке есть, настораживается, и человек видит, слышит и чует по-новому, по-небывалому. И вот тут-то и представьте себе, что возится человек с делом, которое ему дороже жизни, вот сейчас, в этот момент — никто, кроме него, не видит в этом деле так, как видит его настороженный жадный глаз.

И у Зенефельдера, конечно, был тогда именно этот глаз — глаз, специально заостренный на свое дело. Глаз пристальный, проницательный, раскаленный. И если уж говорить о счастье, то кто его знает: больше ли счастья в том, что подвернулся под руку этот прачечный счет, или в том, что мог так раскаляться от своего дела весь этот человек.

ВОЗДУШНЫЙ ШАР

На площади стояла толпа. Все смотрели, как раздувают воздушный шар. А шар стоял поверх толпы, огромный, выше колокольни. Весь из коричневой материи. А на нем сетка из веревок. От сетки в бока канаты, и за канаты уцепились люди, держат. А шар рвется вверх. Шар хоть большой, да зато легкий: он легким духом надут. Ему в воздухе что пробке на дне: так его вверх и тянет.

Внизу шара сетка сбегается, и там привязано деревянное кольцо, как обод от колеса. К кольцу привязана большая корзина. Стать в нее — выше пояса. В эту-то корзину и влезли два человека. Один молодой, Сергеев, другой постарше, Попов. Был летний жаркий день, а они были одеты по-зимнему: в меховых шапках, в бараньих тулупчиках. Вокруг люди смеются.

— Вишь, — говорят, — укутались! Это чтоб падать не больно было!

А старший, Попов, и говорит:

— Нет, ребятки, уж коли сорвешься, не спасет и тулуп. А это мы для тепла: вверху мороз стоит, даром что лето на дворе.

Ему из толпы кричат:

— Полно врать-то: на полке́ в бане что выше, то жарче.

— Ну, — говорит Попов, — то под крышей, а над нами потолка нет. — И закричал: — Пускай!

Люди пустили веревки, и шар поплыл вверх. Быстро пошел, как дым понесся к небу. Все заорали: «Ура! ура!», а с шара им платком помахали.

Долго люди стояли на площади. Задрали головы, смотрели на шар. А он все выше, выше уходил. Все меньше становился и стал как муха. Людям страшно было подумать, что под шаром привязаны два человека в корзине, а под ними целая верста пустоты.

А люди из корзинки смотрели вниз, и с высоты все внизу казалось маленьким. Как будто на картине мелко нарисовано. И далеко-далеко все видно. Река узкой ленточкой вьется, а лес зеленым мхом



кажется. И все деревни на сорок верст кругом видно.

Меж ними дороги тонкой паутиной тянутся, заплетаются. А с самого края стала видна темная полоса: там было море.

Ветром несло шар прочь от моря. Но люди не слыхали ветра. Они плыли с ним вместе, как щепка плывет вместе с течением. Им казалось, что совсем тихо. Только по земле им видать было, что их несет в сторону.

Стало прохладно. Сергеев посмотрел на градусник: всего было два градуса тепла. Он застегнулся и надел меховые перчатки.

Потом глянул на барометр и сказал:

— Воздух редкий стал, мы уж на полтора километра вверх поднялись. Ой, гляди-ка, Попов, вон облака: выше нас. Их будто не было?

Попов посмотрел и говорит:

— Облака нам навстречу несет. Там вверху другой ветер дует, в ту сторону.

И показал к морю.

Сергеев первый раз летел на шаре. Он спросил:

— А не будет чего в облаках?

— Нет, — говорит Попов, — облака что туман. Только вот разве шар намокнет, отяжелеет.

А облака все ближе да ближе. Попов и не заметил, как затуманилось все вокруг и ничего не стало видно.

Шар летел все выше и выше сквозь облака. И вдруг снова стало светло, заиграло солнце. Внизу земли уже не видно было. Облака ее закрыли. Облака ярко белели внизу как снежное поле. Мороз стоял кругом, а воздух стал очень редкий. Пришлось часто дышать, чтоб надышаться. Сергеев поднял воротник, надвинул шапку. Он подумал:

«Там-то, на земле, люди от жары задыхаются. А у нас градусник показывает пять градусов морозу».

Попов все записывал: какая высота и сколько градусов.

— Ну, — говорит, — тихо стал шар лететь.

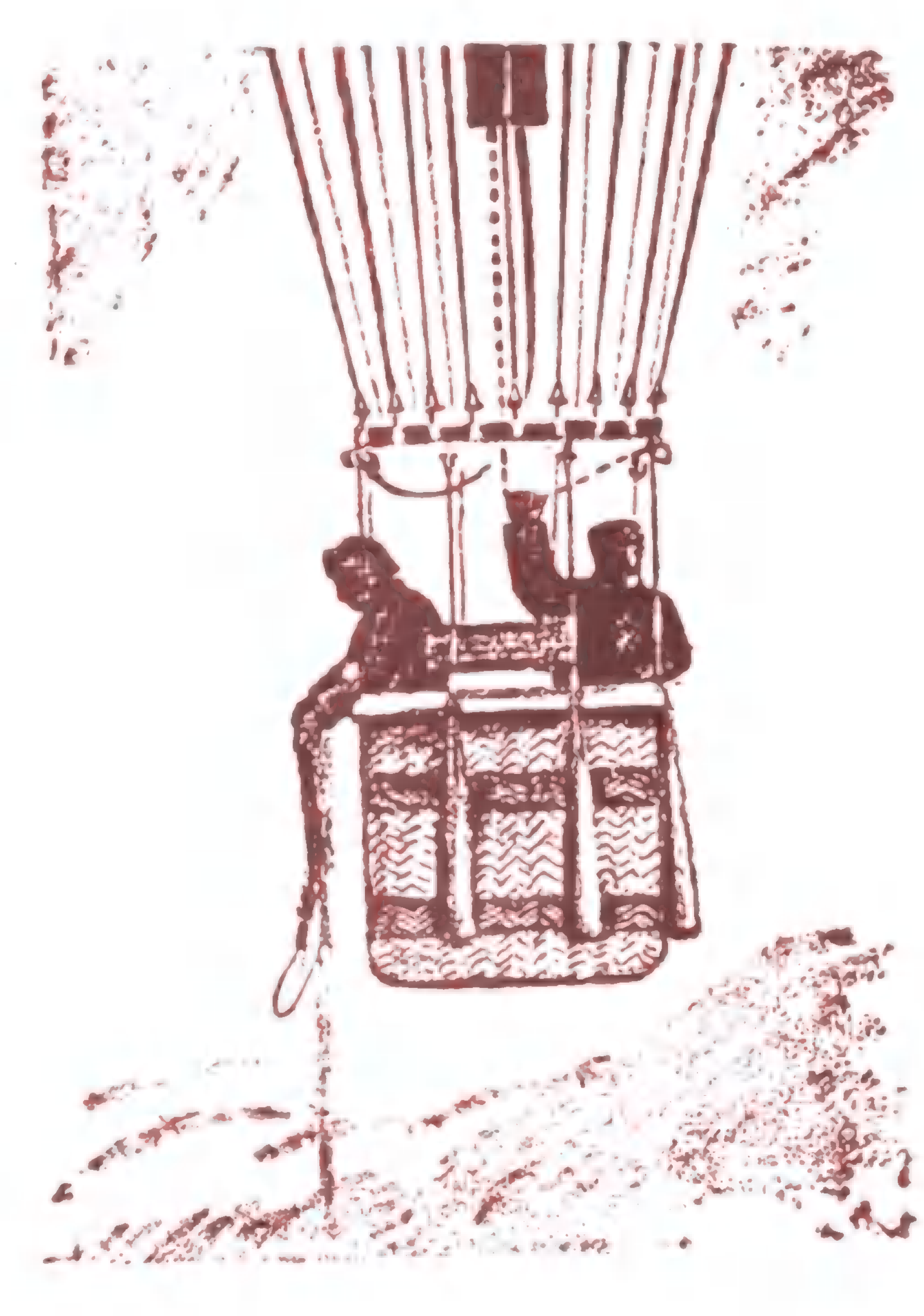
В редком воздухе голос казался слабым, и Сергееву слышалось, как будто говорят издалека.

«Надо балласт кидать», — решил Попов.

И сказал Сергееву:

— Вон за бортом мешочки с песком висят. Отвяжи один и высыпь его вон.

Сергеев думал, что страшно через край корзины перегнуться.



Он высунулся — и никакого страха.

С крыши смотреть страшней.

За бортом висели мешки с песком. Сергеев один отвязал и высыпал.

Через пять минут Попов поглядел на барометр и сказал:

— Теперь лучше дело пошло, скоро подымемся на четыре километра. Для шара каждый фунт значит.

Сергеев, как узнал, что четыре версты под ними, — испугался. Скорей бы спускаться! Сел в корзину, съежился.

Попов спрашивает:

— Ты чего?

— Озяб, — говорит, — так теплее.

Наконец Попов говорит:

— Ну, пора и вниз — четыре километра.

Сергеев на ноги вскочил.

Шар книзу кончался открытым рукавом.

Из этого рукава шли две веревки. Одна как лента, плетенная из шпагата, другая простая, круглая.

За круглую ухватился Попов и потянул.

Веревка эта шла через весь шар внутри до самого верху. А там был клапан. Потянуть за веревку — и клапан откроется. Пустить — клапан пружинами прикроет плотно-наплотно.

Пока Попов тянул веревку, легкий дух (газ) вырывался из шара наружу. Шар остановился и пошел вниз.

Сергеев достал из кармана бумажку и бросил за борт.

Бумажка полетела вверх. Это так показалось: шар падал вниз скорей листочка и обгонял его.

— Довольно, — сказал Попов и пустил веревку. Клапан закрылся.

Сергеев рад был, что пошли вниз, к земле.

Боялся только, не очень ли шибко. Не разбиться бы об землю.

Вдруг смотрит: туман вокруг. Испугался было, да вспомнил: облака! «Ну, — думает, — сейчас и землю увидим».

И стал смотреть через борт. Смотрит: что за чудо? Внизу синее.

Попов глянул и говорит:

— Море под нами. Дрянь наше дело. Это верхним ветром нас нанесло на море.

Сергеев испугался.

— Пропали? — спрашивает. — Потонем?

— Нет, — говорит Попов, — плакать рано. Низом ветер на сушу дует. Нас может низом назад принести. Бросай балласт!

Сергеев высыпал мешочек песку. Один, потом другой.

Попов пустил бумажку. Бумажка вертелась рядом с корзинкой.

— Ну, не скорей бумаги вниз летим, — сказал Попов и стал смотреть вниз: не увидит ли чего на море.

Сергеев первый увидал:

— Вон парус, гляди, вон, беленький.

— Верно! — сказал Попов. — Это корабль. По нему и заметим, куда нас несет.

Оба стали во все глаза смотреть. Сергеев ничего не мог заметить. Будто белое пятнышко все на месте стоит. Долго глядели.

Вдруг Попов говорит:

— Ну, наше счастье. Нас несет к берегу. Отстает корабль от нас.

Сергеев обрадовался.

— Далеко ли до берега? — спрашивает.

Попов помолчал и говорит:

— Сам знаешь. С какой высоты глядели, а не видать берега было. Далеко нас занесло, пока мы вверху болтались. Высыпь немножко балласту.

Так они оба летели над морем. И когда замечали, что шар идет вниз, высыпали из мешков песок.

Много времени прошло, а берега все не видать.

Уж и корабля не стало видно, далеко позади остался.

Газ выходил из шара сам собой. Шар терял силу и падал все ниже и ниже.

Попов нахмурился, когда высыпали за борт последний песок.

Вода была совсем близко, и видно было, как рябили волны.

Сергеев опять сел на дно корзины, решил ждать.

Пусть будет, что будет.

Попов закричал:

— Вон остров, нас на остров несет. Готовь якорь!

Сергеев вскочил. Верно: их несло к островку. Попов перегнулся через борт корзины. Там была смотана веревка и на ней якорь.

— Зацепимся якорем за землю и станем, — объяснил Попов. — Только вот коротка веревка.

Попов опять дернул за клапан, и шар спустился ниже.

Видно было каменный островок и на берегу рыбачью избу с камышовой крышей.

Попов кинул якорь. Якорь мотнулся в воздухе и зацепил за крышу. Своротил камыш и задел за стропила. Из дверей выскочил старик.

Посмотрел испуганно на шар и бросился к двери.

Попов с Сергеевым за веревку стали подтягиваться к острову.

Шар наклонило и близко прижало ветром к воде.

Вдруг смотрят: старик вылез на крышу.

Кричит:

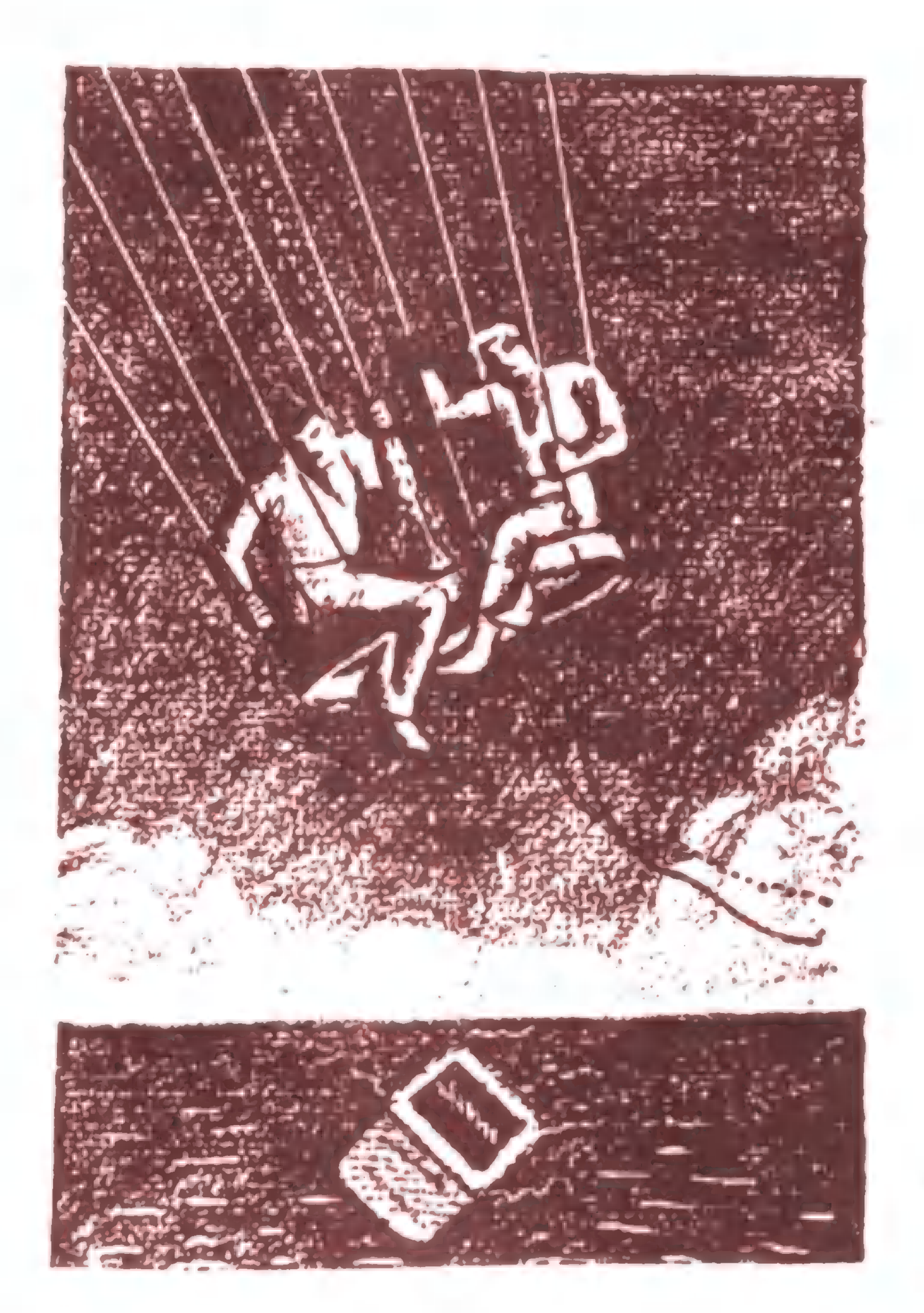
— Весь дом мой в море стянут!

Баба на дворе голосит:

— Беда, беда наша!

А старик ножом по веревке пилит. Хвать — и отрезал.

Шар выпрямился, и его понесло ветром прочь от острова. Старик вслед кулаком махал.



Попов плюнул со злости и отрезал прочь веревку, чтоб легче было шару. Сергеев с горя чуть не заплакал.

Шар все больше и больше терял силу. Надо было его облегчать. Попов скинул тулуп и бросил в море. Потом и Сергеев кинул свой. Скинули сапоги. А шар все ниже, и берега не видать.

Попов выбросил барометр.

Шар летел над самой водой.

Люди остались в одном белье.

— Ну, — сказал Попов, — теперь последнее. Полезай, Сергеев, вверх, садись на кольцо.

Сергеев слушался, не спорил. По веревкам полез из корзины и примостился, как обезьяна, на кольце, над корзиной. Попов полез следом.

Он отцепил корзину от кольца, и она шлепнулась в море.

Шар как ожил и сразу подался вверх. Сергееву страшновато было сидеть, свесив ноги в пропасть. Однако он крепился и не давал виду, что боится. Когда шар поднялся повыше, Попов огляделся.

— Берег, берег! — вдруг закричал Попов и свободной рукой показал вперед. — А вон лодки под берегом, рыбаки!

Но шар недолго держался в воздухе. Скоро снова под ногами услыхали люди, как шумит море.

Попов говорит:

— Бросать нечего. Брошусь я. А ты лети без меня, долетишь до берега.

Сергееву стало стыдно.

— Нет, давай вместе тонуть. Если ты бросишься, я тоже не останусь. Летим, пока можно.

А до воды было не больше сажени.

Оба смотрели во все глаза по сторонам.

Сергеев присмотрелся и вдруг увидал дым впереди. Уж аршин до воды оставался, когда Попов с Сергеевым заметили, что навстречу им идет пароход на всех парах.

Стали уж задевать ноги за воду.

— Ничего, — весело говорит Попов. — Пускай теперь шар на воду положит. Он пузырем плавать будет. Не потонем сразу-то.

А с парохода лодку спускают, торопятся.

Тут шар уж совсем лег на воду. Попов завязал рукав, что шел из шара, чтобы дух из него не вышел.

Попов с Сергеевым плавали в воде и держались за шар, за сетку.

Когда подошла лодка, Попов развязал рукав и дернул что было силы за широкую веревку.

Она была пришита к лоскуту в шаре. Попов во всю длину шара выдрал лоскут, и шар сразу стал как тряпка. Его легко свернули в большой комок и положили в лодку.

На пароходе Сергеев в себя не мог прийти от радости. А Попов все хмурился:

— Неудачный, — говорит, — полет. Первый это раз со мной.

ЛЕДОКОЛЫ

Помню я, раз замерз наш порт. Я был мальчишкой и жил тогда на юге, на Черном море. Не каждый год бывает, что замерзает море. В ту зиму это случилось сразу. Я выхожу утром — готово. Толстым льдом забит весь порт.

Именно забит. Лед принесло ветром издалека, с пресной воды. Оттуда, где впадают реки. Лед пер огромными льдинами, ломался в воротах порта и лез в гавань. Прежде всего я подумал о коньках, а потом вспомнил о пароходах. Верно. Как же пароходы?

Большой пассажирский пароход стоял у пристани. Ему сегодня сниматься в рейс. Но льдины, что залезли в порт, окружили его со всех сторон и спаялись. Спаялись на морозе в сплошной паркет, и черный пароход стоял как игрушка на белой бумаге.

Я очень уважал этот пароход, и тут он немного потерял в моих глазах: такая махина — ни с места.

Он, конечно, сломал бы этот лед, если бы ударил с разгона. Но какой уж там разгон, коли ему отслониться-то от пристани нельзя. Он стоял как приклеенный.

«Неужели, — думал я, — не пойдет? На мачте почтовый флаг. Как же с почтой-то?»

И вдруг вижу: у пристани на льду ворочаются, суетятся люди. Они ломали и длинными пилами разворачивали и пилили лед около буксирного катера.

Этот катер был мой любимец. За то я его любил, что он был маленький и в то же время как настоящий пароход: палуба настоящая, машинка, труба, каюта — все по-пароходному и все как будто детское. Имя у катера было серьезное: «Работник».

Я видел, что перед «Работником» расчистили лед сажен на восемь. Да... лед оказался полуаршинный, если не больше. Но вот «Работник» запыхтел, зачокал и пошел вперед по каналу среди битого льда. Он не успел как следует разогнаться, как уж стукнулся в сплошной лед назад. Катер нехотя попятился и снова ударил со всего разбега в лед. Матросы не устояли и упали на палубу. Мне сначала казалось, что катер бесполезно бьется, как заводной пароходик в лоханке, что он не выбьется никогда из льда. Но вот

я заметил, что у «Работника» уже больше разбега. Ого! Уже сажен пятнадцать у него впереди.

Катер бил носом, лед трескался на льдины, и они шуршали у него по бортам. Катер шел освобождать почтовый пароход.

На «Работнике» был старшиной Редька. Я знал, что Редька всегда с утра выпивши и оттого смелей. Народ стоял на пристани, и при каждом ударе катера толпа гудела: «Ай Редька!»

Уж почти весь лед кругом обколол катер: теперь он каждый раз немного взбегал носом на лед, лед не выдерживал тяжести катера, и он проминал его острым килем. Но вот Редька ударил в лед — трах, не тут-то было. Видно, толстая попалась льдина или сбились они одна на другую и спаялись в двойной слой. С берега загудели: «Хрен Редьки не слаще». Редька озлился. Скомандовал в машину: «Назад!» Катер уходил и уходил среди ледяной каши дальше и дальше, наконец стал и пошел вперед. Все скорей и скорей. Видно было, как Редька кричал что-то в рупор машины. Должно быть, чтобы поддали ходу. Катер несся со всего бега вперед, только мелкие льдины успевали расступаться да нырять ему под брюхо. Вот, вот сейчас целый лед. Видно, Редька не на шутку озлился.

Все, затаив дух, ждали удара. Хоп! — и никакого удара — катер до половины выскочил на лед и лег, накренившись на бок. Лег на бок, как теленок, и только слышней стало на льду, как бьется внутри машина. «Богров, — орал Редька — аварайтесь, пихайте». Двое матросов тужились, но катер примерз ко льду и устало клубил паром.

Почтовый пароход стал сниматься. Он заворочался в ледяной каше, зашатался катер, лед под ним треснул, проломился, и «Работник» глубоко присел в воду и встал — освободился.

Пароход ушел в рейс. Странно было смотреть, как движется пароход по белой степи. А «Работник»? «Работник» стал в ремонт. Эта удаль не прошла ему даром. Он помял себе корпус в носу — прогнулись железные листы обшивки. Об лед он сломал себе лопасть винта. От толчков чуть сдвинулся с места котел.

Поздно вечером в порт пробился заграничный пароход. Говорили, что помял себе обшивку, что иностранцы ругаются, почему их не встретили и не раскололи перед ними лед. Подходя уже к берегу, они натолкнулись на лед и целые сутки звали на помощь и пробивались[1].

На другой день все узнали, что к нам придет ледокол. Настоящий ледокол. Я представлял себе, что он узкий как ножик и тяжелый как утюг. Что он с разгона будет носом долбить лед, как топором.

Я его увидел. Совсем не ножик, наоборот. Он круглый какой-то, как яйцо. С высоченной трубой, как на самоваре. Корма не подымалась изящным выгибом над водой, а обрубком спускалась вниз. Нос над самой водой углом был срезан и полого уходил под воду.

---

[1] Море обмерзло только по берегам. Только полярные моря замерзают сплошь. А уж Балтийское море всю зиму свободно в середине, оно как в белой раме, а внутри бесится студеная вода на зимних штормах.

Но как он ходил во льду! Как будто это не лед, а накапано на воде стеарином. Ледокол подминал под себя пологим носом лед, и лед легко давился под ним.

Круглый ледокол вертелся в порту волчком, поворачивался на месте. У него было два винта сзади, он одним работал вперед, а другим назад и поворачивался, как шлюпка, когда гребешь веслами в разные стороны. Лед, шурша, расступался мелкими льдинами.

Да, ледокол без толчков ходил по льду, как по чистой воде. Когда он пятился назад, низкая корма разгребала льдины в стороны; она оберегала винты, что были глубоко спрятаны под кормой.

Как я им любовался! Он выходил в море навстречу пароходам, пробивал канал, и пароходы гуськом шли за ним в порт, как будто дети, которым большой протаптывает дорогу через крапиву.

Но потом уже здесь, на Севере, я узнал, что наш ледокол — игрушка, по сравнению с теми, что работают в Балтике.

Я не знал ледокола «Ленин».

У «Ленина» три винта под кормой и один винт на носу. Этот винт на носу у него не для ходу, а для того, чтобы гнать воду, как электрический вентилятор гонит воздух. А это бывает нужно.

Льдины наваливаются друг на друга, крошатся и образуют кучу. Эта куча загромождает путь ледоколу. Такая куча завалит дорогу ледоколу и стоит подводным курганом. Ледокол подойдет к такому месту и начнет работать своим передним винтом, как водяным вентилятором, и всю кучу раздует, размоет и прочистит себе дорогу.

«Ленин» широкий с крутыми бортами. По самому толстому льду он идет свободно, он давит его под собой. Издали кажется, катит эта махина на санях: плавно, спокойно, а глянешь назад — за ним только ледяная каша суетится, толкается, шуршит и позвякивает. Издали кричит по радио застрявший пароход, далеко — верст иногда за семьдесят. Затерло беднягу льдом, давит его, жмет бока. Услыхали в порту, снарядили «Ленина», и пошел на выручку он. Пропахал «Ленин» канал во льдах — и вот осторожно, боязно идет за ним грузовой пароход; ему и в ледяной каше страшно: а ну напорешься с разбегу на большую льдину.

А «Ленину» нипочем. У него частыми ребрами укреплен нос, и толстая стальная обшивка не боится ударов. Недаром его строитель Макаров собирался идти на нем «к полюсу напролом».

С «Лениным» не страшно, что замерзнет залив, замерзнет Нева. Пусть идут пароходы, крикните по радио на помощь, и «Ленин» побежит на всех парах, выручит и приведет в порт.

У него четыре машины: три в корме и одна на носу, для носового винта. Каждая машина по две тысячи пятьсот лошадиных сил. В длину «Ленин» сто тридцать шагов, в ширину тридцать, высотой в шесть с половиной сажен. Две с половиной сажени сидит он в воде. На нем все устроено так, чтобы в самые сильные морозы, в лютые ледяные штормы не было бы людям холодно служить на этом зимнем пароходе.

А то ведь, когда холодно, когда люди сами не знают, куда от холода деться, разве тут станешь думать, как бы вытащить изо льда

пароход, который где-то за пятьдесят верст забился в лед и кричит «спасите». «А не суйся!» — скажет замерзший человек и глубже надвинет шапку.

Но на «Ленине» все устроено удобно и уютно. И он, как большой и сильный дядя в теплой шубе, спешит на помощь и выволакивает замерзающие во льдах пароходы.

ПАРОВОЗЫ [1]

Тележка Кюньо

Это было в Париже больше чем полтораста лет тому назад.

Самый главный французский генерал, уже совсем старик, вместе с артиллерийским офицером запускали на полу игрушечную тележку. Оба радовались, а старик генерал был прямо в восторге.

— Ну кто б мог подумать?! — кричал старик. — Ведь сама идет, паром ходит. А ну, пустите, пустите еще, Кюньо, еще! Пожалуйста!

Кюньо налил спирту в лампочку под котелком игрушки, оба присели на корточки и стали ждать, пока наберется пару.

— Ей-богу, как живая! — удивлялся генерал и потрогал тележку осторожно пальцем: обжегся и отдернул руку.

А тележка была очень смешная — впереди, как на носилках, медный шарик-котел и маленькая труба, как папироска. Сбоку крохотный цилиндр: из него палочкой выходит рука и вертит большое колесо. А потом идут целые дроги и два колеса сзади. Наверху маленькая кукольная скамеечка и руль, чтоб поворачивать колесо.

— Пусть теперь по кругу пойдет, — говорил генерал, — поверните руль. Вот-вот! Непременно сегодня же вечером скажу начальнику Арсенала, чтоб делали такую же настоящую. Обязательно! Эх молодчина!

Генерал хлопнул Кюньо по плечу. Кюньо покраснел от радости.

— Вы согласитесь, генерал, — сказал Кюньо, — ведь поставить сюда пушку или нагрузить ядра, и без всяких лошадей, моментально...

— А, ну-ну, — сказал старик, поднялся и стал искать на столе. — Что бы такое положить? Чернильницу? А вот: ключи! — И он полез в карман.

Генерал забыл, что он генерал, а Кюньо — офицер, и они вдвоем, как дети, на полу, все пускали и пускали паровую тележку, пока не доложили, что пора ужинать.

Только через шесть лет наконец сделали в Арсенале большую такую же тележку.

Собрались офицеры, генералы, сам военный министр приехал смотреть, как ее будут пробовать за городом.

---

[1] Отрывок из одноименной книги.

Кюньо волновался — а вдруг тележка оскандалится, не пойдет, и вот как раз когда все будут смотреть! Бывает же так: пробовал, все хорошо, а тут вдруг... возьмет да и... Он все хлопотал около машины.

Все ждали, все на него смотрели.

Ура! Двинулась! Сама пошла, без лошадей, как живая! Некоторым даже страшно стало. Скорей, скорей! Сам Кюньо потерялся, сам не ждал, что так скоро понесется. Ему вдруг показалось, что в ней, в тележке, есть душа, что она сама знает, куда идет, что теперь уже ничего не сделаешь, и бросил управлять, — трах! прямо в стену. Свалила стену — и дальше. Целые четверть часа бегала тележка. Потом тише, тише и остановилась, как будто в самом деле устала и запыхалась. Пару не хватило. Пришлось ждать четверть часа, пока она отдыхала и набиралась духу.

Но теперь четыре человека уселись на нее. И что это? Еле-еле потащила, ну вот как ребенок идет, не скорей, — всего три версты в час. Ну где тут о пушках думать!

Ну а все-таки ходит!

Все обступили Кюньо.

Кто поздравлял, кто посмеивался, другие так просто в себя не могли прийти — живая тележка казалась чудом, и старухи в толпе крестились — думали, что нечистая сила. Все волновались, все спорили, только и разговору было, что про живую тележку.

Кюньо ходил как именинник.

Старик генерал был уверен, что немного изменить, чуть-чуть переделать — и дело в шляпе.

— Ну, дорогой, — говорил он Кюньо, — значит, возим пушки? Что вы? Через год — непременно! И разговору не может быть. Принимайтесь за дело.

И Кюньо взялся, и действительно через год по парижским улицам запыхтела паровая тележка; впереди блестел медный котел, внутри него в топке горел огонь, два цилиндра по бокам вертели своими руками-шатунами большое колесо. Как чудовищное насекомое тележка ползла по городу. Лошади шарахались, любопытные толпились на тротуаре.

— Не без дьяволовой тут силы, — шипела старушонка, ее стиснули совсем в толпе, — погодите, погодите, пусть мимо креста, мимо церкви пойдет! Не потерпит господь. Вот погодите.

Тележка фыркала паром, гремела, грохотала по выбоинам улицы. А вот и церковь на углу. Ух как пошла!

— Заворачивает, заворачивает за угол!

Мальчишки бросились догонять, чтоб не потерять ее из виду. Вдруг — хлоп! На самом повороте тележка упала — машинист едва успел соскочить, огонь рассыпался.

— А что я говорила! — радовалась старуха.

Народ с криком бросился к месту крушения. Кюньо чуть не плакал. Он уж видел, что машина поломалась, и тележка, как раненая лошадь, лежала на боку, и пар, живой пар, как дыхание, выходил из поломанного цилиндра. Она умирала. А в толпе свистели и хохотали. Солдаты-артиллеристы бросились и стали осторожно поднимать, —

но было уже поздно. Она не могла больше двигаться. Запрягли лошадей и повезли в Арсенал. Кюньо шел сзади, как за гробом на похоронах.

Вечером Кюньо и старик генерал сидели в той самой комнате, где семь лет тому назад бойко бегала игрушечная тележка.

— Да, — сказал старик, — я говорил, но все равно: признали ее опасной.

— И больше нельзя... — сказал Кюньо.

— Да, казна больше не желает давать средств, так что...

— Я знаю, отчего она опрокинулась: я сделаю теперь иначе... — Кюньо все надеялся: вдруг не все еще погибло.

Генерал опустил глаза, ему жалко было смотреть на Кюньо.

— Нет, — сказал он, помолчав, — вы ее поправьте, и ее поставят в Арсенале, будут сохранять...

Он не сказал Кюньо, что для того выставят ее напоказ, чтобы другие знали, как не надо делать.

— И никогда, никогда больше? — сказал Кюньо. Он сидел совсем убитый.

— Ну, будем надеяться, что, может быть, когда-нибудь опять...

Генерал не знал, чем утешить Кюньо.

Кюньо вдруг встал, хотел пройтись по комнате, но боялся, что заплачет, и, не простясь со стариком, выбежал в двери.

А паровая тележка Кюньо и сейчас стоит в Париже в музее.

На угольных копях

На угольных копях в Англии полтора века тому назад в глубине земли, в шахте, ломали углекопы уголь; подземный ход, все стены из каменного угля: слой угля и прослойка земли, мокрой, липкой. Стены, потолок — все покрыто бревнами, чтобы не обваливался, не обсыпался грунт. Но и через укосины и сваи оттуда, из этой липкой грязи сочится вода, подземная, почвенная вода. Темно, сыро под землей, как в могиле. А эта вода, что сочится из земляных щелей, течет по подземным коридорам. Она затопила бы все шахты; и подземные ходы стали бы как трубы с вóдой, если б наверху день и ночь не ухала машина: эта машина качает воду из шахты, паровая машина, которую изобрел англичанин Джеймс Уатт.

Но не только вода выходила из подземных стен: газ, горючий газ испускали стены. Его не было видно, и выгнать этот газ из угольных коридоров нельзя было; он смешивался с воздухом и время от времени взрывался: это от ламп, что были у шахтеров, загорался газ; а нельзя же работать без лампы в темноте. И вот шахтеры знали, что всегда, вся-



кую минуту может быть взрыв, может так рвануть, что засыплет всех, заживо похоронит в подземном коридоре.

Так и бывало; рабочие это знали, но что поделаешь? Голод не тетка — шахтеры лезли под землю, киркой ломали уголь, а уголь подымали машиной из шахты, грузили на вагонетки и по деревянным скрипучим рельсам лошадьми отвозили к реке. Погонщики шли рядом, ругались, щелкали кнутами, орали на лошадей.

Кончалась вечером работа, шахтеров поднимали из-под земли в бадье, и они расходились по поселку, по своим углам.

Кочегар

Вот в таком поселке, в Вайламе, и жил кочегар Стефенсон: он стоял при машине, что откачивала воду из шахты. Детей у него была куча, заработки плохие, и жил он бедно. Отец уйдет на работу, мать выгонит ребят на двор, чтоб дома не толклись, и велит старшему, Джорджу:

— Смотри, чтоб к рельсам не совались.

А Джордж был мальчишка смышленый, так что на него можно было положиться.

В школу бы ребятам ходить. Да не такие времена были: школы платные, для богатых только, куда там кочегару детей учить, да и сам-то он был неграмотный. Подрос Джордж, и отдали его на ферму в пастухи. Но он вырос среди машин, вагонеток, рельсов и все о них только и думал.

Сын

Играет Джордж с товарищами в свободное время и все разные машины выдумывает. Вот чтоб как в шахтах — чтоб подымала и опускала. Не нравилась Джорджу работа на ферме, и все тянуло на копи, где машины, вагонетки, насосы. Наконец удалось: стало ему четырнадцать лет, отец взял его себе помощником.

Через два года Джордж и сам стал кочегаром, добрался наконец до машины. Эх, поучиться б только где-нибудь, хоть грамоте бы немного. А тут как раз какой-то грамотей открыл школу поблизости. Джордж Стефенсон к нему. Вот здорово! К восемнадцати годам выучился немного грамоте и даже арифметике. Отец уж к этому времени дряхлеть стал, и Джордж старался подработать чем мог; и оказался на все руки.

Взялся портняжить в свободное время. И пошло дело: стали товарищи-шахтеры носить ему работу, куртки шить.

Взялся сапожничать — и тут дело пошло не хуже. Так навострился, что стал делать дамскую обувь на заказ, — ну как форменный сапожник.

Попробовал часы чинить — и тут пошло дело: помаленьку и настоящим часовщиком стал. И со всей округи к нему стали

носить часы чинить. А тут у него сын родился, Роберт, и эти заработки пришлись очень кстати.

Стефенсон все поспевал: и учиться не бросал, и на копях при машине работал, и дома с часами возился.

Раз поставили на копях новую машину для откачки. Плохо работает машина, а копи все заливает и заливает водой. Инженеры мудрили, мудрили — ничего не помогает.

Стефенсон говорит: «Я берусь: и машину исправлю, и через неделю воды в копях не будет». Думать хозяевам было некогда: вода все прибывает да прибывает. Дали Стефенсону. Взялся, поправил машину, поставил на место, и через два дня воды как не бывало. Тут и пошла слава о механике-самоучке.

Лампа

Как раз тут случилось несчастье на копях: взрыв газа. Через год снова. Стефенсон был около машины наверху, когда узнал, что внизу газ горит и народ мечется, не знает, что делать. Стефенсон спустился вниз, пошел к тому коридору, где горело, и сразу сказал, что надо замуровать ход туда. Взялся сейчас же за дело, рабочие бросились ему помогать, быстро замуровали ход наглухо, и огонь погас. Стефенсон знал, что надо не дать туда ходу воздуху, а без воздуха газ гореть не будет.

Стефенсон стал думать: как устроить так, чтобы огонь от лампы не зажигал этого газа в шахте? И выдумал лампу с сеткой вокруг. Спустился в шахту и пошел туда, где было как раз много газу. Рабочие ему говорят:

— Что ты, с ума сошел? Пропадешь!

И все ждали: сейчас грянет взрыв. Но оказалось, что Стефенсон спокойно вернулся назад с горящей лампой и никакого взрыва не было. Тут все его обступили и стали рассматривать волшебную лампу. А Стефенсон объяснял товарищам-шахтерам, что через сетку огонь не может проскочить, она у него жар отнимает.

Стефенсону давно хотелось заставить пар возить эти вагонетки с углем, что целый день таскались взад и вперед по рельсам у него перед глазами. Он слышал, что уж пробовали паром возить во Франции, да и в Англии кое-кто занимался этим делом. Стефенсон стал делать модели и больше прежнего налег на учение.

Ричард Тревитик

А на других копях в Корнвалисе рос другой мальчик, Ричард Тревитик. Он на десять лет был старше Джорджа Стефенсона. Отец его тоже служил на копях, но только занимал большую должность, жили они богато, и Ричард не работал, а только из любопытства лазил по копям, смотрел, как работает водокачка, как возят по рельсам уголь,

как подымают и опускают рабочих в колодец шахты. Учиться ему было лень.

Отец совсем было махнул рукой на мальчишку, но Ричард так увлекался машинами, которые были вокруг него на копях, что отец вдруг сообразил:

— Да не заняться ли ему механикой? Тут он, пожалуй, лениться не станет.

И отдал в учение к Вильяму Мэрдоку.

А Вильям Мэрдок был в то время знаменитый механик, он был ученик и друг того самого Джеймса Уатта, который изобрел паровую машину. Мэрдока всюду приглашали наперебой ставить в копях паровые водокачки.

Тут вся лень вдруг спала с Ричарда, и он так взялся за дело, что скоро сам стал механиком почище Мэрдока.

Ему уж не хотелось работать по указке старика, у него самого в голове рождались свои планы, он сам хотел строить машины своего изобретения.

У отца были средства, двоюродный брат Андрей Вивьен сам просился в компанию и предлагал свои капиталы.

Тревитик открыл свой завод и сам стал строить водокачки не хуже Мэрдока.

Но его все время тревожила мысль — заставить паровую машину бегать по дорогам.

— Смешно, право, — говорил Тревитик своему другу Вивьену, — вот ведь тридцать лет тому назад во Франции бегала же по дорогам паровая повозка, и до сих пор никто толку не добьется.

— Да вот в Америке-то, — сказал Вивьен, — слыхал?

— Знаю, Эванс сделал один опыт — и все. Тоже ничем не кончилось.

— Да ты знаешь, почему Эванс не сделал другой повозки?

Тревитик молчал.

— У бедняги Эванса ни гроша. Он все истратил на первый опыт. Двадцать тысяч американцев глазело, как его повозка ходила по улицам Филадельфии, и никому не пришло в голову помочь изобретателю.

— И что же? — спросил встревоженно Тревитик.

— А вот то, что он теперь ходит как нищий и проповедует пар. Его уж ославили сумасшедшим. Безумный пророк!

— Нет, погоди, — сказал горячо Тревитик. — У нас ведь все есть: средства и мысль. Я не сомневаюсь, что моя мысль правильна.

— И целый завод в нашем распоряжении, — добавил Вивьен.

Вивьен верил в изобретательность Тревитика, и ему хотелось поскорей взяться за дело.

— Я докажу, что Эванс не безумец, а умней всех тех двадцати тысяч американских торгашей, что глазели на его паровую повозку! Пар! Это верно, что корзина угля стоит хорошей лошади.

Тележка Мэрдока

А старый его учитель Мэрдок сам бился над устройством паровой кареты. Ох, неодобрительно поглядывали прохожие на этого шипящего дьявола, когда он выползал на дорогу. «Не божье это дело», — говорили соседи. И Мэрдок выбирал места поглуше, чтобы пробовать свою паровую каретку. Она, пыхтя и задыхаясь от натуги, бегала по ухабам и выбоинам. Она искала гладкой, твердой, как сталь, дороги. А пока что она ходила по тряским проселкам. Ее боялись. Раз подошла она к заставе, где брали сбор за проезд, и остановилась. Из будки выскочил сторож. Старик в ужасе глядел на пыхтящее чудище.

— Черт! Сам черт! — смекнул старик, и его коленки задрожали от страха. Еле нашел веревку и скорей поднял шлагбаум.

— Сколько за проезд?

Сторож что-то невнятно лопотал, язык не слушался.

— Сколько?

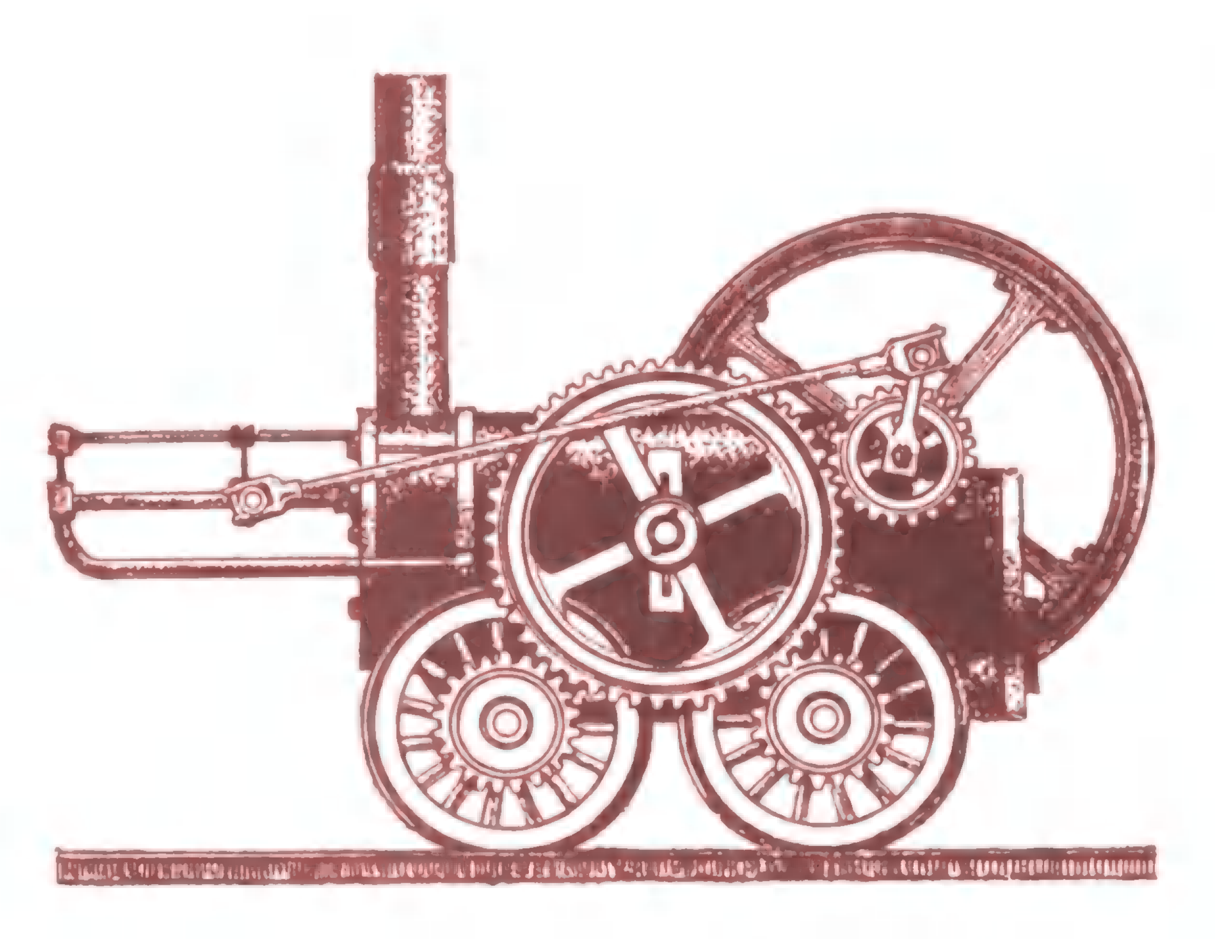
— Ничего, ничего, господин дьявол, ничего... Только проезжайте скорей!

Наконец как-то раз попала карета на гладкую дорогу почти без ухабов — она обрадовалась и побежала во всю прыть; хозяин бросился за ней — куда? Не догнать! И вдруг на дороге священник. И он, сам священник, ее принял за черта. Но это не то что сторож! Такой поднял крик, что сбежался весь народ.

— Держи, держи сатану! — вопил священник. — Не дайте дьяволу разгуливать по земле!

А дьявол бежал скорее лошади. Толпа с криком неслась по дороге вдогонку. Но ухабы, проклятые ухабы! Машина стала.

Погоня сразу остановилась. Шутка ли? А вдруг повернется волчком и бросится на людей. Хозяин на помощь. А тут уже толпа. Окружили, но боятся приступиться: дым, огонь, и дышит паром, так-то и возьмешься голыми руками за самого черта. Сам поп больше кричал, но не очень-то совался. Каретка стояла и ждала, что сейчас разорвут, разнесут на части. Подоспел бы скорей хозяин. Наконец прибежал. Толпа ревет. Еле отстоял, чуть самого не растерзали.



— Эх, если б ровная, крепкая дорога: никто, никто в мире б не нагнал, никто б и приступиться не посмел!

Каретка искала гладкой дороги: без ухабов, ровной, как пол.

Тревитик ее понял. Он работал, пробовал. Вивьен не жалел средств.

И вот в 1804 году Тревитик построил свою паровую повозку. Но это был уже паровоз. Первый паровоз.

Он был на четырех колесах, с огромным маховым колесом, с длинным уродливым шатуном, цилиндр был спрятан внутри котла, а зубчатые шестерни передавали действие шатуна на колеса.

Паровоз Тревитика пошел как следует, пошел по рельсам, даже Вивьен не ожидал, что все так хорошо выйдет.

Семь с половиной верст в час!

Шестерни бренчали, пар с шумом вырывался из цилиндра — весь этот шум и грохот казались Вивьену победной музыкой.

Паровоз размахивал своим маховиком, как ветряная мельница, болтал огромным шатуном и походил на какую-то военную машину, которая с дымом и грохотом двинулась в бой.

Зеваки с опаской поглядывали на машину — а кто ее знает: шутка ли, а вдруг сорвется да прямо на народ?

Попробовали запрячь. Как рад был Тревитик, когда паровоз потащил за собой поезд с грузом.

— Шестьсот двадцать пудов!

Это как раз теперешний груженый товарный вагон столько весит.

Но власти придрались. Власти искали, нет ли в этой машине чего-нибудь противозаконного. И заявили Тревитику:

— Нельзя, чтобы машина свистела паром наружу, этот шум пугает, да ведь и ошпарить может паром: прохожих, например.

— Куда же я пар дену, — оправдывался Тревитик, — ведь паром-то она и ходит.

— Куда хотите, не наше дело; только так нельзя.

Вивьен огорчился. Тревитик задумался.

Что же теперь будет?

А паровозу хотелось со звоном и треском ходить по дороге, он был молодой, первый паровоз, ему хотелось, чтоб все на него глядели, как он гордо, по-военному, идет вперед, а все шарахаются в стороны. Он нетерпеливо ждал, чтоб его снова пустили, а Тревитик, его отец и создатель, ломал голову, как унять шумливое дитя.

— Есть! — сказал он Вивьену.

Вивьен встрепенулся.

— Готово, выдумал.

— Что, что? — спрашивал Вивьен.

Но Тревитик взялся уже за дело. Паровоз снова затащили в завод, и пошла работа.

Дитя уняли. Пар из цилиндра теперь не будет выходить прямо наружу, он по трубам будет идти в дымовую трубу.

Теперь паровоз уже шел скромнее. Но как хорошо стало дышаться! Этот пар, что шел из цилиндров в трубу, тянул за собою дым, тяга становилась сильней, и жарче разгорался огонь в котле. Паровоз это сразу почувствовал, ему легче было набирать пару — он был рад: ничего, что нет этого форсу, этого победного фырканья, зато как легко дышится. А Тревитик этого не заметил, он рад был, что теперь никто не может уж сказать, что опасно проходить мимо паровоза.

Теперь Тревитик хотел скорее попробовать свой паровоз на деле, в работе, в настоящей шахтерской работе, с целым поездом сзади.

Рельсы

Ведь всякий знает, что по гладкому удобней катить, недаром катали подстилают доски, где приходится катать тачки. Всюду, и в Англии тоже, подстилали под колеса доски. Особенно там, где приходилось все время ездить взад и вперед с тяжелым грузом.

Вот так было в угольных копях в Вайламе. Тяжелые повозки с углем тянулись одна за другой по деревянным рельсам. А по дорогам кое-где уж стали появляться и чугунные рельсы, по которым лошади возили в дилижансе пассажиров. Какая хорошая дорога для паровой каретки! Вот на такие чугунные рельсы и поставил Тревитик паровую каретку. Нет, тут уж ухабов не будет. Гладко, ровно. Но только это уж не была прежняя каретка, которая металась из стороны в сторону по улицам и дорогам, то останавливалась, то убегала от хозяина, это уж был сын ее — солидный, тяжелый паровик. Его хотели заставить работать, как лошадь: запрячь в целый обоз тележек, чтобы он тащил их с грузом. Рельсы, казалось, прочно лежали на земле — под ними были чугунные чурбашки, чтобы они не вдавливались в землю. Паровик был построен лучшим мастером, его осторожно везли до самых копей и тут вкатили на чугунные рельсы. Хорошо: твердо. Крепкий чугун чувствовался под колесами.

Паровик еще ни разу не ходил по рельсам. Но пока что чувствовал, что стоит твердо. Ему хотелось попробовать пройтись, хоть и было немного боязно как будто ходить по одной половинке. Он ждал, чтобы скорей растопили.

Наконец вот пар гудит из клапанов. Две няньки — машинисты еще раз густо смазали маслом, где только можно. Паровоз тронул. Все рабочие собрались глядеть, как поползет по рельсам тяжелая машина. Паровоз осторожно двинулся вперед. Ого! Рельсы-то подаются — это не то что телега с грузом. Шаг за шагом он продвигался дальше. Кряк! — лопнул под колесом чугунный рельс. И не погнулся, а хрупко лопнул, как сахарный. Паровик стал еще осторожней, он каждую минуту ждал, что вот-вот снова треснет под колесом. Фу, как узко, как неловко, словно по канату! И бойся каждую минуту. Он пошатнулся, хотел выпрямиться, оступился передним колесом и сошел на насыпь. Он еле удержался, чтобы не упасть, и задними колесами сорвал рельс.

— Ну, так и есть! Ни к черту, — гудели из толпы рабочих, — куда ж целую фабрику на рельсы совать! Все разворотит.

— Берись, берись! — командовал Тревитик. — А ну, все сюда.

Рабочие нехотя подошли. Паровик чувствовал, что его поднимают рычагами, сзади прицепили лошадей и снова тащат на рельсы. Он осторожно пошел назад. Рельсы поправили, подкрепили, и паровик понял, что завтра снова его пустят ходить по этим хрупким чугунным полоскам.

«Надо привыкать, — подумал он, — ничего не поделаешь».

Но оказалось хуже, чем он думал. Ему пришлось идти с тремя вагонами сзади. Нет, все бы ничего, — но по этим рельсам! Ведь каждую минуту жди: вот-вот лопнет. Но в нем было желание добиться, научиться ходить, которое передалось ему от его матери-каретки. Он

осторожно потянул за собою вагоны. Они не очень тяжелыми показались ему, и колеса не скользили по гладким рельсам, когда он тронул с места.

Рельсы ломались, паровик оступался, — но как будто бы стал привыкать. Он уже бегал с пятью гружеными вагонами; бегал так, что лошадь только вскачь могла за ним поспеть. Нет, если б рельсы держали как следует, все было бы отлично!

«Ничего, научусь, — думал каждый раз после работы паровик. — Главное — упорство. Главное — упорство!»

Но не так думал Ричард Тревитик.

— Нет, Вивьен, — говорил он товарищу, — это не то...

— Что не то, Ричард?

— Да я говорю про паровоз — не потянет он поезда. Настоящего поезда, вагонов десять, — сказал досадливо Тревитик.

— Ты же так рад был первое время, помнишь? Ходит ведь, и здорово.

— Хорошо здорово, коли по десять раз в день с рельсов сходит, — ворчал Ричард, — и рельсы ломаются.

— Ну, рельсы можно покрепче отлить, намостить погуще подкладок! — утешал Вивьен.

— Эх, главное то, что он не может, никак не может потянуть поезда, — раздраженно сказал Тревитик.

— Надо попробовать, — попытался возразить Вивьен.

— Да чего там пробовать? Это всякому мальчишке ясно. Рельсы гладкие? Чего ты молчишь? Я спрашиваю: рельсы гладкие?

— Ну, гладкие, это и хорошо...

— Стой! — перебил Тревитик. — Колеса гладкие?

— Гладкие, — вполголоса ответил Вивьен.

— Ну? Не понимаешь? Вот поставить тебя в стеклянных сапогах на гладкий лед — много ты потянешь?

Вивьен молчал.

— Это кататься хорошо по гладкому, а самому катить не очень-то! Надо сапоги с гвоздями.

Вивьену стало весело: он представил себе паровик на четырех коротеньких ножках вместо колес и в огромных толстых башмаках с гвоздями, как у горных пастухов. Паровоз пошевеливает коротышками и бежит вразвалочку. Вивьен рассмеялся.

— Чего ты хохочешь? — спросил Ричард. — Опять какую-нибудь ерунду придумал?

Но Вивьен не мог говорить: он топал по ковру ногами, представляя, как будет бежать паровоз.

— Пуф-пуф! — приговаривал он сквозь смех.

— Вот ерунда! — расхохотался Тревитик. — А впрочем, так и будет. Вот увидишь. У меня уж есть в голове мысль. Но ведь ты согласен, что колесо будет скользить? Нет! Я серьезно.

Вивьен задумался.

— Да, ты прав. Впрочем, я от многих это слышал.

— Вот-вот, это же сразу видно.

«Займусь когда-нибудь этим делом непременно», — думал Тревитик.

Он чувствовал, что стоит на правильном пути. Но пылкий изобретательный ум уж соблазнял его другой мыслью: Тревитик уж думал о землечерпательной машине, он на время охладел к паровозу.

«Да, да, — думал он, — тут надо как-нибудь устроить больше сцепления между колесами и рельсами».

Не один Тревитик — все почему-то верили, что паровоз непременно будет скользить по гладким рельсам. Так думал и англичанин Бленкинсон.

О! он заставит паровоз ходить не поскальзываясь.

Новый паровоз

Бленкинсон построил новый паровоз.

Это был тот же паровоз Тревитика, на четырех колесах. Но эти колеса свободно катились, как у вагона: шестерни их не задевали; нет, шестерни вертели теперь новое, пятое колесо. Оно было с зубцами и цеплялось за зубчатый рельс, за чугунную гребенку, которая шла вдоль всего пути.

— Вот он, сапог с гвоздями, — говорил Бленкинсон, указывая на пятое колесо.

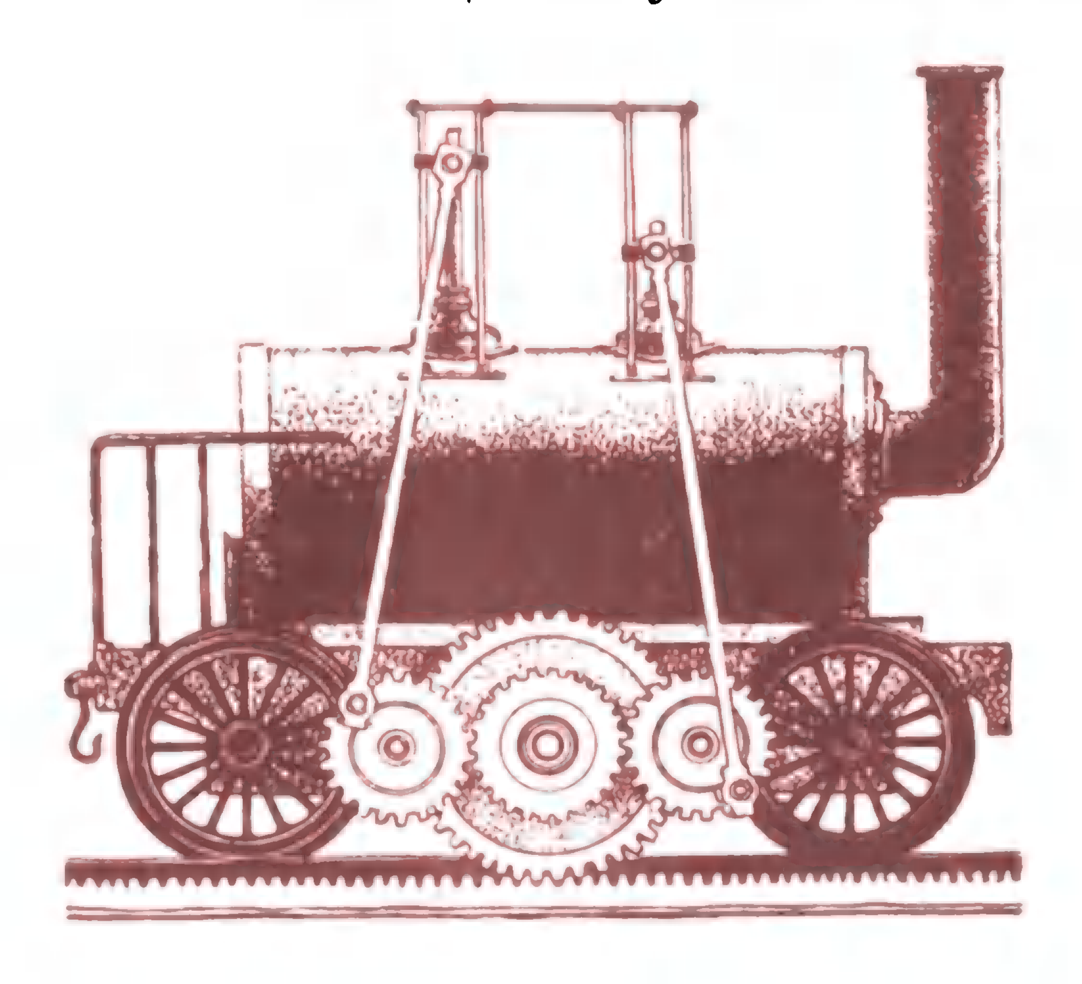
Это колесо и вертел паровоз своими шатунами, налегая на шестеренки.

— Теперь уж не скользнет! — радовался Бленкинсон.

«Я ведь и не скользил, — думал прежний паровоз, — может, я и десять вагонов потянул бы. Рельсы проклятые, неловкие, вот в чем все дело — до сих пор колеса ноют».

И он смотрел, как его сын, новый паровоз, царапался по зубчатому рельсу, как рак на суше. Он дулся, тужился и скреб своими зубцами. А рельсы по-прежнему лопались, подгибались, зубцы заедали, тарахтели. Хозяин злился, огорчался. Заставлял чинить насыпь, подкреплять рельсы.

И наконец плюнул на всю затею, — никто не хотел больше возиться, раз ничего не выходит, и снова лошади впряглись в вагоны, защелкали кнуты, загукали погонщики, и все пошло в копях по-старому.



— Давно бы так, — говорили старики рабочие, — а то сколько шуму, сколько рельсов зря поковеркали... Эх, инженеры!

Но все-таки развелись в копях зубчатые паровозы и с грехом пополам, через силу, с натугой царапались по рельсам. Рабочие проклинали паровоз, издевались и не называли иначе,

как чертом. А он старался изо всех сил, его трясло, он болел, его поправляли с проклятиями и руганью.

— В починке, черт окаянный, больше, чем в работе, одна возня с ним. Слетел бы раз к дьяволу с насыпи, чтоб уж сразу вдребезги, — ворчали рабочие.

А паровоз старался; он знал, что не он виноват в этом мучительном устройстве, он сам ненавидел зубцы и это зубчатое колесо. Оно вечно грохотало и болело. Паровоз мучился, но терпел. «Упорство! Терпение и упорство!» — повторял он слова деда.

Джордж Стефенсон

Но паровоз не знал, что на соседних копях механик-самоучка из чумазых шахтеров сидел и думал, как спасти, как выручить паровоз. Этот рабочий, Джордж Стефенсон, делал маленькие паровозики, игрушечные рельсы и пробовал.

— Смотри, смотри, Роберт, — говорил он своему сынишке, — ведь тащит! А ну, положи еще вон ту гайку на вагон.

Маленький паровоз бегал по полу по рельсам, по гладким рельсам без всяких зубцов и насечек и волочил за собой груженые вагончики.

— А ну, давай, нагрузим еще! — говорил Стефенсон сыну, и оба принимались накладывать на игрушечные вагончики камешки, железки, кусочки угля.

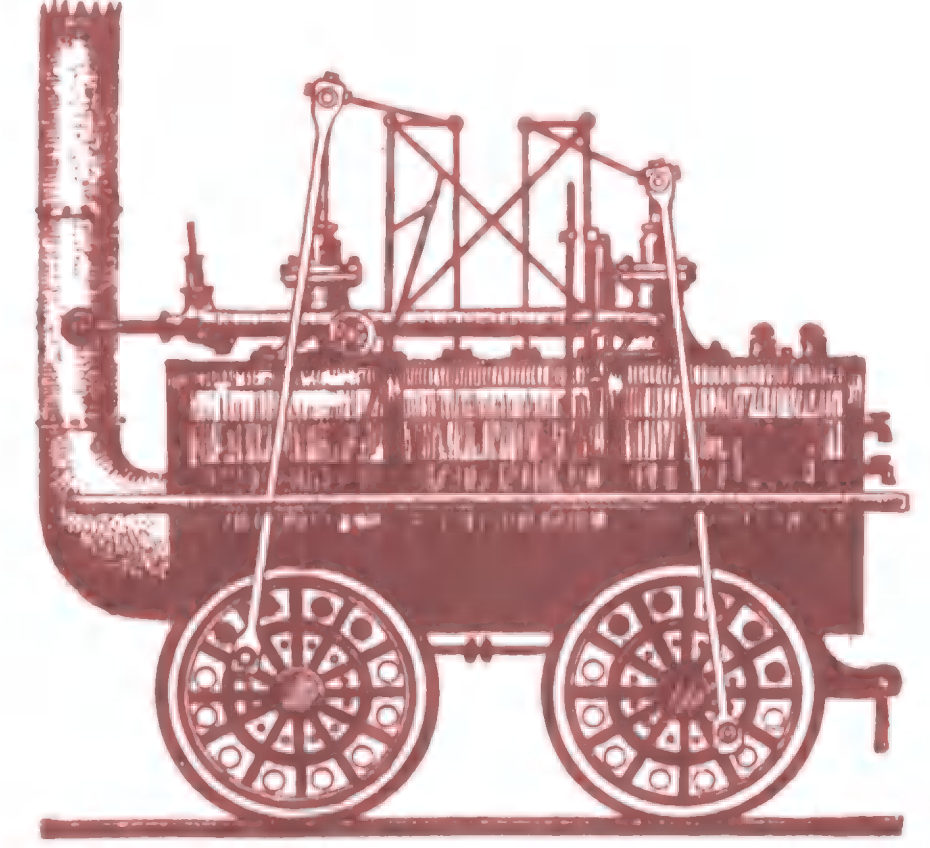
— Как ты думаешь, потащит? — спрашивал отец.

— Пускаем. — И сын сам поворачивал маленький кран и давал ход машине.

— Везет! — радовался мальчик. — И шипит! Прямо как водокачка, что на копях.

— Не в шипении, брат, дело, — сказал отец, — а вот смотри: рельсы гладкие. — Стефенсон провел пальцем по игрушечному рельсу. Сын тоже.

— Нет, ты слушай: рельсы гладкие, колеса гладкие, и смотри, сколько тянет. Вон сколько мы всякого добра навалили!



— Ну так что же? — спросил сын.

— А то, Роберт, что люди все боятся, что паровозу скользко будет тянуть. Заставляют паровоз по зубцам ходить. Вот в Вайламе, говорят, так. Паровоз весь трясется, ломается!

— Бедный паровоз, — сказал Роберт.

— А вот завтра пойду его выручать, — сказал отец.

Наутро Стефенсон был уже на соседних копях. На копях шипела

и ухала паровая водокачка — она все время откачивала воду из угольной шахты. Стефенсон хорошо знал это место — он здесь вырос.

А вон высокая черная труба ползет. Длинная, как папироска торчит. Стефенсон пошел туда. Паровоз только что после починки вышел на работу.

— Пыхтелка чертова! — ругал его рабочий. — Заскрипела, кляча!

Паровоз тужился, старался и вздрагивал от страха на каждом стыке чугунных рельсов. Паровоз сразу заметил Стефенсона: все злятся, ругаются, а этот стоит и так участливо и внимательно смотрит. И вот рядом пошел и смотрит под низ, нагнулся, как раз глядит на больное, на зубчатое колесо. Паровозу стало веселее. Он даже пошел смелей. Но как раз проклятое зубчатое колесо заело в зубце бокового рельса, паровоз рванул, тряхнулся и чуть не соскочил с рельсов. А этот добрый человек так покачал головой, что паровоз понял: этот человек знает, как больно паровозу царапаться по проклятым зубцам, жалеет его.

И паровоз каждый день теперь ждал — что будет. Не может быть, чтоб этот человек не помог ему.

Вдруг в одно утро не пришли и не растопили паровоз, как всегда.

«Может быть, путь чинят, — думал паровоз, — а вдруг это тот человек...»

Так и оказалось. Тот человек пришел с хозяином.

— Вы уверены, мистер Стефенсон, что можно обойтись без зубчатки? — говорил хозяин.

Паровоз замер. Неужели без зубчатки?

— Вполне уверен и гарантирую, что паровоз будет легко ходить по гладким рельсам и свободно таскать груженые вагоны.

С этих пор и пошло. Вот радовался паровоз, когда без этого зубчатого сапога он побежал в первый раз по гладким рельсам. Как снова на свет народился. А Стефенсон все не унимается.

— Смотрите, — говорит, — его трясет на этих чугунных подкладках. Так нельзя!

А паровоз думал: «Да что там подкладки — зубцов проклятых нет; вон, вон как — у-ух!» И он покатился со всех четырех колес.

Подложили деревянные подушки под рельсы — ну, совсем хорошо. Паровозу казалось, что это даже лишнее. Теперь можно работать! И паровоз с радости так дернул груженный углем поезд, что стоявшие на вагонах рабочие полетели с ног.

— Да, теперь только рельсы, мистер Блекет, — говорил Стефенсон хозяину, — нельзя, чтобы они оставались чугунными.

«Чего еще не хватало? — думал паровоз. — Вот оно — у-ух!» И он весело побежал, чтоб показать, как хорошо и на этих чугунных.

Теперь паровоз уже никто на копях не ругал ни клячей, ни чертом.

— Надо было понять, чего он хочет, — говорил шахтер.

«А не ругаться зря», — присвистнул паром веселый паровоз и покатил за водой.

Упорство

Теперь люди приходили смотреть, как он работает. Говорили уже иначе, и паровоз постоянно слышал:

— Нам бы такую штуку!

Но вот появились два молодых паровоза: их творец был тот человек, что пожалел паровоз, — Джордж Стефенсон. А старый паровоз смотрел и радовался, как они легко справлялись с тяжелыми вагонами: они прибежали помочь ему на шахтерской работе. Веселые ребята. Они сказали старому паровозу, что скоро сделают дорогу в двенадцать верст — это не то что толкаться тут в руднике, и разбежаться негде — три версты, и стоп.

— Старайтесь, старайтесь, — говорил им старый паровоз, — вот как я на зубцах ходил!

— Как это — на зубцах? — Они даже не понимали и смеялись.

Но пришлось протолочься семь лет здесь на копях, пока приготовили дорогу в двенадцать верст. Кати! И паровозы-стефенсоновцы бегали с семью вагонами по десять верст в час. А другие маленькие уже зарождались у Стефенсона в комнате и бегали по полу, по игрушечным рельсам с игрушечными вагончиками и шипели, как настоящие.

— Нет, добьюсь, что будет как следует, — говорил Стефенсон; брал с полу паровозик и снова переделывал.

— Упорство и терпение! — говорил Джордж Стефенсон.

— Упорство и терпение, — шипели паровозы-стефенсоновцы, когда тащили на подъем груженные доверху углем вагоны.

Но вот устроили дорогу, положили рельсы — и не в рудниках, не подвозную в двенадцать верст, а между двумя городами — Стоктоном и Дарлингтоном. Вот где себя показать! Эту дорогу проложил сам Стефенсон. Паровозы знали, что все для них приготовлено: и рельсы крепкие, железные, а не из хрупкого чугуна — кованые; широко, устойчиво проложены деревянные мягкие покойные шпалы и никаких горок — все горки скопаны, все, что мешало, выкинул, снес Стефенсон, чтобы дать своим паровозам дорогу.

Паровоз-стефенсоновец стоял на рельсах новой дороги. Да, сколько собралось народу, кого только нет, все на него глазеют, и все только об нем и говорят. Какие-то важные господа осматривали его кругом подозрительными глазами, тыкали палочками в бока, и он слышал, как приговаривали:

— Смотрите, какое чучело: завод на колесах. Нет, я на такой штуке не ездок!

А другой отвечает:

— Да, лошадки, знаете, дело поверней.

А третий еще поддает:

— Да погодите, пойдет ли еще?

Паровоз слушал все это и сам стал думать: а вдруг в самом деле?

Но подошел Стефенсон, весело глянул на паровоз, и паровоз сразу оправился: нет, вздор! А Стефенсон заглянул ему в топку, сам шевельнул кочергою — старый кочегар — и паровоз почувствовал, как сразу стало внутри теплее, как стал прибывать пар в котле. Он глотал уголь, дымил и все больше и больше разгорячался. Он теперь уже не

оглядывался на публику, не слушал вздору, что болтали около: ему не терпелось, он глядел прямо на рельсы, на которых стояли люди. Но люди уже сходили с рельсов, они чувствовали, что паровоз напрягся, что он может дернуть вперед. Теперь господа с палочками не подходили и не тыкали, а стояли поодаль и только старались сделать насмешливый вид.

А сзади было тридцать шесть груженых вагонов...

— Вздор, вздор! — говорил Стефенсон и бросал сам лопатой уголь в топку паровоза. Паровоз уже не мог сдерживать силы в котле, она шла через край, пар подрывал предохранительные клапаны, и они напряженно гудели.

А народ все прибывал и прибывал. Мальчишки, как галки, сидели на деревьях, на крыше будки, люди держались друг за друга, чтобы не упасть, внизу толпились, и все не сводили глаз с паровоза. Паровоз чувствовал, что сейчас решается самое важное в паровозной жизни, что он сейчас должен перед всем миром показать, что могут паровозы.

Стефенсон открыл ему пар.

«Рык!» — рванул паровоз, и все тридцать шесть вагонов метнулись за ним, задергались, зазвенели.

«Пуф — рык, пуф — рык!» — рвал паровоз дальше и дальше.

— Ура-а! — заорали в толпе. Но паровоз не слышал; вперед, вперед! Дать, дать! Он работал шатунами, не чувствовал уж под собою рельсов, не замечал хвоста вагонов.

«Напирать, напирать на колеса. Вперед!» И он покатил, и как покатил!

Кто-то ехал впереди верхом и махал флагом, но вот он скачет во весь дух, а паровоз не замечает, как уже отстали те, что бежали рядом, а вот и всадник соскочил с пути и не поспевает по дороге, а паровоз поддает и поддает.

«Разорвусь, не сдамся!» — думает паровоз и уж не замечает, как мимо мелькают деревья, домики, заборы, как разбегаются от страха стада, прячутся в подворотни собаки, как лошади бесятся, рвутся в упряжи от ужаса. Бежит по пятнадцать верст в час и еще наддает. Паровоз не замечал, с какой скоростью он несся, а Стефенсон сам не ожидал: никогда еще паровозы так не бегали с грузом.

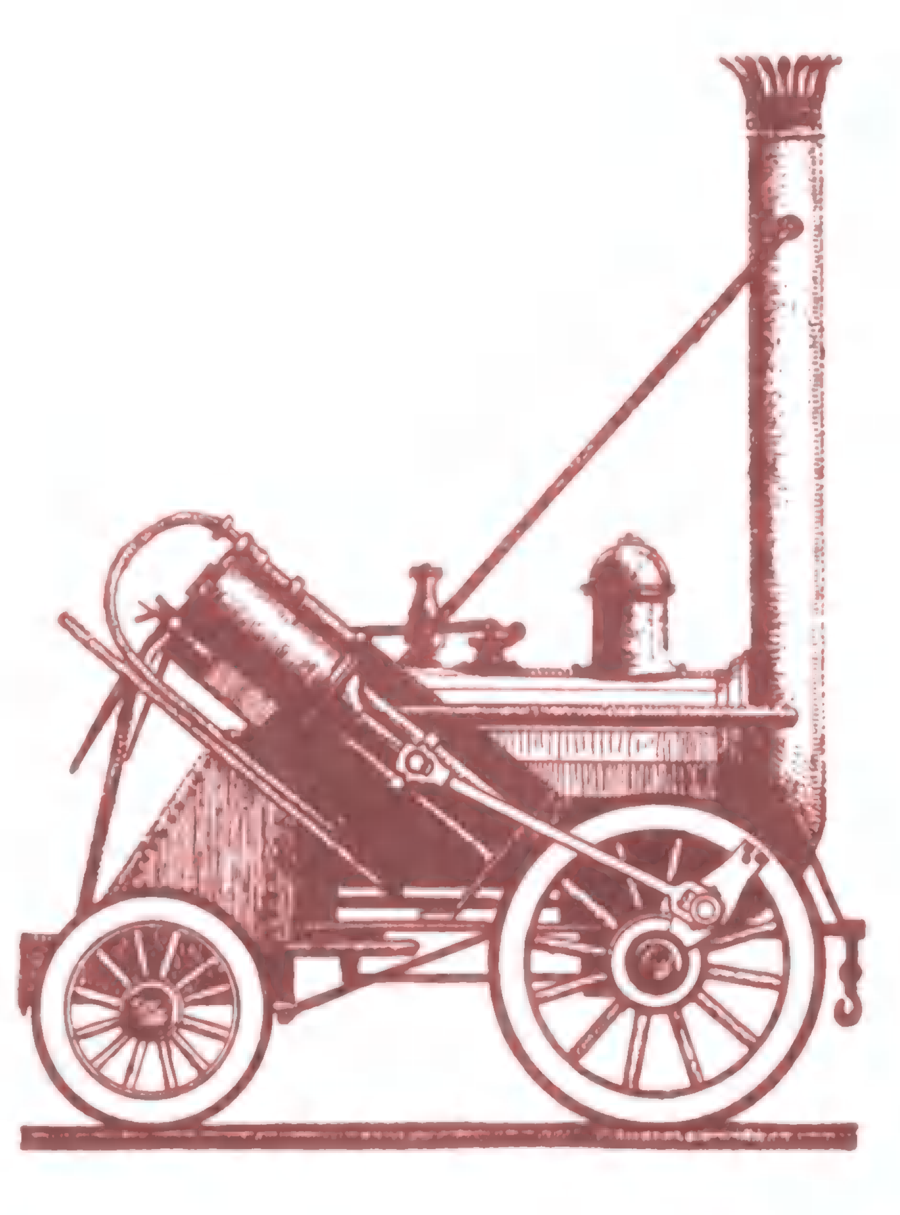
На копях на другой день знали о победе стефенсоновца.

А старый паровоз-шахтер тяжело дышал паром на угольных копях, шел по своей колее и думал: «Упорство, терпение и упорство», — и напирал шатунами на старые колеса. Он вспоминал Тревитика.

Рокет

Слава о стефенсоновцах уже пошла по всей Англии, и новое, нестефенсоновское племя завелось и высунулось из углов — тоже паровозы.

А Стефенсон пробивал теперь новую дорогу еще длинней, через холмы, через болота — на него нападали, стреляли, но он отбивался. «Упорство, терпение и упорство», — повторял Стефенсон — и по ночам



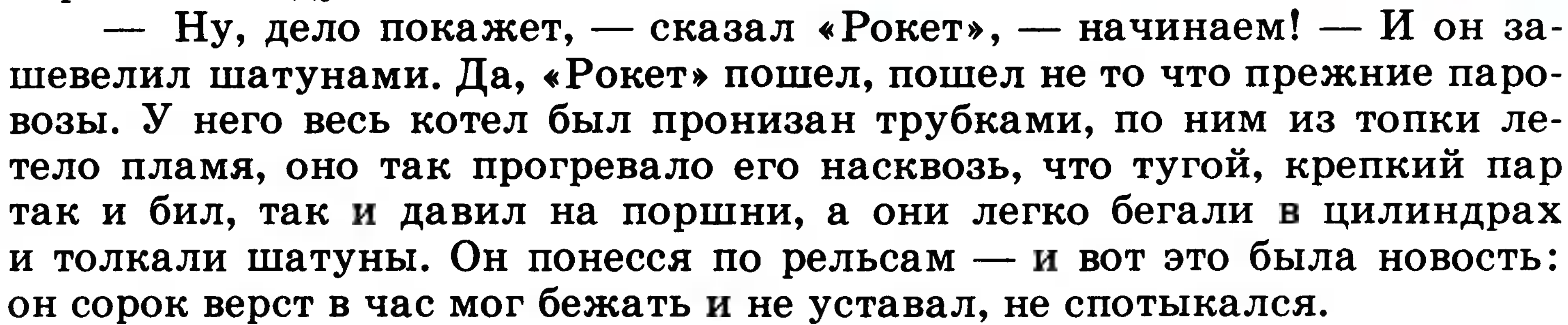
искал: где лучше, где легче пройти паровозам. Да, хорошая будет дорога, по такой дороге всякому хочется пробежаться, и уже выползло новое племя, новые паровозы.

А ну, померимся! И стефенсоновец, новый, молодой, сильнее прежних и статнее — «Рокет», — вызвал всех на состязание. Все собрались и стали на рельсы на станции Рэнгилл. Но гоняться с «Рокетом» решились только двое.

— Я для вас новость, — заявил один, — меня так и зовут «Новость».

— Новостью будет сорок верст в час, — ответил «Рокет». — А вы кто? — обратился он к другому сопернику.

— Я — «Несравненный», этим все сказано, — отвечал незнакомый паровоз и надулся.

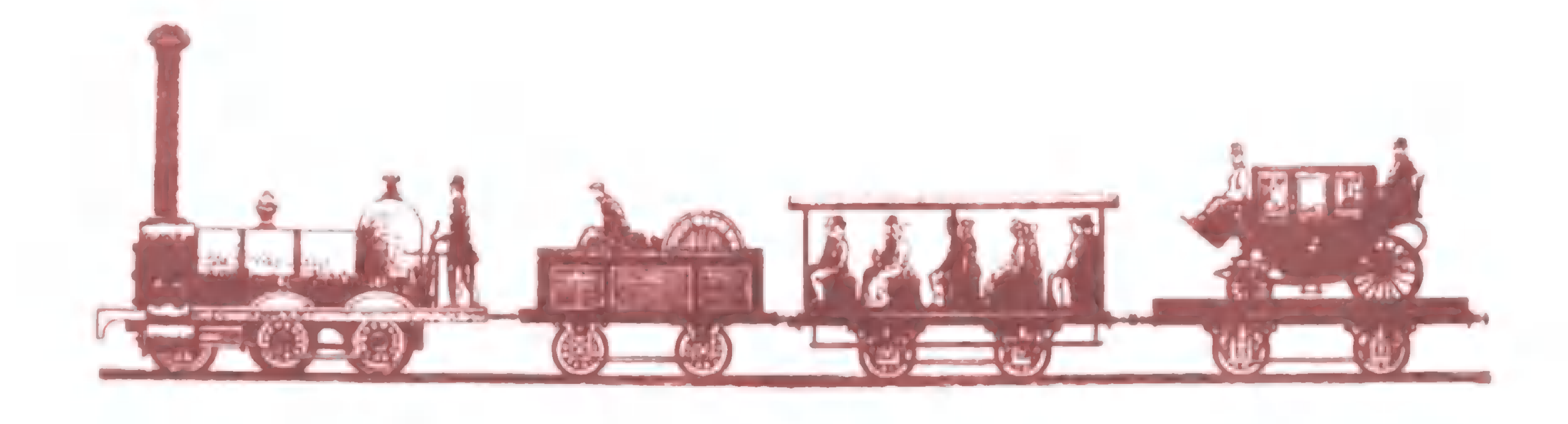


— Ну, дело покажет, — сказал «Рокет», — начинаем! — И он зашевелил шатунами. Да, «Рокет» пошел, пошел не то что прежние паровозы. У него весь котел был пронизан трубками, по ним из топки летело пламя, оно так прогревало его насквозь, что тугой, крепкий пар так и бил, так и давил на поршни, а они легко бегали в цилиндрах и толкали шатуны. Он понесся по рельсам — и вот это была новость: он сорок верст в час мог бежать и не уставал, не спотыкался.

«Несравненный» хотел сделать то же. Да, его действительно нельзя было и сравнивать с «Рокетом». Новости никакой не было в том, что другой паровоз пошел немногим лучше него. На них никто не хотел глядеть. Нет, не им бегать по новой дороге. «Рокет» дышал паром прямо в трубу, и от этого сильней разгорался огонь в топке, и на быстром ходу он дышал чаще, и паром тянуло воздух по трубкам, и пламя жарче клокотало внутри, в топке. «Рокет» отвоевал дорогу стефенсоновцам.

— Этого ни один человек не выдержит, — говорили кругом, — при такой скорости непременно с ума сойдешь. Наверно, машинист уже сумасшедший.

Но упорные стефенсоновцы заняли новую дорогу и стали таскать вагоны из конца в конец. На вагончиках уже стали кататься



смельчаки — они смеялись и помахивали шапками конным дилижансам, которые плелись рядом по дороге. А люди в дилижансах обижались и стали проситься на поезд.

Но паровозу завидовали.

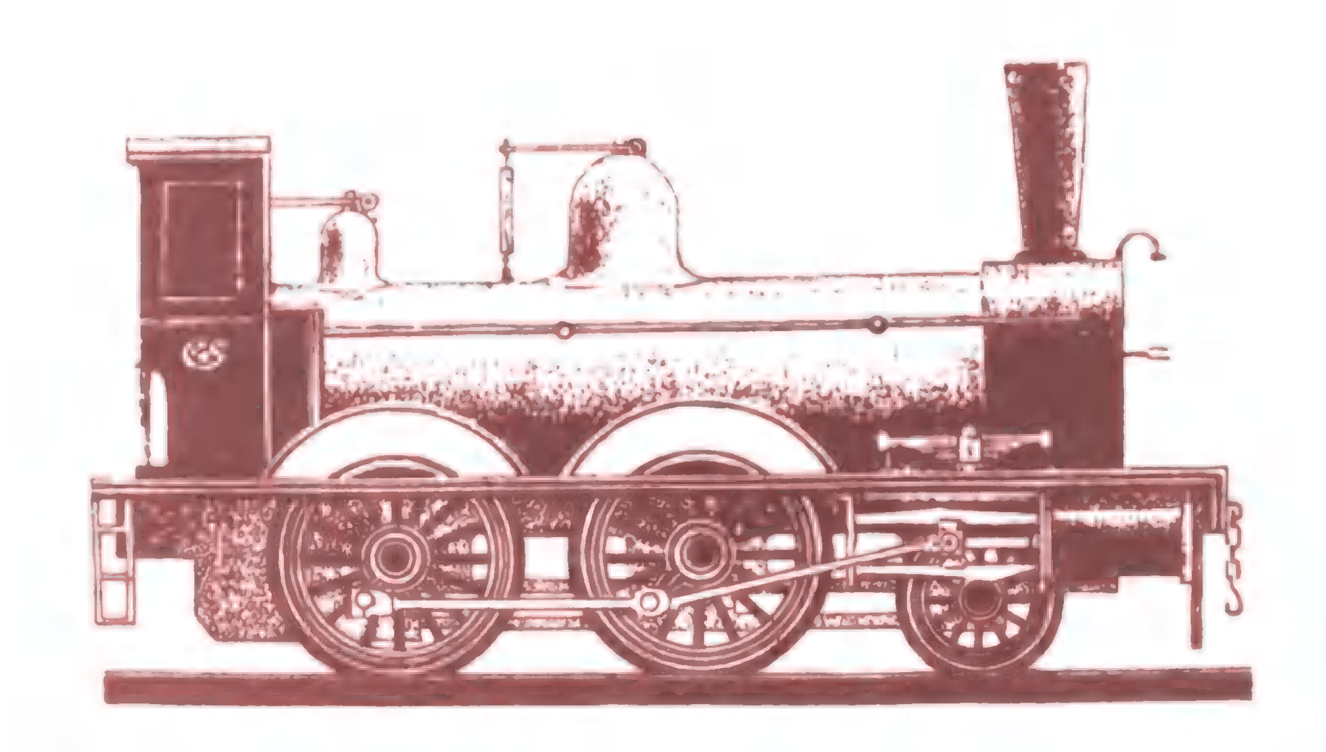
— Ишь какой нахал! — ворчали старики. — Надулся, как не лопнет? И дым... Дымит зачем?

— Да, да, — подхватывали другие, — с какой стати! Пусть не смеет дымить! Тоже вонь будет распускать!



И вот на паровоз напялили высочайшую трубу, чтобы дым шел прямо в небо. Но паровоз только посмеивался. «Ничего, — думал он, — привыкнут! Главное — упорство!»

И он упорно ходил и ходил и возил все, что ни грузили: и уголь, и людей, и товары. К нему придирались, кричали, что он искрами все сожжет, что надо прекратить эту игру с огнем! Но паровоз надел на трубу шапку из железной сетки и продолжал упорно ходить по своим дорогам, изо дня в день, из году в год. Теперь уже ходили по дорогам потомки «Рокета», новые стефенсоновцы; все сильнее, все проворней



становилось поколение, все надежней народ, и такой же упорный; в нем не умирала Стефенсонова душа: упрямая, настойчивая.

Вот уже в Бельгию, за море, позвали паровоз, и он смело взялся за дело — там уж знали, какую ему надо дорогу, — все приготовили, и без ошибки, уверенно паровоз подхватил груженый поезд — длинный состав вагонов — и потащил по заграничной земле. А не все ли равно? Те же рельсы. Его уже звали к немцам, к испанцам. И он так гордо пошел по германским рельсам, что все в один голос сказали:

— Орел! Adler, — назвали первый паровоз немцы, и от него пошло поколение, новые паровозы, молодые немецкие паровики, все лучше, все быстрее и сильнее прежних. Паровоз шел все дальше. Перед ним рубили леса и в узкой просеке настилали дорогу; засыпали болота, наводили на реках мосты, и он с грохотом и свистом катил из города в город. А города спешили наперебой натянуть поскорей на дороги тугие звонкие рельсы.

МИКРОРУКИ

Фантастический очерк

Мне пришла в голову мысль.

Нельзя ли движение моих рук, шевеление каждого из моих десяти пальцев передать в полной точности, но во сто раз меньшем виде? Вот я беру длинные кузнечные щипцы, я развожу их ручки на четверть аршина, а губы их расходятся на какой-нибудь дюйм, — эти губы передают движение моих рук. Но это грубо. Это только в стороны, но я хочу, чтоб и вверх, и вниз, и по кругу и не только движение всей руки, а пальцев, самое ничтожное их колебание — все чтоб передавалось во сто раз уменьшенным и в то же время в полной точности.

Я долго ломал голову и вот к чему пришел: я сделаю маленькие руки, точную копию моих — пусть они будут хоть в двадцать, тридцать раз меньше, но на них будут гибкие пальцы, как мои, они будут сжиматься в кулак, разгибаться, становиться в те же положения, что и мои живые руки. И я их сделал. Мало того, я тонкой работой часового мастера снабдил их механизмом, который двигал пальцами, этими маленькими кукольными пальчиками, в точности по моему приказу. Я все это управление привел к перчаткам, к особым перчаткам. Я надевал эти перчатки на руки, и малейшее мое движение целой сетью проводов передавалось кукольным ручкам: я сожму правый кулак — в маленький кулачок сжимается правая ручка. Я отведу назад всю левую руку — поползет назад и маленькая левая рука. Они были всего в двадцать раз меньше моих живых рук, и все мои



движения они повторяли в маленьком виде. Но если бы вы знали, что мне открылось.

Я надел на оба глаза лупы, в каких работают часовщики. И вот этими рачьими глазами я глядел на иголку. Она казалась мне железным ломом. Лежавший рядом вихрастый канат оказался обыкновенной ниткой. И вот я стал ловить маленькой левой ручкой этот железный лом. Я его поймал у конца, где пробита грубая неровная дыра, и правой ручкой я ухватил канат и без труда впихнул конец его в дырку. Когда я поглядел без моих наглазников, на столе лежала иголка со вдетой в нее ниткой.

Я взялся за карманные часы. Но где взять инструмент для моих микроскопических рук? Обыкновенный часовой инструмент им был «не по руке».

И вот я подумал: а что, если я сам сделаю себе инструмент? Я буду делать себе большой инструмент, надев на руки мои перчатки, а микроруки в точности будут повторять мои движения, они только будут все делать в двадцать раз мельче, и они сделают себе инструмент по руке.

Признаюсь, я долго возился: все пришлось делать почти с начала, как первобытному человеку. Разве что материал был готовый. Я сам большими своими руками сделал грубый молоток, сделал к нему наковальню, разжег спиртовой огонь и все это расположил, как и у меня в мастерской. Я ковал на наковальне обычный инструмент, а микроруки без ошибки повторяли мои движения.

Я даже сделал такой опыт: я установил кусок воску над микроруками точно так же, как моя голова стоит над моими живыми руками. Я почесал себе затылок, и микроруки уперлись в кусок воска.



Я стал скрести в воздухе около моей головы. Маленькие микроруки скребли в это время воск.

Я стал работать в воздухе вокруг всей моей головы, обводил все в подробности, как будто моя голова была окружена невидимым вязким слоем. И микроруки в это время оскребали воск до того же предела.

Когда я глянул, что они сделали, я увидал мой восковой скульптурный портрет. Так, благодаря микрорукам, я сделался скульптором.

Микроруки сделали все: и молоток, и напильник, сверла — все, все необходимое для работы. Карманные часы казались для них грубыми башенными часами. Они едва не защемили в зубья на ходу маленький пальчик. Но работа не

представляла труда. Я вывинчивал винты, но у меня в руках ничего не было, я только делал движение, будто держу отвертку и верчу: микроруки сжимали инструменты, они-то и вертели настоящий винт в моих карманных часах. Мой товарищ застал меня, когда я работал пустыми руками в воздухе с микроскопами на глазах, и хотел бежать за доктором. Выходило так, что если в десяти сантиметрах от меня находилась нога моего товарища, а в десяти миллиметрах от микрорук стояла нога мухи, то я хватал за ногу товарища, а микроруки таким же движением вцеплялись в ногу мухе. Оба бились и ругались, каждый по-своему.

Я поймал таракана, повалил его микроруками навзничь и заколол микроножиком, как свинью. Затем я его аккуратно потрошил и разглядывал его внутреннее устройство. Моими микропальчиками я мог отделить в стебельке цветка каждую трубочку. Но мне вдруг ударила в голову мысль: а ведь я могу сделать микроруки к моим маленьким рукам. Я могу для них сделать такие же перчатки, как я сделал для своих живых рук, такой же системой соединить их с ручками в десять раз меньше моих микрорук, и тогда... у меня будут настоящие микроруки, уже в двести раз они будут мельчить мои движения. Этими руками я ворвусь в такую мелкоту жизни, которую только видели, но где еще никто не распоряжался своими руками. И я взялся за работу.

Я думал, что успею в такое же время сделать вторые микроруки, как мне удалось сделать первые. И вот тут я нарвался на то, чего, признаюсь, не ожидал. Мне нужно было вытянуть тонкую проволоку — то есть той толщины, какая для моих живых рук была бы как волос. В работе микрорук она должна быть видна только в микроскоп. Я работал и глядел в микроскоп, как протягивали медь микроруки. Вот тоньше, тоньше — еще осталось протянуть пять раз — и тут проволока рвалась. Даже не рвалась — она рассыпалась, как сделанная из глины. Рассыпалась в мелкий песок. Это знаменитая своей тягучестью красная медь. Я злился, начинал сызнова — и опять то же.



Я начал было приходить в отчаяние. Но тут я вспомнил о золоте. Его нужно ведь одну крошку. Я отщипнул от кольца и сунул микрорукам. Теперь пошло иначе. Золото вывезло. Как известно, золото растягивается в такие пластинки, что они просвечивают, как папиросная бумага, — до того оно тягуче. Богатый американец мог бы сдуру крутить из него папиросу.

Но вот сталь! Нужна сталь, и я гляжу на кусок лучшей шведской стали.

Что же оказалось? В мой сильный микроскоп, под которым работали микроруки, я не обнаружил стали, — я увидал лишь сбор всяких кусков, склеенных металлическим цементом. Это была кучка железного хлама, за который я не знал, с какой стороны взяться. Мне приходилось выламывать оттуда блестящие кристаллы; одни были тверды, как алмаз, другие тянулись, как железо, и мелкий порошок сыпался от третьих. Это была какая-то залитая лавой руда, откуда надо было выламывать самородки. Дерево оказалось никуда: там были полупрозрачные брусья, гибкие, как китовый ус. Их с трудом брал микроинструмент, и рядом с этими брусьями были приклеены дорожки пористого, рассыпчатого вещества.

Я увидал, что в каждом материале, который идет у нас в работу, тысяча разных материалов, целый материальный склад, и я терял голову и не знал, какой взять. Приходилось изучать эти новые материалы, как будто я прилетел на другую планету, где все по-иному. Однако я как сумасшедший возился с моей идеей дни и ночи, не щадя ни времени, ни здоровья. Я жил уже в другом мире, где все было иное: невиданный материал, невообразимые звери вроде тли, которой я на днях размозжил глаз ударом молотка. Я мог косить и собирать в копны плесень.

Мне было досадно только одно: что я не слышу звуков от работы, от ударов микрорук. Я долго думал и изобрел особые микрофоны, которые усиливали звук невероятно. И я надел на уши микрофоны. Они передавали никому неслышные удары молоточка микрорук, и я мог по звону судить — лопнуло мое изделие или цело; я слышал, как визжала пилка, как звучал этот микроматериал совсем другими голосами, чем те, которые мы слышим в нашем мире.



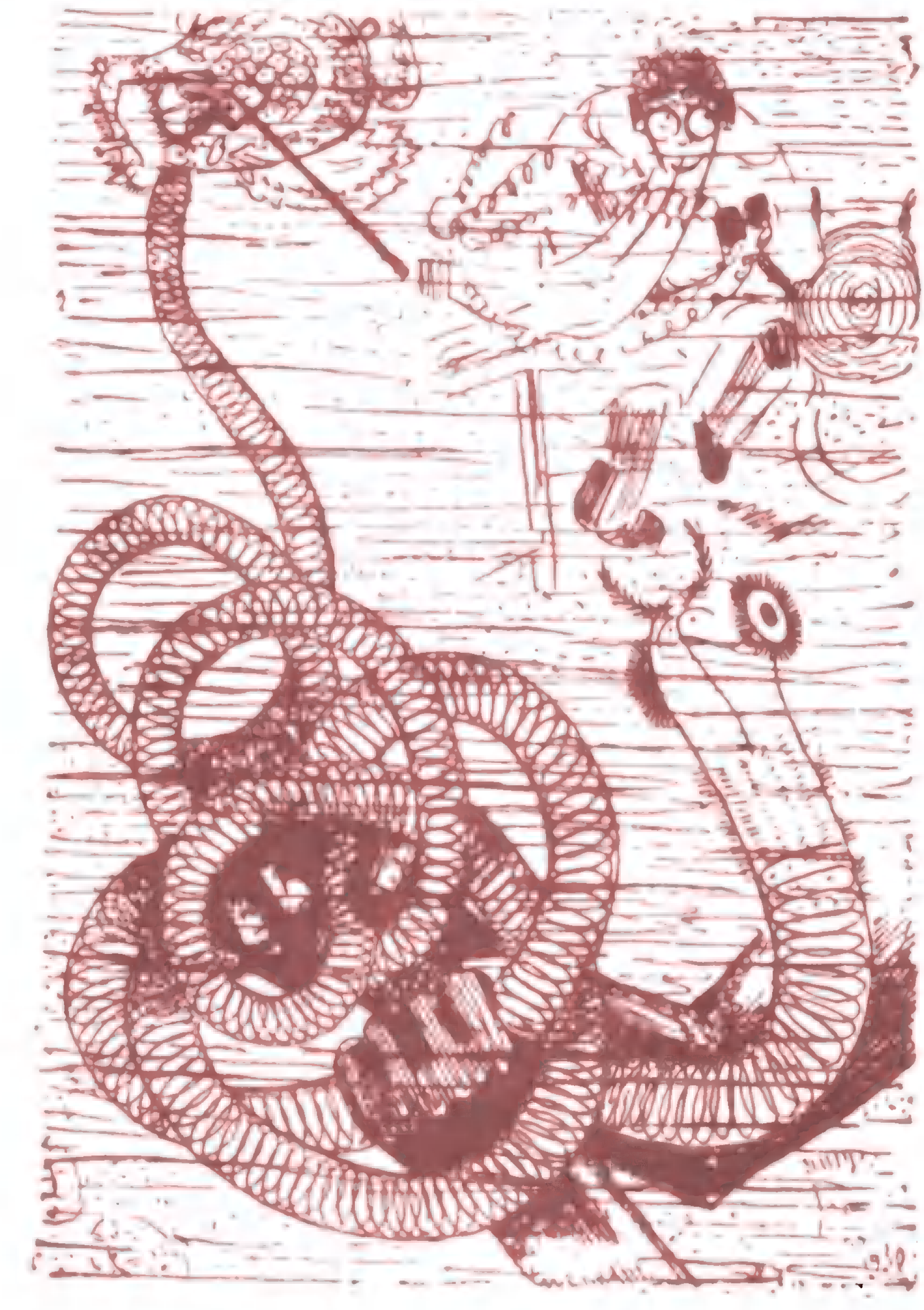
Теперь я целыми днями ничего не видел, кроме того, что сияло под микроскопом. Я обил свою комнату пробкой, чтобы городской шум не мешал мне слушать тонкие звуки микроскопической жизни в мои микрофоны. Они так усиливали звук, что шаги мухи по стеклу я слышал, как топот слона по стальному листу, и они меня пугали.

Чем я жил, чем добывал себе насущный хлеб? Откуда брал средства на устройство приборов? Эти средства я добывал своими руками. Своими микроруками. Меня приглашали делать самые тонкие операции, где ни один хирург не знал бы, как повернуться. Я мог своими

микроруками быстро и без промаху работать под сильнейшим микроскопом. Мельчайшие ростки злокачественной опухоли я удалял из живого организма, я рылся в больном глазу, как в огромном заводе, и у меня не было отбоя от работы. Но меня это не останавливало на моем пути. Я хотел сделать истинные микроруки, такие, которыми я мог бы хватать частицы вещества, из которых создана материя, те невообразимо мелкие частицы, которые видны только в ультрамикроскоп. Я хотел пробраться в ту область, где ум человеческий теряет всякое представление о размерах — кажется, что уж нет никаких размеров, до того все невообразимо мелко.

И я стал добывать материал для новых маленьких перчаток, чтоб сделать эти ультрамикроруки. Я работал в капле воды. Мне надо было поймать инфузорию — коловратку, чтоб из ее шкуры сделать перчатки. Я глядел в два микроскопа, я видел, как вертелись и носились инфузории. Я даже слышал легкое шлепанье их тел, когда они сталкивались. Мне казалось, что я сам сижу в этом подводном мире.

И эти черненькие перчатки микрорук я считал своими руками — до того они были точно послушны. Я сжал руку в кулак и хотел высунуть его из капли воды на воздух. Я говорю «из капли», но мне она казалась огромным озером, на дно которого я погружен. Я поднял кулак вверх и уперся в тугой прозрачный потолок. Это был тот поверхностный слой воды, который держит на себе иголку, если ее осторожно положить на воду. Этот слой подымался немного, выпучивался под напором моего микрокулака, но не поддавался, как будто прозрачная резина обтянула воду со всех сторон. Я не мог продавить этого слоя, сколько ни тужился. Дело в том, что сила моя уменьшалась, переходя из моих рук в микроруки, она делалась микросилой, пройдя все мои передачи. Но было и обратное: когда микроруки встречали отпор, ничтожный отпор лапки насекомого, он передавался моим живым рукам, в мои перчатки, будто это была гигантская сила носорога, и я едва мог ей противостоять. Жилы напруживались на лбу, и я тужился в борьбе с клопом, будто стараюсь повалить быка за рога.



Но надо было приниматься за охоту. Я взял микроруками приготовленную мной острогу в три крючковатых зуба и собрался, чтоб вовремя успеть вонзить мое оружие в эту резвящуюся тварь, что носилась мимо, как птица в воздухе. Как голуби-турманы, коловратки кувыркались на лету, казалось резвились и дразнили меня. Я уда-

рял. То есть я сжатыми моими руками, здесь у стола, взмахивал вверх, как бы нанося удар, в моих пустых руках ничего не было, но там под микроскопом в капле воды микроруки сжимали острогу и повторяли мое движение.

Я промахивался, горячился, я задыхался, вспотел в этой борьбе и наконец ударил одну. Но какая она оказалась твердая. Ее оболочка показалась мне шкурой бегемота. Острога скользила, отскакивала, и наконец я набрался сил и уж в полной ярости саданул острогой, и на этот раз так ловко и сильно, что вертлявая тварь застряла на зубьях, вертелась, каналья, но уж поздно.

Я весь горел от радости. Я решил передохнуть. Но вот какая-то длинная змеевидная инфузория, как огромный змей, неторопливо подплыла к моим черным кулачкам, которые все еще сжимали острогу. Эта змея-инфузория обвилась вокруг микрорук без всякого ума и злости, каким-то дурацким капризом живой материи. Я почувствовал себя связанным в моих перчатках.

Я не в силах был побороть этой водяной змеи-инфузории; еще момент — и она вывихнет, поломает мои пальцы. Я почувствовал неистовую боль во всех суставах и едва успел выдернуть из перчаток мои искалеченные пальцы.

Я долго носил руки в гипсе на перевязке. Микроруки оказались поломанными вконец. Я увидел, что у меня не хватит больше энергии и терпения восстановить их вновь. Теперь я только вспоминаю о чудесных годах моей микрожизни.

КОЛИЗЕЙ И ЗООПАРК

> Ликует буйный Рим. Торжественно гремит
> Рукоплесканьями широкая арена.
>
> *М. Ю. Лермонтов*

Все рукоплещут, все десять тысяч народа встали и стоя приветствуют императора, благодарят за зрелище. А минуту до того все люди в этом огромном цирке застыли в жадном внимании: два льва гнались за бизоном по огромной арене. Вот один отлетел с распоротым боком. А вот другой уж вскочил на бизонью гриву, вонзился когтями, рвет зубами загривок. С ревом, какого еще не слыхали в Риме, понесся бизон и, обезумев, крутит головой, норовит достать льва рогом. Вот бьет им о каменную стенку. Все привстали. И снова завыл и понесся. Тонким воем дышит толпа. Упал... бьется... хрипит... Вот вздрогнул в последний раз. Толпа охнула, переведя спертое дыхание. Другие все еще не могут отвести глаз от крови и смотрят, скривив жестокий рот, как вгрызается зверь в еще живое мясо. А цирковые служители, бестиарии, с каленым железом в руках, уж гонят освирепевшего льва, волокут прочь бизона.



Готовится второй небывалый номер: стравят слона с носорогом. Носорога никто еще не видел в Риме. Его ловили в Египте по повелению императора. За ним посылали корабли. О нем знали понаслышке. И теперь «втемную» держат зрители пари: кто кого? И римскому ученому Плинию едва ли удастся запомнить, каков хотя бы с виду этот африканский единорог, о котором он слышал пока одни только басни.

Но вот покончен и носорог, очередь за гиппопотамом. Судно с бассейном в трюме наконец привезло в Рим это чудо. Сейчас его затравят, распотрошат пантеры. Все глядят в ворота, открывшиеся там, в высоком каменном барьере: оттуда выгонят, прижигая каленым железом, это заморское чудо.

Императорский Рим свозил зверей из всех известных тогда земель, чтобы в этом цирке, Колизее, затравить их насмерть, растерзать в клочки.

Две тысячи лет тому назад. Это гигантское здание и сейчас еще стоит, только обвалилось с одного края. Там живьем рвали людей и зверей. Этими представлениями императоры покупали любовь столицы.

Тогдашние люди изумились бы, приняли нас за сумасшедших, если б увидали на больничной койке заботливо забинтованную лису с компрессом, обезьяну с термометром под мышкой. Едва ли удалось бы нам втолковать тогдашним зрителям римской арены, что делаем мы со зверями в нашем зоопарке. Они не поняли бы, что здесь узнают те тайны животной жизни, которые иначе не подглядеть нигде. Мы исследуем, какая пища как влияет на животное, что надо, чтобы оно плодилось, как у него растет шерсть, как воспитывает оно своих ребят, какие помеси дает, чем болеет и чем лечится. И мы так же пристально глядим на их жизнь, как римляне глядели на их смерть.

ТИГР НА СНЕГУ

И над книгою старинной
Закружилась голова...

А. Блок

Старинная книга — природа. Тысячелетиями поворачиваются ее страницы. Но книге этой миллионы лет. Недавно, лет двести тому назад, еще летала в лесах Европы птица дронт. Страница перевернулась — нет, нигде на всем свете нет птицы дронта. Обшарьте все леса,



хоть сквозь сито просейте всю природу — нет, нигде не найдете этой птицы, и ее портрет уже повешен в галерее вымерших видов, там, где и дедушка нашего слона — волосатый, клыкастый мамонт. Никогда ни из какого яйца не вылупится эта птица и не залетает, не закричит, не сядет на ветку. Навеки!

Новая страница раскрыта перед нами. Мы ее жадно читаем, мы задаем природе вопросы и придирчиво, упрямо ищем ответа.

Мы выхватываем из сибирской тайги соболя, чтобы у нас перед глазами этот ловкий, неуловимый хищный зверек показал, как он живет. Мы щупаем его волос — вот он облинял, сменил свой мех. Почему же мех слабее, не блестящий, не упругий? Мы задаем этот вопрос природе. Как добиться от нее ответа? Не оттого ли, что соболь линял в тепле? Мы делаем холод, мы устраиваем в Москве сибирскую стужу, садим зверька туда — пусть линяет. И ждем, что ответит природа. И мы получили ответ — да. Да, от холода это. Блестящим упругим мехом покрылся соболь, когда вылинял на холоду. Но нам хочется еще и еще задать вопрос, мы готовы закидать природу вопросами, нам хочется их поставить так, чтобы получить прямой ответ. Мы подслеживаем, подслушиваем, мы ждем десятилетиями, мы роемся в земле, чтобы хоть по следам узнать, как, какими путями пришло то, что сейчас растет, летает, бегает, жужжит вокруг нас. Мы, как истертые, старые страницы, расследовали отпечатки в камнях и в угле, в глубине шахт, на дне песчаных морей, в пустынях и, как в истлевшей книге по редким буквам, хотим восстановить древнее слово, хотим прочесть, что было.

И вот, читая эту книгу природы, теребя старину, жадно вглядываясь в новое, когда голова полна догадок, когда фантазия человека разогрета, человеку вдруг захочется самому вписать свои строчки. Самому сотворить то, что веками, тысячелетиями неустанно и медленно делалось в природе.

Человек решился на смелые опыты.

И что же оказалось? Оказалось, что все: каждое семечко, каждый лист, всякое яйцо птицы — все это как книга, в которой можно листать страницы назад. Как виноград, вот этот вкусный, сочный виноград, он в своем семени сохранил ту дикость, из которой вышел. Оставьте его и поверните страницу назад, и вы увидите, чем он был, пока за него не взялся человек. А может быть, можно повернуть и дальше?



В самом деле, не заключена ли в этой виноградной косточке вся история винограда? Не могу ли я заставить ее сбросить двадцать тысячелетий прочь и родить мне хоть через тридцать лет то, чем был виноград назад тому миллион

лет? Хоть под колпаком, в теплице или в леднике? Я хочу развернуть и прочесть все, что написано в этой таинственной косточке, я хочу разделить все примеси других растений, если виноград — ублюдок, родившийся в веках из тысячи смешений!..

И тут действительно может закружиться голова над этой старинной книгой природы.

Человек сейчас сам старается писать в ней. Может быть, пока еще каракулями, но все уверенней и уверенней становится его рука.

Он подслеживает за природой и пытается то же делать сам: сам опыляет цветы, сам переселяет насекомых, и, чтобы победить древесных вредителей, человек, как будто вражеский десант, привозит из-за моря их врагов. Он сгоняет в одно стадо разных зверей, от которых хочет получить новое, смешанное потомство. Он расселяет новых эмигрантов в неведомые им страны: виноград и персики в Воронеж, зебру на Украину — и, чтобы они не погибли в непривычной стране, делает помеси с туземцами.

Человеку во что бы то ни стало хочется узнать, как и откуда взялось то, что сейчас есть в природе, и, узнав это, самому писать эту книгу дальше.

Тогда — кто знает! — он создаст полярные пальмы и рассадит в Сахаре сосновый бор.

Природа сама намекает и подсказывает это: смотрите, среди лиан, обвившихся вокруг пихты, и дикого винограда по снегу на морозе ходит тигр Уссурийского края.

А кто знает: не возродим ли мы из живых еще теперь дальних родственников саму птицу дронт?

ЧТО, ЕСЛИ БЫ...

И вдруг среди жаркого июльского дня ударил бы крещенский мороз! Мороз лютый, железный, градусов этак на тридцать. Без всякой пощады вдруг стал бы он посередь лета и всех застал бы, кто в чем был.

Ого! Люди живо бросились бы по домам и стали бы отрывать из-под спуда зимнюю одежду, и повалил бы дым изо всех труб. А тут за морозом снег, настоящий, январский, со скрипом, навалился бы периной в полметра толщиной...

С треском облетели бы наземь ветки с деревьев, не успевших сбросить свой лист, — столько бы насело в листве снегу, и эти ветви, как палый лист, валялись бы вокруг дерева, и только голый ствол

торчал бы с обломанными по локоть руками. Но морозу мало и этой казни — он жмет и этот ободранный ствол, он застал в нем воду, заледенил ее, и вот как пальба прошла по лесу, будто встретились в нем враги и бьют из тысячи ружей друг в друга. Это лед внутри дерева рвет его на щепы, и с выстрелом лопается древесина.

И вот на месте кудрявых деревьев, что весело шумели на ветре, — мерзлые щепки. Они стоят еще высокой охапкой, но они скоро развалятся кучей. Насмерть, навсегда раскрошил мороз весь лес, чтобы не было и памяти о нем вовеки.

А вот заяц, серый зайчишка, мечется по белому снегу. Он ищет, куда бы забиться. Он, как жук в сметане, виден издали и с высоты жадным хищникам — орлу и коршуну, хитрой сове и лисице. Заяц обеспамятел, он хочет зарыться в снег, уйти под землю — он гибнет: его ловит и рвет хищная птица. Не успели переодеться куропатки — им не слаще, чем зайцу.

Трава застыла в своем цвету, не успев кинуть в землю посев для потомства. Заледенели все, кто думал спасти свою жизнь в земле: и луковица тюльпана, и огородный лук — все, все погибнут. Они застекленели на морозе, им никогда не опомниться, им больше не жить на свете.

А снег, как копотью, усыпан жучками, и ветер, как обрывки бумажек, катит мертвых бабочек по гладкому насту. Нет, их больше никто не увидит на свете: они не успели приготовить потомства себе на смену. А вот их замело снегом. И птица в поисках пищи не видит ни мошки, ни ягоды. Птицы стаями, как вспугнутый рой мух, взлетели над мертвой землей, где погибли их дети, и носятся, не зная, куда лететь. Как дождь из тучи, падают на белый снег замерзшие на лету ласточки, и трупами усеян весь путь их бегства. Галка мечется, скачет, ныряет в снегу. Ее застал врасплох мороз, она чует, что околеть ей без запаса на лютом морозе.

Медведь скребется. Он хочет раскопать мерзлую землю, крепкую, как чугун. Змеи свернулись стальными пружинами, и вот уже в их сердце лед — не проснуться и им. Еще не зажиревшие рыбы мечутся в водоемах: холодная вода падает сверху, как ледяной дождь, и рыбы чуют беду и у себя под водой.

Так мечтает мороз: «Ох, дайте только напасть врасплох... Я б...»

Да, ты бы, конечно, не хуже огня. Да шалишь, дай вперед валенки натянем.

В ЗООЛОГИЧЕСКОМ САДУ

У слона

У слона в зоологическом свой особый дом, он один в своем помещении. Нет, впрочем, не один, а со сторожем. Да и не сторож он ему, а товарищ. Слон без него часу провести не может: чуть ему скучно или надо что-нибудь, слон сейчас же звонит. Только не в звонок. Слон

расшатал одну стойку в клетке (а стойки здоровые, в руку толщиной, железные!). Стойка эта хлябает и бренчит. Вот слон возьмется хоботом за эту стойку и трясет, бренчит стойкой — это он своего товарища зовет: пить ему дай, сена принеси или убери за ним. А то просто скучно стало — так поговори с ним. Сторож так к нему привык, что ему кажется, будто слон хорошо по-русски понимает.

— Вот мы говорим, а она (это слониха) слушает: знает, что про нее.

А слониха достала где-то хворостинку и сует в хоботе — возьми. Сторож не берет, спиной поворачивается.

— Смотрите, — говорю, — как тянется, возьмите.

— Ладно, — говорит сторож, — знаю, хитрость одна. А взять хворостинку, так потом за это дать надо что-нибудь. Картошки, например.

Но слониха так настойчиво совала хворостинку, что пришлось взять.

Достал сторож картошки — слониха уж хобот вверх закинула и рот раскрыла. Накидал ей туда сторож картошки, как дров в печку. Жевнул слон раз — и готово, это ему на один зуб. Потом ухватил клок сена и снова тычет через решетку.

Сторож сказал строго:

— Брось!

И верно — поняла слониха, бросила сено на пол. А через минуту новый клок тянет.

А сторож говорит:

— Ишь сено раскидывает.

Да как крикнет:

— Ешь!

Смотрю, она сена не бросила, а загнула хобот и положила в рот. Понимает, значит, когда «брось», когда «ешь», и слушается.

— А вы не ссоритесь? — спрашиваю.

— Да нет, не приходилось. А только вот пакость она вам сделает, если вы с ней плохо. Нагадит, например, и звонит мне ночью, чтоб встал да прибрал сейчас же. Ну вот, попробуй не встать — так она все это растопчет, разотрет ногами, это назло, чтоб ты потом утром возился.

— Может, — говорю я, — случайно: ходит и наступает.

— Нет, — говорит сторож, — я уже знаю: это нарочно, назло мне. А то озорует иной раз. Вон видите — на веранду двери. Так вот они на зиму заколачиваются и завинчиваются. Вон гайки торчат. Так эти гайки слесарь приходил ключом завинчивал, туго-натуго. Вот ночью звонит слон во всю мочь. Встаю, а он мне в хоботе гайки протягивает. Отвинтил — пожалуйте!

А слон, пока мы говорили, уже уцепил сторожа хоботом за шею, обнял за плечи. Сторож, здоровый мужчина, еле на ногах устоял, так к слону и покатился. А слон повернул его от себя и в спину хоботом толкает — это у него представление такое, это он нам показать хотел.

Потом сторож принес ему ведро гретой воды. Слон втянул всю

воду сразу в хобот и потом вылил себе в рот — как один глоток. Что ему ведро, коли он сам двести пудов весит?

Напился воды и пошел сено жрать. Три пуда в день съедает, ночью будит, чтоб ему и ночью давали. Но уж на какое сено наступит — то уж в рот брать не хочет. Ну да сторож надувает своего товарища: мешает потоптанное сено со свежим и утром с голодухи жрет слон, не разбирая.

Красавица

Это бегемот. Только не он, а она — бегемотиха. Зовут ее Красавица. Ну, это уж сами судите. Ее привезли издалека, из Африки. Там зиму и лето жара стоит. Бегемоты там живут в реке. Жрут по берегам траву, ныряют в теплой воде. Бегемот здорово ныряет — минут пять под водой сидит, и хоть бы что. Пасть у него огромная. Откроет — как чемодан. В пасти зубы как колья торчат. Другому зверю эти зубы на рога могли бы пойти. Весом бегемот — сто пудов. Экая махина! А командует им в зоологическом саду худенький старичок.

Плохо бегемоту зимой, он жару любит, теплую воду. Вот старичок и греет ему воду, топит куб, как для ванны, и напускает теплой воды в бассейн. Только на ночь не пускает бегемота сторож в воду: сильно стынет за ночь вода, и Красавица может простудиться. Старичок на ночь загораживает бассейн. Да чем? Так, из легоньких досочек, на живинку, сколочена загородочка. Бегемот, если б захотел, прошел бы через нее, как через бумагу, а не смеет: старичок не велит. Смотрит Красавица с тоской на воду, положит голову на загородку — трещат доски. А старик как крикнет: «В угол, пошла в угол!» И попятится стопудовая махина, только обиженным глазом на хозяина смотрит.

Я спросил:

— Что, она смирная такая, как корова?

— Да как, — говорит, — с кем.

Вот уходил старик в отпуск. Другой человек его замещал. Пришли люди смотреть бегемота. А он залез в воду и не хочет выходить! Человек кричал, кричал. Публика ждет, всем обидно. Тогда человек ударил бегемота по спине палкой. Бегемот как вылезет да как попрет на человека, пасть разинул. Человек еле-еле успел из клетки вылезти.

Макаки

А вот макаки не падают духом: бесятся, скачут, трясут клетки. А то сядут парочками и друг у друга в голове насекомых ищут. Потом вдруг начнут друг за другом гоняться, носятся по всей клетке, скалятся, гримасничают.

У ЗВЕРИНЫХ КЛЕТОК

Так уж говорится: волков бояться — в лес не ходить. А на деле выходит, что редко сыщешь человека, кому бы удалось хоть раз в жизни этого волка в лесу увидеть. А если кто и увидит, так потом всю жизнь об этом рассказывает, как он волка видел.

Не то что волки, а все зверье в лесу прячется, хоронится от человека. Вы можете целый день бродить по лесу, и вам покажется лес пустым. И вы скажете: «Все это чепуха и россказни про лесных зверей!» И удивляетесь: «Откуда это охотник наворотил столько тетеревов, рябчиков, добыл козуль, принес лису?»

Охотник вам скажет: «Как же пусто? А вон это что?» Остановится и ткнет пальцем в землю: «Гляди, кем тут хожено?» И на примятом мху, на потоптанной траве вы увидите едва заметные следы. Даже трава чуть шевелится, подымаясь. Секунду назад здесь пробежала лиса, и обмятая трава встает, сколько может.

Так прячет свою жизнь зверь от человека. И вот как же ее разгадать? Кабы знать, чем живет зверь, что он ест, как он охотится тут же у вас под носом, плодится, сражается, копит зимние запасы, роет на зиму дома!

Охотники и промышленники, конечно, народ зоркий. Станешь зорким, коли твоя жизнь в том: добыл или пришел домой «попом» — с пустыми руками.

Но промышленник знает про зверя ровно столько, сколько надо, чтоб добыть шкуру. Ученому же этого мало. Ученому надо исследовать зверя, так как он хочет, чтобы полезных и ценных животных было как можно больше. Ученому надо исследовать зверя так, как он знает свою, человечью, жизнь. Для этого надо, чтоб прямо перед его глазами, без всякой утайки и секретов, проходила жизнь зверя. Чтоб ученый мог пробовать, как подействует на зверя новая пища, узнать, что для него лакомство, а что ему необходимо. На кого как действует жара, холод, какие родятся дети и что надо для их развития. И человек собрал зверей со всего света и привез их ученым.

И вот в зоопарке собрался чуть не весь животный мир. Это огромная живая лаборатория, и ученые жадно принялись изучать, прослеживать, ставить опыты, наблюдать. Они дежурят у клеток сутками, посменно, не спуская глаз, чтобы подследить, когда родит медведица, глядят, чем станет кормить своих детей волк, долго ли сидит на яйцах страус, на какой день прозревают лисята. Узнают, может ли жить хищник без мяса, какой холод переносит змея, что получится от помеси куницы с соболюшкой, почему улетают утки. И звери, и птицы, и гады, присланные из далеких жарких стран сюда, к нам, в наш морозный климат, — они тоже под зорким наблюдением ученых, врачей. Знатоки и промышленники исследуют их шерсть.

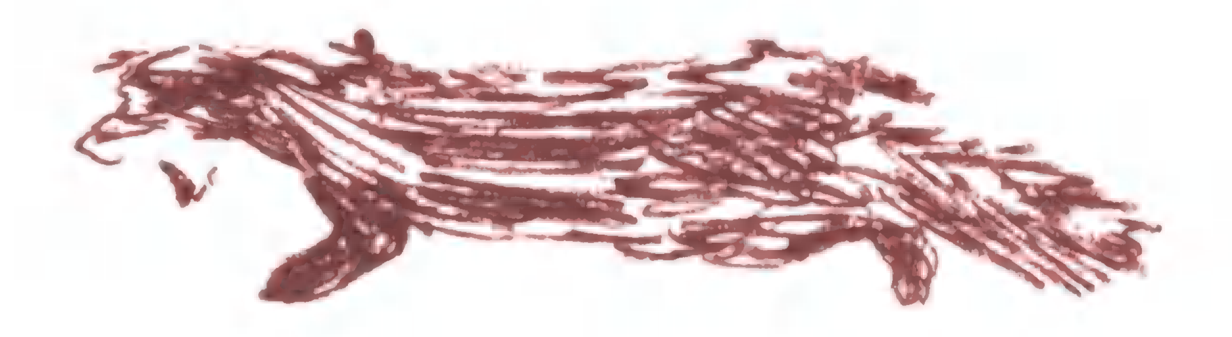


И вот смелые мысли начинают шевелиться у ученых в головах. Хочется умножить наши звериные богатства, хочется подарить нашим лесам новых, полезных, заморских зверей, расплодить у нас на морозе заморских птиц, поставить в скотные, птичьи дворы ту самую дикую живность, что юрко пряталась от нас в лесу.

Поставить во дворы? Ну, скажем, целый загон крыс — тоже прячутся, тоже живность. А куда она, эта паскудная, голохвостая крыса? Ни шерсти от нее, ни молока. А обожрет она — хорошо это знаем — любой совхоз дочиста. Конечно, ученые не крысу суют колхознику и не волками собираются набить наши леса.

Хорошо во всем мире известен наш советский зверь — соболь. Нет, не зверь, конечно, а его шкурка: она на первом месте висит в самых парадных витринах Лондона и Парижа. Наш зверь соболь. Кроме нашего Союза, — нигде во всем мире. Ох как хотят немцы, американцы развести у себя эту драгоценную зверюшку! Ведь это все равно что посеять золото. Посыпал — и золотой урожай! Чего бы лучше! Но соболь как будто держит нашу советскую руку, и нигде во всем мире нет ни одной пары на племя. А если бы была, развелись бы? Нет.

У нас в Московском зоопарке ученые — профессора, зоологи, биологи — долго бились, чтобы узнать, что надо соболю, чтобы плодиться.



Наловили, насадили в клетки и соболей, и соболюшек, а приплоду нет. Холили их, лелеяли, берегли — хороши соболя, а живут по-холостому. Пришло наконец в голову: не в кормах ли дело? Стали примечать. И смешная вещь: этот хищник, — а соболь всем хищникам хищник, — как поймает птицу, первое, за что берется, — за голову. А в птичьей голове первое, что выедает, — мозги. На остальное ему будто и наплевать.

Ученым полный простор. Коли надо, пожалуйста, сколько хочешь птичьих голов — корми соболей. И что же выяснил профессор Мантейфель (он заведует научным отделом зоопарка)?

Важно, чтобы в кормах у соболя было все, без чего жизнь зверя не идет нормально. И если, например, в кормах нет птичьих мозгов, то размножение задерживается. Кроме того, надо учитывать и то, что в разные времена года эти звери по-разному упитаны, и если об этих изменениях забывать, то ни при каких условиях звери плодиться не будут. Зоопарк эти задачи решил.

А надо сказать, что к этому времени драгоценного зверя все меньше и меньше ставало в сибирской тайге. Прошли те времена, когда тунгусы за чугунный котел битком набивали его соболиными шкурками. И таежный промышленник теперь ловчится и хитрит — и капканом, и американским ружьем. И много новых таежных троп сквозь бурелом и валежник пробили сибирские охотники в гоньбе за соболем.





Чего же ждать? Ждать, пока начисто выбьют драгоценную шкуру? И Советский Союз позвал на помощь ученых. И ученые сказали: «Опыты зоопарка нам показали все, что нужно для соболиного приплода, чтоб получался он не только на воле, а и в неволе».

Навезли соболей со всех концов сибирского края, из Забайкалья, из енисейской тайги, из-за Урала. Вот они, звери! Нате, плодите! И выросли в Пушкине, под Москвой и в других частях СССР соболиные звериные совхозы.

В совхозе тот же ученый глаз следит за зверьем. В клетках по одному сидят соболя. И тамошние люди знают, что соболиный гон в июле, что девять месяцев будет носить соболюшка, знают, что долой самца, пока мать с детьми, знают, какой сколотить ей домик, что ей надо давать, когда носит, и что — когда кормит.

Ни в каком санатории, ни в какой больнице не найдете вы такой образцовой диетической кухни, не найдете такой чистоты, такой аккуратности, разве в аптеке. Ни один доктор, ни одна сиделка своих больных так не знает, как зверовод своих соболей. Он сам пробует пищу, прежде чем ее понесут раздавать соболям. Дают ее в мисочках, десять минут по часам на еду. Кто не доел, все равно убирают. И соболи знают: не доел — пропало.

Зверовод во все глаза следит: почему не доел, почему заскучал, почему не играют ребята. А ребята играют порой не на шутку. Хищному зверю — хищная школа. Молодые соболя резвы в игре, подчас ломают ноги, валятся с гладкого дерева, с гнилых сучков, ломают спины. И тут зверовод начеку. Больного несут в хирургическую. Ни в одной больнице не знают таких операций. Маленький звереныш не скажет, где больно. Мелкие косточки, тонкие, нежные — все это должен знать звериный хирург. Он бинтует, вправляет, кладет шины, кого надо — уложит в постель. Золотой товар — всесоюзной важности. И тончайший уход, неослабный присмотр, а подчас и бессонные ночи — вот чем живет зверовод, хлопоча над совхозом.

А шкурка! Ведь в ней-то все дело. И ученые тонко изучают мех, раздувают, считают пушинки. А что станет, если греть, осветить? А морозить? И вот глядят: молодые в тени вырастают темнее — так нашли в зоопарке. На свету вырастают светлее. Но вырастет шерстка, дайте ей укрепиться; пусть вырастет шерсть и подшерсток, тогда хоть свети, холоди или грей — не изменится шкура. Цвет накрепко станет.

Даже вот что придумали: а ну холодить, обдувать холодом шкуру на живом звере? И вот начали дуть вентилятором соболю в шкурку — два часа ежедневно, чтобы выдуть ему все тепло из-под шерсти, хотя и без того держали зверюшку все время морозно. Получился вот какой толк: чернее стал соболь, и гуще пошли волоски.

Теперь посмотрим, что из всех этих опытов вышло. Взяв зверя близко, под плотный надзор в свои руки, ученые могут сказать, как сделать, чтоб соболь плодился, как сделать, чтоб шерсть была лучше, темнее, светлее, гуще, с серебряным кончиком или наглухо черная, с синим отливом...

ЗВЕРИ-НОВОСЕЛЫ

Когда вы встретите зверовода из любого звериного совхоза, то знайте: это самый занятой человек из всех звериных работников. Вечно в голове у него заботы о пушистых питомцах: тот заскучал, тот заболел, тут мальчата лапы себе поломали, две лисы объелись, а там куница в срок не линяет. Хлопот, забот, тревоги полна голова.

Да и в самом деле: своих детей народить да вынянчить легче, чем навалить на себя всех этих хищных писклят. Стража стоит вокруг совхозов, угрюмые стрелки озабоченно ходят вдоль загородок. Лучшую пищу достают, проверяют, перестраивают клетки, выписывают в больницу лучшие лекарства, заводят ртутно-кварцевые лампы, чтоб заменить нехватку солнца ослабевшим рахитикам. Хлопот, возни, беспокойства!

Да уж так ли это надо?

Довольно, кажется, про этих зверей известно: про лису, про соболя, про куницу. Не проще ли подыскать им подходящее место, вольное, широкое — лес какой-нибудь, мало ли их у нас? Пусть бы там все само росло, что этим зверям для жизни надо. Найти бы такие лесные делянки, выбить там всех волков-хищников и напустить дорогих зверей. А потом уж только смотреть, чтоб не забрел вороватый охотник, не развелся б там волк, не поджег бы кто заповедного леса с драгоценным мехом. Это уже дело проще, держи только крепкую стражу.

И верно. Чего же не попробовать? Подходящие леса нашлись, и уже пробуют — пускают зверя.

С белкой, например, даже не стали возиться в совхозах. Ее быстро изучили, узнали, что ей надо, поняли, почему она сама всем поколением потоком бежит из края в край, узнали, чего она ищет. И стало ясно: жила бы она на Кавказе, эта самая сибирская белка, не будь на пути широких приволжских степей. А белке степь перейти что море переплыть. В степи она пропадет от бескормицы, и выбьет ее степной зверь и птица. Но коли самой ей не перейти, так посадим мы ее на поезд и пассажиркой отправим на Кавказ. Там есть леса; про них уже известно, что они как раз впору для беличьего житья. Да и есть на Кавказе своя белка, только от нее мало проку. Сибирскую белку как ценный пушной товар — вот что надо множить и разводить в лесном хозяйстве. И сибирская белка поехала на Кавказ. На горной высоте тысячи климатов, белка сама выберет, где ей лучше. Пусть бы только поначалу не выбили сдуру несведущие люди весь новый пушной

посев. Она быстро размножится среди елок и кедров, и заселит белка кавказские высоты, как и сибирскую тайгу.

А вот что делать, коли зверя губит новый климат? А там, где климат ему хорош, не растет то, что ему годно в пищу?

Что ж, коли зверя не подтянешь к зарослям, давайте заросли подтянем к зверю. Может быть, они согласятся расти в этой нужной для зверя погоде? Что ж, можно и так. И как пчеловод разводит цветущий луг для пчел вокруг пасеки, так и мы можем насадить деревьев и кустарников, нужных для ценного зверя. Да, и на такой путь готово стать наше пушное хозяйство: подтянуть к зверю все травы, леса и кустарники, где ему привольно будет жить.

Все это: где зверю привольно, где трудно, что нужно, что вредно, — все это удалось узнать ученым трудом, зорким досмотром и тысячами опытов совхозов и зоопарка. Но смотрите, такая смешная и обидная штука: северный олень — лопарская корова, — которого, кажется, знали, к которому привыкли не меньше, чем к домашнему петуху, — этого оленя хотели устроить жить в нашем морозном и снежном крае, в Московской области. Оказалось, что северный олень — это два зверя на тех же четырех копытах. Один зверь — летний, другой — зимний. Зима и лето на его заполярной родине так резко разнятся, что весь зверь — северный олень — перерождается по этим двум сезонам. Зимой кровь, все соки, пищеварение, весь его жизненный режим — все другое. Он живет и дышит иначе.

Зимой северному оленю нужен тамошний, тундровый, мох — ягель. Он острыми копытами раскапывает заполярный снег и жадно начинает глодать из-под снега мерзлый тундровый мох. Он найдет его всюду: на бегу, на дороге. А поставьте вы этого оленя зимой в стойло на душистое сено, на самые разлучшие парные коровьи корма — ничто, ничто не мило зимнему оленю; он отощает, захиреет и сдохнет тут же на лучшем сене, у сытных кормов. Зимнему северному оленю давайте ягель. И пока мы не вырастим ягеля в наших местах, не привозите к нам этой заполярной коровы.

И вот, когда ученые в зоопарке стали пристально исследовать жизнь зверей и птиц, они натолкнулись на чудо. Оказалось, что северный житель, глухарь, морозит себе ноги на зимнем морозе, а с виду изнеженный южный франт, фазан, на самом крепком морозе ходит босиком, и хоть бы что — лапы целы. У этой южной птицы лапы голые, а у глухаря-мужичка они в перьях, будто в валенках. Спасает он эти свои ноги тем, что засовывает в снег, — там теплей и укрыто от ветра.

В чем же дело? Фазанья кровь оказалась более морозостойкой, она не застывает натвердо при этом морозе, когда каменеет кровь в лапах глухаря. А ведь, казалось бы, ни за что не поверить, что нежный фазан, кавказский житель, с своим тонким цветистым хвостом, крепче глухаря, этого медведя среди птиц.

Ученые додумались: ведь это не один случай. И не только в птичьем царстве неожиданно приходится наталкиваться на ту врожденную приспособленность живого организма, которая вовсе ему не нужна в привычных условиях его жизни. Кто бы мог подумать, что нежнейший тропический цыпленок — маленький страус — не побоится соро-

каградусного мороза? Кто бы сказал, что завзятый хищник — лиса — будет жить на коровьих кормах, лишь с маленькой мясной приправкой, казалось бы, лишь для вкуса? Белый медведь родится и живет на льду, плавает в мерзлой воде и обходится на лютом ветру и морозе без всяких берлог. Кто бы подумал, что он вынесет московское лето, когда жара в иные дни бывает 30° С в тени? Оказывается, ничего. Пережил, не сдох, хоть — что говорить — трудненько приходилось.

И вот наука стала исследовать, где крайние пределы каждого зверя и птицы, пределы жары и холода, в каких они могут жить, пределы пищи: по количеству мяса — хищникам, свежей травы — жвачным. И много, много вопросов об этих крайних пределах решают сейчас ученые. Они ставят опыты не только в зоопарке, они пробуют селить животных в разные климаты, на разные высоты, среди всяких кормов и зорко наблюдают, как живется зверю на этом новоселье: все так же ль зверь плодится, так же ль на нем шерсть, не стал ли хиреть и не пустился ли в бега с этих новых мест.

И вот только узнав эти пределы, за которые нельзя заходить — так, например, пределы мороза и жары, — вот только тогда без риска, не боясь погубить новосела, можно расселить зверя, распределять его по Союзу, по всей земле.

Да, много неожиданностей, заложенных в живом организме, пришлось открыть уже немолодой теперь науке биологии. Какие возможности еще таятся в этом живом организме! Вон фазанья какая оказалась крепкая кровь, какую неожиданную стойкость она выставила против мороза! Ну, а кровь-то — ведь ее вырабатывает организм, весь, всей своей деятельностью он участвует в этом. А может быть, организм станет вырабатывать другую кровь, другие жизненные соки, когда того потребует борьба не на жизнь, а на смерть?

Этого ученые еще не раскрыли. Они осторожно подходят к этим вопросам и зорко приглядываются. И вот смотрите, что затеял один зверовод в Америке. Он разводил маленького зверька с шкуркой большой цены. Она идет на мех — он редкость в пушнине. Зверька этого зовут шиншилла. И все твердо знали, что живет зверек в горах, на высоте четырех-пяти тысяч метров, у границы горных снегов. Спустите его в долину — он захирел и подох. И все твердо знали: четыре тысячи метров — это его предел.

Но зверовод сделал опыт. Не в долину, а всего на тысячу метров вниз спустил он зверька с его высоты. На трех тысячах метров поставил зверовод свое новое хозяйство и стал следить. И что же: зверек жил и плодился. Прижился.

Но не оставил в покое зверовод своих переселенцев. Через год он сдернул их еще на тысячу метров ниже. На двух тысячах метров высоты поселил шиншиллу неугомонный зверовод. И что же: и эта высота не показалась смертельной горному зверю. Даром что на два километра вверху остался, как говорили, предел шиншилловой жизни. Так вот извольте: теперь зверьки живут и плодятся в долине. Стер зверовод все эти пределы смелым упорством.

Конечно, если упорно и смело держать под водою собаку хоть четверть часа, можно считать, что она пропала. Смелость при этом

переселении была в том, что зверовод позволил себе усомниться: точно ли уж так святы эти пределы? Упорство же в том, что не сразу, а в четыре года свез он шиншиллу от горных снегов в долину, где жарче, давление выше и гуще воздух, которым приходилось дышать горным зверькам.

Что выставил против новых условий этот маленький живой организм? Как мобилизовался, какие новые соки, какую кровь выработала эта маленькая зверюшка, сказать мы не можем. Может быть, не так уж святы эти «пределы», может быть, надо знать, надо найти способ, как их перейти. Наука не знает пока всех скрытых от нее сил и возможностей живой жизни.

Осторожно, страничка за страничкой, перелистываем мы страницы этой мудрой книги — изучение жизни. Может быть, наконец мы узнаем, что надо, чтобы вспыхнули те дремлющие силы в живом организме, которые только веками, медленным, упорным огнем переплавляют один вид животного в новый, снабжают его новым вооружением против новых условий, возникающих вокруг него на земле.

Когда мы подойдем поближе к этому делу — кто знает! — быть может, переродим и оленя, и корова с ветвистыми рогами, с милой пушистой шерстью будет пастись в украинских степях, и мы будем доить густое, сладкое молоко северного оленя в наших южных совхозах.

ОТВЕТ ПИСАТЕЛЯ БОРИСА ЖИТКОВА ВИТЕ ДЕЙКИНУ

По поводу твоего рассказа, Витя, мы можем вот что сказать.

Ты кое-что читал про доисторических людей и знаешь, что они одевались в звериные шкуры, били зверей, собирали дикие плоды, жили в пещерах и что лица их были покрыты слоем грязи и копоти. Из этого рассказа не сваришь, как не сваришь из топора борщ. Люди поученей тебя и то мало что знают о жизни доисторического человека, а только лишь догадываются чуть-чуть. И если уже пишут рассказ из доисторической жизни, то для того только, чтобы легче было читать их научные исследования и чтобы люди могли безо всякой натуги и скуки научиться. Поэтому редакция наша считает, что ребятам браться за такие темы не стоит.

Это про тему. А теперь насчет самого рассказа.

В чем там все дело-то? Вышли два мальчика из пещеры. Смотрят: на льдине по реке плывет носорог. А ты здорово уверен, что носорог мог попасть на льдину? Или уж если доисторический носорог, да на доисторическую льдину, да по доисторической реке, то уж тут все может быть, как в диком сне? Ну ладно. Пусть плывет. Из брюха у носорога кровь струей. Читатель думает: «Во! Начинается. Сейчас

они, мальчики эти доисторические, возьмут да и...» А мальчики ничего. Повернули да домой, в пещеру. Пришли взрослые. Ну, может быть, взрослые расскажут, как там дальше с носорогом было? Встретили, может быть, перехватили льдину? Нет! Охотники принесли северного оленя и накормили мальчиков. Значит: видели носорога на льдине, пошли домой и наелись оленя и «забыли», что они «видели». Это в наше время перенести: вышел я из дому, смотрю, тетерев летит. Я пошел домой, наелся борща и спать лег. Вот и весь рассказ.

Но пусть так. Неудача, загнул чересчур. Не беда! А вот что самое худшее. Рассказ твой не доисторические времена напоминает, а самые недавние: книжку Д'Эрвильи «Приключения доисторического мальчика». Там тоже из пещеры выходит доисторический мальчик, тоже видит, ну не носорога, а мамонта. И там ноги мамонта попали в трещину льдины как в западню. Ты попросту чуть-чуть переиначил отрывок из «Приключений доисторического мальчика» и решил, что сочинил рассказ. Ты думаешь, если я в чужом рассказе про девочку, скажем, Катю заменю ее имя на Машу, а вместо реки поставлю озеро, то вот и готов мой собственный рассказ?

Ты только не думай, что это с тобой одним так: нам в редакцию каждый день ребята шлют списанные из книг рассказы и стихи, иной раз и вовсе не переиначенные, и думают, что вот какое я сочинил.

Ты лучше пиши не про доисторическую жизнь, которой ни ты, никто другой не знает толком, а пиши из своей жизни, которой ты живешь, где ты все знаешь точно. И уж тут тебе никто не укажет, что это, мол, невероятно, так не бывает: тут ты поспоришь и докажешь: сам был, сам видел, со мной было, в наших местах.

А ты носорога на доисторическую льдину посадил. И то из книжки. Не стоит, Витя!

ПРАВДА ЛИ?

Ответ писателя

Такой вопрос часто от ребят слышишь: правда ли то, что написано в рассказах? И когда скажешь, что в точности этого не было, то сейчас же рукой махнут: о, значит, враки, враки! И многие даже обижаются на писателя. Писал, как будто и в самом деле так было, а на поверку тебе: все, оказывается, враки одни.

Теперь смотрите. Вот написали нам ребята, что им понравился мой рассказ «Черные паруса». А там рассказана история с запорожским казаком Грицко, и вся эта история происходит три с половиной века назад. Ясное дело: видеть этого Грицко я не мог, да и корабли такие на морях уж не плавают, и людей в Константинополе не продают. Так что вы думаете: выдумал я это все? Нет, не выдумал. Я узнал по

старинным рисункам и по описаниям, какие были тогда корабли. Прочитал несколько книг про тогдашние порядки на судах, про то, как на них работали, как управляли, какие случаи бывали в пути. Узнал из английских книг историю венецианского флота, жизнь галерников, и много-много пришлось перечитать и пересмотреть, пока не представилась в голове картина жизни того времени.

Я мог бы, конечно, сделать выписки из разных книг, перерисовать старинные картинки и чертежи — и все это собрать в одну книгу. Но читать мои выписки мало кому было бы интересно. Надо все, что я узнал про тогдашнюю жизнь, пустить в ход, заставить одно с другим сталкиваться, переплетаться. Как это сделать? И вот я решил взять один случай, которых было множество. Ни одного случая от начала до конца я не знал, и узнать мне было неоткуда. Но зато я уже знал, что могло быть тогда и чего не могло. И вот я описал такой случай, когда все шло так, как могло тогда идти, и это не «враки». А вот если б в те времена у меня вдруг выплыл из-за мыса дредноут в сорок тысяч тонн или Грицко домой улетел на самолете, то это были бы настоящие враки. Или казака моего звали бы не Грицко, а Фердинанд.

Теперь про другие рассказы. В рассказе «Компас», который вам нравится, почти точно описано то, что было со мной и моим товарищем Сережей. Его потом за другое такое же дело сослали на каторгу. Революция его освободила. Он теперь в Сибири директором средней школы.

Описывая этот случай, я рассказал не все, что с нами было: я сильно сократил, всякие мелочи выкинул, они самой сути-то не изменили бы, а читать их было бы не интересно никому, разве нам с Сережкой, но мы и без того знаем.

Про матроса Ковалева. Я тут два случая свел в один. Судно действительно так перевернуло, и это было у одесских берегов, на Черном море. А с таким хозяином-греком я плавал, и таких было множество, думаю, и сейчас они остались еще за границей, остальных съел кризис. Наверно, они разорились и продали свои суда на слом. А вернее, застраховали в хорошую сумму и нарочно утопили, чтобы получить страховые деньги. Ковалева я тоже не выдумал, а это мой даже приятель был такой, фамилия его только не Ковалев, а Коваленко. Он не такие еще штуки отчесывал.

Про «Марию и Мэри» — это тоже не выдумано, а такой случай был. Конечно, я не слыхал, что говорили на паруснике и что говорилось в это время на пароходе. Но таких хозяев-украинцев было полно в Херсоне, на Голой пристани, в Збурьевке, на Днепре. И английских капитанов я таких много видел. Какой именно тот был, что разрезал парусник, я не знаю. Но уверен, что он не очень отличался от тех, каких я знал. Так что ни капитана, ни шкипера-украинца я не выдумал, случай тоже не выдуманный, а только я все это свел вместе. А вот индейцев я ни одного в своей жизни не видал. И как я могу писать про них? И если я начну писать про то, чего не знаю, — это вот будут подлинные враки.

МОЯ НАДЕЖДА

Комсомолу вверена детская литература. Вверено сильное орудие внешкольного воспитания.

Мне думается вот что: взрослые наглухо забывают свое детство. И потому забывают, что им трудно представить себе ощущения растущего человека, который не тот уже сегодня, кем был вчера; когда за месяц, бывает, перевернется мир в его глазах и все засветит по-новому, будто солнце взошло с другой стороны. Взрослому не понять: как это всего хочется сразу? Почему вдруг из теплого дома потянуло удирать в тайгу, укравши со стены одностволку и пять патронов? Почему вчера хотелось стать летчиком, а через неделю — «уйти, где диких зверей ловят»? Нет, у взрослого все это вызовет иногда снисходительную улыбочку, а по правилу — он брови сдвинет и крикнет, чтобы «бросил дурь»...

И вот помню, что выходило: всем взрослым дядькам, скажу правду, верили мы, мальчишки, меньше, чем парнишкам, которые года на три были старше нас. На дядек падало всегда подозрение, что они все только и норовят свою взрослую линию гнуть, а то и наврут, гляди, нарочно, чтобы по-ихнему только выходило: а ихнее все тугое, да пресное, да лишь бы к делу, да к месту, да вовремя. Нет, дядькам мы не верили, во всяком случае этому старшему парнишке и веры больше было — ему-то чего лукавить? Свой ведь брат, и слушались мы такого больше, чем родителей. И мог такой парнишка нас, ребятишек, толкнуть на что хотел. На преступление мог толкнуть и на добро навести. Он сам вчера, можно сказать, стекла бил и назло кусты ломал и знает, из-за чего все это затевается. Ему нечего резоны нам приводить и разводить рацеи, он точно знает пути, по которым течет эта буйная, озорная и смелая жизнь растущего человека, и он может мигом вправить ее в нужное русло: механика этой жизни не забыта, она живет в нем самом.

К комсомолу я обращаюсь с этой моей надеждой: в нем крепче память растущей жизни, ему больше, чем взрослому, должны быть ведомы пути, какими парнишка покоряет и направляет ребячьи умы и сердца.

ПОВЕСТИ
И
РАССКАЗЫ



ПРО ВОЛКА

Дикий зверь

У меня был приятель-охотник. И вот раз собрался он на охоту и спрашивает меня:

— Чего тебе привезти? Говори — привезу.

Я подумал: «Ишь хвастает! Дай загну похитрей чего-нибудь» — и сказал:

— Привези мне живого волка. Вот что.

Приятель задумался и сказал, глядя в пол:

— Ладно.

А я подумал: «То-то! Как я тебя срезал! Не хвастай».

Прошло два года. Я и забыл про этот наш разговор. И вот раз прихожу я домой, а мне в прихожей уж говорят:

— Тебе там волка принесли. Какой-то человек приходил, тебя спрашивал. «Он волка, — говорит, — просил, так вот передайте». А сам к двери.

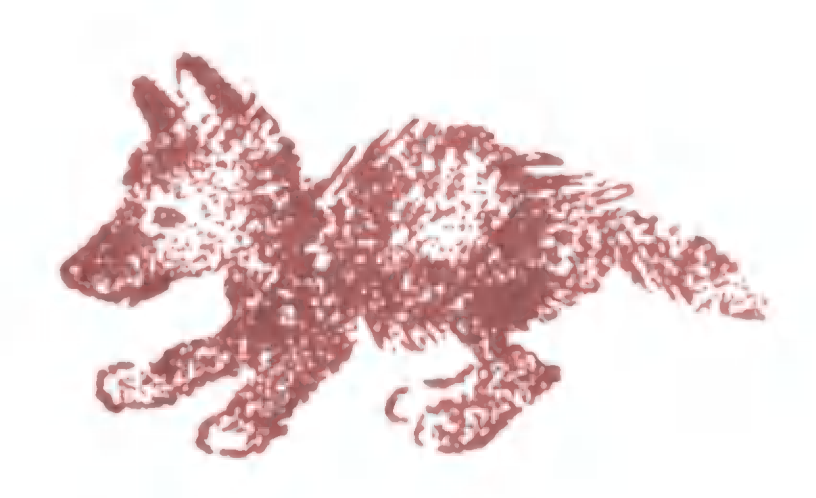
Я, шапки не снимая, кричу:

— Где, где он? Где волк?

— У тебя в комнате заперт.

Я был молодой, и мне стыдно казалось спрашивать, как он там сидит: связанный или просто на веревке. Подумают, что трушу. А сам думаю: «Может быть, он ходит по комнате, как хочет, — на свободе?»

А трусить я стыдился. Набрал я воздуху в грудь и дернул в свою комнату. Я думал: «Сразу-то он не бросится на меня, а потом... потом уж как-нибудь...» Но сердце сильно билось. Я быстрыми глазами оглядел комнату — никакого волка. Я уж обозлился — надули, значит, подшутили, — как вдруг услышал, что под стулом что-то ворочается. Я осторожно пригнулся, поглядел с опаской и увидел головастого щенка.



Я вот говорю — увидел щенка, но сразу же было видно, что это не собачий щенок. Я понял, что волчонок, и страшно обрадовался: приручу, и будет у меня ручной волк.

Не надул охотник, молодец: привез мне живого волка!

Я осторожно подошел, — волчонок стал на все четыре лапы и насторожился. Я его разглядел: какой он был урод! Он почти весь состоял из головы — как будто морда на четырех ножках, и морда эта вся состояла из пасти, а пасть из зубов. Он на меня оскалился, и я увидел, что у него полон рот белых и острых, как гвозди, зубов. Тело было маленькое, с редкой бурой шерстью, как щетина, и сзади крысиный хвостик.

«Ведь волки серые... А потом, щенята всегда бывают хорошенькие, а это дрянь какая-то: одна голова да хвостик. Может быть, и не волчонок вовсе, а просто для смеха что-нибудь. Надул охотник, оттого и удрал сразу».

Я смотрел на щенка, а он пятился под кровать. Но в это время вошла моя мать, присела у кровати и позвала:

— Волченька! Волченька!

Смотрю, волчонок выполз, а мать подхватила его на руки и гладит — чудище этакое! Она его, оказывается, уже два раза поила с блюдца молоком, и он сразу ее залюбил. Пахло от него едким звериным запахом. Он чмокал и совался мордочкой маме под мышку.

Мать говорит:

— Если хочешь держать, так надо его мыть, а то вонь будет от него на весь дом.

И понесла его в кухню. Когда я вышел в столовую, все смеялись, что я таким героем ринулся в комнату, будто там страшный зверь, а там щенок.

В кухне мать мыла волчонка зеленым мылом, теплой водой, а он смирно стоял в корыте и лизал ей руки.

Как я учил волка «тубо»

Я решил, что сызмальства надо начать волчонка учить, а то, как вырастет большой зверь, с ним уж тогда ничего не поделаешь. Вот он еще маленький, а зубищи уж какие во рту. А вырастет — держись тогда. «Первое, — думал я, — надо научить его «тубо». Это значит «не тронь». Чтоб как крикну «тубо», так чтоб он даже изо рта выпускал, что схватил.

И вот я взял волчонка в свою комнату, принес плошку с молоком и хлебом, поставил на пол. Волчонок потянул носом, учуял молоко и заковылял на лапках к плошке. Только он сунул морду в молоко, я как крикну:

— Тубо!

А он хоть бы что: чавкает и урчит от радости.

Я опять:

— Тубо! — и дернул его назад.

И вот тут он сразу как рявкнет на меня, голову повернул, зубами

щелкнул — как молнией ударил. И так по-лесному, по-звериному вышло у него, что меня на один миг жуть взяла. Я от взрослой собаки такого не слышал, — вот оно что значит волк-то...

«Ну, — думаю, — если он с малых лет так, то что же потом-то? Не подойти тогда уж, прямо съест. Нет, — думаю, — надо его страхом взять, пусть он привыкнет бояться моей руки».

Я снова крикнул «тубо» и стукнул кулаком волчонка по голове.

Он ударился челюстью о плошку и взвизгнул, совсем по-ребячьи. Но он не мог оторваться от молока, облизнулся и снова в плошку.

Я крикнул не своим голосом:

— Тубо, дрянь этакая! — и опять ударил кулаком.

Волчонок отскочил от плошки и заковылял на тонких лапках вдоль стенки. Бежал и тряс от боли головой. С мордочки текло молоко, и он выл обиженно.

Обежал по стенке всю комнату, и ноги сами понесли его к молоку.

Хоть мне было стыдно, что я ударил так сильно такого маленького, но я все же решил настоять на своем.

Как только волчонок начал есть, я снова крикнул «тубо». Он наспех огрызнулся и залакал скорее. Я стукнул его кулаком. Он завыл, бросился, и я не успел его схватить, как он уж отворил мордой дверь и стремглав побежал вон. Он побежал к матери, сунул ей в юбку мокрую морду и заскулил громким голосом на всю квартиру.

Все сбежались, стали гладить волка, а меня ругали, что я мучаю такого маленького.

Маме он всю юбку запачкал молоком и заслюнявил.

Потом он целый день бегал за матерью, а меня так все заругали, что я пошел гулять.

Я на всех дома обиделся. Я думал: «Им хорошо говорить: «Волченька, миленький да бедненький», а вот когда вырастет зверище-волчище с громадными зубами, тогда все в доме начнут кричать: «Гляди, что волчище наделал! Твой волк, девай его куда хочешь». Тогда все на меня будут валить. «Завел, — скажут, — зверя в доме, теперь и расхлебывай». И я решил, что уеду из дому, найму себе маленькую квартирку и буду там жить со своей собакой, с кошкой и с волком.

Я так и сделал: нашел комнату с кухней, нанял и переехал с моими зверями на новую квартиру.

Надо мной смеялись:

— Скажите, Дуров какой у нас завелся! Со зверями будет жить.

А я думал: «Дуров не Дуров, а волк ручной у меня будет».

Собачка у меня была рыженькая, маленькая. Она была потайного и ехидного характера. Звали ее Плишка. Плишка была чуть побольше волчонка. Волчонок, как ее увидал, побежал к ней, хотел поиграть, повозиться. А Плишка ощетинилась, оскалилась, как огрызнется:

— Р-раф!

Волчонок испугался, обиделся и побежал искать мою мать, но я уже жил один. Он скулил, бегал по комнате, искал в кухне и прибежал наконец ко мне. Я его приласкал, посадил рядом с собой на кровать и позвал Плишку. «Дай, — думаю, — я вас примирю». Я заставил Плишку лечь рядом с волчонком. Она, дрянь, все время

подымала губу, показывала зубы и шепотом ворчала — ей, видно, противно было лежать рядом с волчонком. А он пробовал ее нюхать, даже лизнул. Плишка дрожала от злости, но куснуть волчонка при мне не смела.

«Ну, — думаю, — как же я их одних-то дома оставлю, как пойду на работу? Заест волчонка Плишка, закусает». И я решил взять утром Плишку с собой. Она была очень муштрованная, и утром на службе я повесил на вешалку пальто, а Плишке сказал, чтоб стерегла и не сходила с места. Когда мы с Плишкой вернулись домой, то волчонок так обрадовался Плишке, что бросился к ней со всех своих кривых ножек и с размаху сбил собаку и навалился на нее. Плишка пружиной вскочила, и я крикнуть не успел — она цап волчонка за ухо. Но тут вышло не то: волчонок как рявкнет и так лязгнул зубами — быстро, как молния, — что Плишка кубарем в угол, прижалась и, рот раскрыв, рычала испуганным хрипом.

Кошка Манефа важно вошла в двери посмотреть, что за скандал. Волчонок тряс больным ухом и бегал по комнате, на все натыкался крепким лбом. Манефа на всякий случай вскочила на табурет. Я боялся, что ей придет в голову сверху царапнуть волчонка. Нет. Манефа уселась поудобней и только следила глазами, как метался волчонок.

Я принес с собой овсянки и костей для волка и отдал дворничихе Аннушке сварить.

Когда она принесла горячий котелок, то сейчас же заметила волчонка:

— Что это собачка какая безобразная? — И присела на корточки. — Это какая же порода будет?

Я не хотел, чтобы в доме знали, что есть волк, и думал, что бы такое соврать, как тут Аннушка пригляделась и говорит:

— Уж не волчонок ли? Да верно ведь волчонок. Ах бедный ты мой!

Смотрю, уж гладит его. Я сказал:

— Аннушка, пожалуйста, никому не надо говорить. Я хочу вырастить, пусть ручной будет.

— Да мне зачем же рассказывать, — говорит Аннушка, — а только, знаете, говорится: сколь волка ни корми, а он все в лес глядит.

И я договорился с Аннушкой, что она будет у меня прибирать и варить, а волку варить варево из овсянки с костями каждый день.

Я дал всем зверям есть, каждому в своем углу, каждому из своей кормушки. Волчонок чавкал своей овсянкой, а Плишка свое быстро сожрала, оглянулась на меня. Я в зеркало следил за ней, а она этого не понимала и думала, что я сзади ничего не увижу. И вот я вижу в зеркале, как она по стене тихонько крадется к волку. Еще раз оглянулась на меня и втихомолку подворачивает на волка. Оскалилась всем ртом, глазищи злые и надвигается шаг за шагом.

«Ну, — думаю, — залезь ты ему в кормушку, вытяну я тебя ремнем, будешь знать. Все вижу, голубушка».

Но вышло иначе. Только Плишка сунула морду к кормушке, волк — врык! — и лязгнул зубами, да не мимо, а прямо Плишку за морду. Она отскочила с визгом, и тут с ней сделался прямо-таки припадок: она носилась по комнате, по кухне, кидалась в прихожую и так

отчаянно выла, будто на ней вся шерсть огнем горит. Я ее звал, но она делала вид, что не слышит, и только поддавала визгу еще пронзительней. А волчонок чавкал в своей плошке. Я ему подлил туда молока, и он спешил, лакал, только дух успевал переводить. Я выгнал Плишку на двор и во дворе слышал, как она пробовала скандалить.

Все соседи думали, что я нечаянно ошпарил собаку кипятком.

А волка я каждый день учил «тубо». И теперь дело двинулось вперед: только я крикну «тубо», волчонок стремглав бежал прочь от кормушки.

Собаки скандалят

Я каждый вечер ходил со зверями на прогулку. Плишка была приучена бежать рядом с правой ногой, а Манефа сидела у меня на плече. Улицы были около моей квартиры пустынные и, правду сказать, места воровские — народу попадалось мало, и некому было пальцем показывать, что вот идет взрослый мужчина с кошкой на плече. И вот я решил теперь пойти гулять вчетвером — взять с собой волка. Я купил ему ошейник, цепочку и пошел вечером по улице: волчонок ковылял с левой стороны, но его приходилось подергивать за цепочку, чтоб он шел рядом. Думал, нас никто не заметит. Но вышло не так: нас заметили и подняли скандал. Только не люди, а собаки.



Первая попалась маленькая собачонка. Плишкина знакомая. Она разбежалась было к нам, но вдруг насторожилась, зафыркала и стала красться за волчонком, нюхать след. Потом бросилась в свои ворота и оттуда таким залилась тревожным лаем, что во всех дворах отозвались собаки. Я никогда и не думал, что столько собак на нашей улице. Собаки стали выскакивать из ворот, встревоженные, ощетинились и со злым испугом издали надвигались на волка. А он жался к моей ноге и вертел своей лобастой мордой. Я уж думал: не взять ли мне волчонка на руки да не повернуть ли домой, пока собаки не бросились на него? Из ворот уж стали высовываться люди, глядеть, что случилось. Плишка снизу заглядывала мне в лицо: что же, дескать, делать? Какой, значит, переполох из-за этого чучела мордатого! Но я уж не боялся: собаки ближе трех шагов не решались подойти к волчонку. Каждая провожала нас лаем до своего дома и пятилась задом в свои ворота.

Успокоился и волк. Он уже не вертел головой, а только не отставал и бежал, плотно держась у моей ноги.

— Что, — сказал я Плишке, — наша взяла?

Мы вышли на людные улицы, где собак не было, а когда возвращались, уже все ворота были на запоре и собак на улице не было.

Но Волчик очень радовался, когда пришел домой. Он стал возиться, как щенок, повалил Плишку, валял ее по полу, а она терпела и не смела при мне огрызаться.

Вырастает

А на другой день, когда я возвращался, я увидел на дворе Аннушку: она в лоханке стирала белье, а около нее, свернувшись клубочком, грелся на солнце волчонок.

— Я его на солнышко взяла, — говорит Аннушка. — Уж что в самом деле, и свету животное не видит.



Я позвал:

— Волчик! Волчик!

Он нехотя встал, расставил ноги, как поломанная кровать, и стал потягиваться, совсем как собака. Потом вильнул своим веревочным хвостиком и побежал ко мне.

Я так обрадовался, что он идет на зов, что сейчас же без всякого «тубо» скормил ему сдобную булку. Я хотел уже взять его в комнату, тут Аннушка говорит:

— Как раз кончила, а вода осталась, давайте-ка я и его. А то дух от него уж очень волчий.

Подхватила его под мышку и поставила в лохань. Она его мыла как хотела, и он стоял смешной, весь в белой пене. Он даже ни разу не зарычал на дворничиху, когда она его обдавала теплой водой начисто. С тех пор его мыли каждую неделю. Он был чистый, шерсть стала блестеть, и я не заметил, как уж хвост у волчонка из голой веревки стал пушистым, сам он стал сереть и обратился в хорошенькую веселую собачку.



Бой с Манефой

И вот раз кормил я моих зверей, и Манефа, сидя на табурете, доедала рыбешку. Волчонок кончил свое и полез к кошке. Он стал лапками на табурет и потянулся мордой к рыбе. Я не успел крикнуть «тубо», как Манефа зашипела, хвост веником и — раз! раз! — надавала волку по морде. Он завизжал, присел и вдруг бросился настоящим

зверем на кошку. Все это было в одну секунду: волк опрокинул табурет, но кошка подпрыгнула на всех четырех лапах и успела рвануть его когтями по носу, — я боялся, чтоб не выцарапала глаза. Я крикнул «тубо» и бросился к волку. Но он уж сам бежал ко мне, а кошка наскакивала сзади и старалась процарапать сквозь шерсть. Я стал гладить и успокаивать волчонка. Глаза были целы, — оказался порядочный шрам на носу. Шла кровь, и волчонок зализывал языком больное место. Плишка во время боя скрылась. Я с трудом вызвал ее из-под кровати. Там была лужа.

Вечером волк лежал на подстилке. Манефа — хвост трубой — королевой разгуливала по комнате. Когда проходила мимо волка, он рычал, но она и головы не поворачивала, а спокойно терлась о мою ногу и мурлыкала на сытое брюхо.

«Особой породы»

В доме уж все считали, что у меня две собаки. И когда спрашивали про Волчика, я говорил, что это овчарка, мне подарили, — особой породы.

Но вот раз ночью я проснулся от странного звука. Мне спросонья показалось сначала, что пьяный ревет за окном. Но потом разобрал я, в чем дело. Волк. Волк завыл...

Я зажег свечку. Он сидел среди комнаты, подняв к потолку морду. Он не оглянулся на свет, а выводил ноту, и такую лесную звериную тоску выводил он голосом на весь дом, что делалось жутко.

Вот тебе и «овчарка особой породы». Этак он весь дом перебудит, и уж тут не скроешь, что волк. Пойдут охи, ахи: «Волк во дворе». Все хозяйки заскандалят и выгонят меня завтра же вон из дому с моими кошками и овчарками. Наверху генеральша живет, злая и вздорная. «Помилуйте, — скажет, — живешь, как в лесу, всю ночь волки воют. Благодарю покорно». Это я все знал наверное, и надо было сейчас же прекратить этот вой.

Я вскочил, присел к волку, стал гладить, но он глянул на меня и снова запрокинул голову.

Я дернул его за ошейник и повалил на пол. Он как будто опомнился, встал, встряхнулся, зазвонил пряжками. Я побежал в кухню и достал толстую кость из супа. Волк улегся на подстилке и стал грызть. Грыз он своими белыми зубами большие воловьи кости, как сухари. Только хрустело. Я потушил свечу, стал было засыпать, — как дернет мой волк ноту, крепче прежнего. Я быстро оделся и вытащил волка на двор. Я стал с ним играть, бегать по двору. И я заметил тут, ночью, что, не зная, я принял бы его за порядочного дворового пса. И вот никто не замечал: пес мой не лаял. Беда, если узнают, что он по ночам воет!

Теперь мне ночью не стало покоя. Я по часу, бывало, сидел и уговаривал волка, я его занимал, совал ему кости, чтоб как-нибудь он забыл про вой. Я за ним ухаживал, как за больным, у которого бы-

вают припадки. Недели через две он бросил выть. Но за это время мы с ним сдружились. Когда я возвращался домой, он ставил мне на плечи лапы, и я чувствовал, какие они крепкие у него — как железные палки. Я с ним гулял днем, и все смотрели на большую собаку с особенной походкой. Когда он бежал, он так легко пружинил задними ногами; он умел смотреть назад, совсем свернув голову к хвосту, и бежать в то же время прямо вперед.

Узнали

Он был совсем ручной, и знакомые, когда приходили, гладили его и трепали по спине, как простую собаку.

И вот раз сижу я в парке на скамейке. Меж коленями у меня уселся на земле волк и дышит жарким духом, свесив длинный язык через зубы.

Маленькие дети играли в песке, а няньки на скамейке лузгали семечки.

Ребята стали подходить ко мне.

— Какая хорошая собака! Пушистая и язык красный. Не кусается?

— Нет, — говорю. — Она смирная.

— Можно немножко погладить?

Я сказал волку «тубо». Он уж это хорошо знал, и дети, кто посмелее, стали осторожно гладить. Я гладил заодно с ними, чтоб волк знал, что и моя рука тут.

Няньки подходили, спрашивали:

— Не укусит?

Вдруг одна нянька подошла, глянет да как заохает:

— Ой, матушки, волк!

Дети взвизгнули, прыгнули, как цыплята. Волк так перепугался, что волчком повернулся на месте, запрятал мне между колен свою морду и прижал уши.

Когда все немного успокоились, я сказал:

— Сами волка напугали. Видите, какой он смирный.

Но уж куда там! Няньки ребят за руку прочь тянут и оглядываться не велят. Только два мальчика, что без нянек были, подошли ко мне, стали на метр и говорят:

— Верно — волк?

— Верно, — говорю.

— Настоящий?

— Настоящий.

— А ну, — говорят, — забожись.

— Ей-богу, — говорю, — настоящий.

— Ага, — говорят, — то-то ты его себе к руке и привязал. Ну, дай еще погладить. Настоящего-то.

Это было действительно так: я цепь от волка привязал ремнем к левой руке — в случае дернется или бросится, уж от меня он не оторвется. Пусть я даже упаду с ног — все равно не уйдет.

Прозевал

Аннушка так приучила волка, что он за ворота один ни за что. Подойдет к калитке, глядит на улицу, носом воздух тянет, нюхает, рычит на проходящих собак, но за порог лапой не переступает. Может быть, сам он боялся один выскакивать.

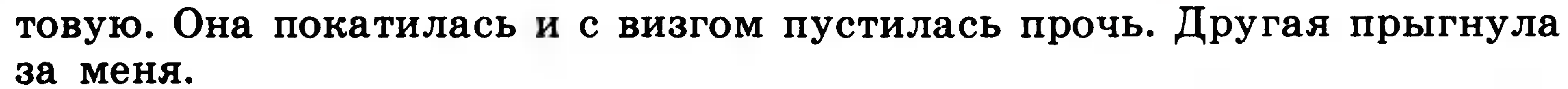
Вот я раз вернулся домой.

Аннушка сидела во дворе, шила на солнышке под окном, а волк у ней в ногах клубком лежал — серая большая животина.

Я окликнул; волк вскочил ко мне. И тут я вспомнил, что не купил папирос. А разносчик стоял в десяти шагах от ворот с лотком. Я выскочил из ворот, волк — за мной. Беру у разносчика сдачи и слышу — сзади собачий лай, рявканье, склока. Оглянулся — ай, беда! Сидит мой волк, прижался в угол ворот, а две большие собаки набросились, приперли его, наступают. Волк головой крутит, глазищи горят, и зубы лязгают, быстро, как выстрелы: хляст! хляст! Вправо, влево!

Собаки напирают, ищут местечка, где б ухватить, и лай такой стоит, что моего крика не слышно. Я бросился к волку. Собаки, видно, поняли, что вот человек бежит им на помощь, и одна бросилась на волка.

Мигнуть не успел, как волк рванул ее за загривок и швырнул на мостовую. Она покатилась и с визгом пустилась прочь. Другая прыгнула за меня.



Волк ринулся, сбил меня с ног, но я успел ухватить его за ошейник, и он проволок меня шага два по мостовой. Лоточник с лотком скорей в сторону. А волк рвется, я на спине барахтаюсь, но ошейника не отпускаю.

Тут выбежала из ворот Аннушка. Она забежала спереди и уткнула волчью морду к себе в колени.

— Пускайте, — кричит, — я уж взяла!

Верно: Аннушка взяла волка за ошейник, и мы вдвоем увели его домой.

Когда я потом вышел за ворота, то увидел кровь. Кровавая дорожка шла через площадь, куда побежала собака. Я вспомнил, что на наш скандал собралось смотреть много народу, а из окон высунулись жильцы. И кто-то кричал:

— Бешеная! Бешеная!

Это кричала генеральша, что жила надо мной.

Беда

Я два дня не выпускал волка во двор, только по вечерам водил его на цепочке гулять. На вторую ночь он завыл, и завыл нестерпимо: громко, как труба, и так отчаянно, так тоскливо, будто ревет над покойником. Мне в потолок постучали.

Я выскочил с волком во двор. Я видел, как в окнах вспыхнул свет, как замелькала тень. Видно, барыня всполошилась.

Наутро я слышал, как во дворе она кричала на дворника:

— Безобразие! Где это позволяют держать бешеных собак в доме? Воет волком по ночам. Всю ночь не спала. Сейчас же заявлю. Сейчас же!

Аннушка принесла овсянку волку вся заплаканная.

— Что случилось? — спрашиваю.

— Да уж чего хуже — скандалит барыня. В полицию, говорит, заявлю! Так дворника этого, мужа моего, значит, вон из дому: укрывает бешеных собак, ни за чем, говорит, не смотрит. А он мне как родной.

— Кто это? — говорю.

— Да Волчик-то! — И присела к нему, гладит. — Кушай, кушай, родименький. Сиротинка моя!

Когда я шел со службы домой, меня на улице остановил полицейский пристав:

— Простите, это вы волка держите?

Я смотрел на пристава и не знал, что сказать.

— Да ведь я давно знаю, — говорит пристав. Ухмыляется и ус покручивает. — Там, видите, жалоба поступила. Генеральша Чистякова. Но знаете, вот что вам посоветую: подарите-ка мне вашего зверя, ей-богу. — И пристав просительно улыбнулся. — Ей-богу, подарите. У меня в имении овцы, а стерегут их овчарки. Вот этакие. — И показал почти на метр от земли. — Так вот от вашего волка хорошие детки будут — злые, первый сорт. И он с собаками сдружится, на воле жить будет. А? Право же. А в городе вам одни скандалы с ним будут. Это уж я ручаюсь, что скандалы будут. — И тут пристав нахмурился. — Вот уж одна жалоба есть: имейте в виду. Так как же? По рукам, что ли?

— Нет, — сказал я. — Мне жалко дарить. Я как-нибудь устрою.

— Ну, продайте! — крикнул пристав. — Продайте, черт возьми! Сколько хотите?

— Нет, и не продам, — сказал я и пошел скорее прочь.

— Так я украду! — крикнул пристав мне вслед. — Слышите: у-кра-ду!

Я махнул рукой и пошел еще скорей.

Дома я рассказал Аннушке, что говорил пристав.

— Берегите волка, — сказал я.

Аннушка ничего не ответила, только насупилась.

На дворе я столкнулся с генеральшей Чистяковой. Она вдруг загородила мне дорогу. Глядит мне зло в глаза, и нижняя губа трясется. И вдруг как стукнет зонтиком об пол.

— Скоро ли мы избавимся от опасности?

— От какой? — спрашиваю.
— От собаки, от бешеной! — кричит генеральша.
— Вас, видно, мадам, покусала, только это не моя.
И я пошел в ворота.

Из плена

Прошло дней пять. Я был на службе. Мне сказали, что меня спрашивает какая-то женщина, и чтоб сейчас, немедленно. Я побежал. На лестнице стояла Аннушка.

— Ой, бегите, — говорит, — скорей бегите: волка нашего пристав в участок взял. Там в полиции сидит.

Я схватил шапку. По дороге Аннушка мне сказала, что пристав приказал дворнику отвести волка в полицию и что дворник не посмел ослушаться: отвел и привязал во дворе в полиции.

Когда я открыл калитку в полицейских воротах, то сразу увидел в конце двора гурьбу народа: городовые и пожарные густой кучей стояли, галдели, вскрикивали. Я быстро пошел через двор и, уж когда подходил, слышал, как кричали:

— Что, серый, попался?

Я протолкался через людей. Волк на цепочке был привязан к кольцу. Он сидел на задних лапах, поджал хвост и огрызался на городовых. Волк первый заметил меня. Он дернулся, вскочил на задние лапы и натянул цепь. Все отпрянули назад. Я снял цепь с кольца и быстро намотал на руку.

Кругом заголосили:

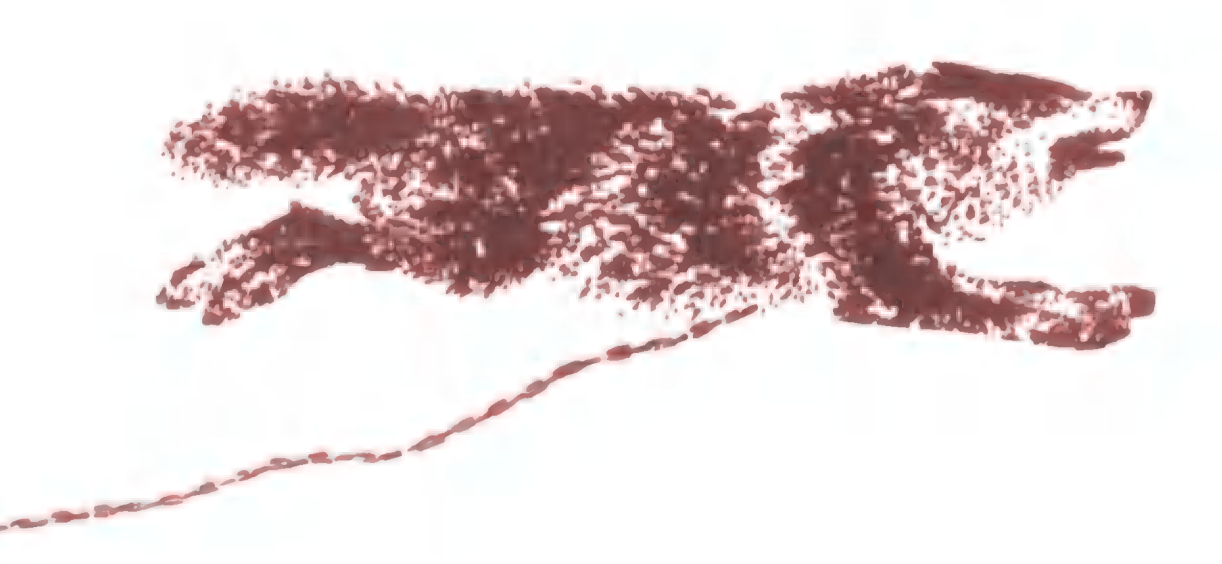
— Куда ты его? Что, он твой?

— А если ты хозяин, так возьми! — крикнул я.

Все расступились. Вдруг кто-то заорал:

— Калитку на запор, скорей!

И один городовой побежал бегом к воротам.



— Стой! Волка спущу! — закричал я на весь двор.

Городовой отскочил и стал.

А волк меня так тянул, что я едва вприпрыжку поспевал за ним. Мы добежали до калитки, я откинул дверь, волк прыгнул через порог и бросился вправо, домой. Сзади засвистели. Мы были уж за углом: Сейчас площадь, а через площадь и наш дом. Я слышал, что сзади

топали ноги, свистели свистки. Но я не оглядывался и бежал. Вот сейчас площадь. Площадь пустая. А вон Аннушка стоит у ворот. Я бросил цепочку, и волк громадными прыжками стал устилать к дому. Аннушка присела на корточки, и я видел, как она поймала его за шею.

Я перевел дух и оглянулся: двое городовых остановились. Один зло плюнул в землю и махнул рукой.

Совсем конец

Я решил переехать в другой район, где этот пристав не начальник и где уж он ничего не значит. Я стал подыскивать новую квартиру. Я корил дворника за подлость:

— Зачем же было уводить волка у меня? За что же гадость мне такую делать?

— Да вы, — говорит, — в мое положение войдите: вам волк — забава, а ведь если я его не приведу, когда велят, это выходит, что с места вон. Я ведь только метлой и могу орудовать. Выгонят — куда пойду? Вы меня, что ли, кормить будете? Разве к вам в волки наняться?

Я уж не знал, что говорить. Ладно, перееду.

Я видал пристава через улицу. Он сделал хитрое лицо и лукаво погрозил мне пальцем. А я ему тоже.

Я купил волку намордник. Он сначала срывал его лапами, но все-таки привык, и теперь в ошейнике, с намордником он был совсем как собака.

Все свободное время я ходил с волком — мы искали квартиру. Я уж совсем нашел, оставалось только переехать.

И вот я раз вернулся домой со службы. В воротах Аннушка в слезах:

— Опять! Опять!

— Что, увели? — И я дернулся, чтоб бежать в полицию, но Аннушка ухватила меня за рукав.

— Без дела пойдете. Увез, увез, окаянный, к себе! Сама видела, как на подводу поклали. Связали — и на сено. А коней не удержать.

Я все-таки побежал в участок. Пристава не было: он уехал к себе в имение.

Я узнал: все было, как сказала Аннушка.

РОМАН МАРКИЗА

Все это я видел своими глазами у себя в сенях и в огороде. Этому уже пятнадцать лет, но забыть не могу.

В сенях над цементным полом я укрепил в углу полку. От стены к стене. На нее по вечерам взлетал мой петух Маркиз и садился рядом с курицей Варькой.



Маркиз был большой, как индюк, черный и блестящий, как китайский лак. Он разжирел за зиму у меня на коленях в ожидании кур. Я клал на него книгу и читал. Мне часто казалось, что гребень у него не природный, — я щупал его рукой, — до того правильный и стойкий: рубиновая корона.

Варьку я принес с базара в мешке. Она была маленькая, белая, как фарфоровая. Она встряхнулась, закудахтала оголтелым бабьим голосом и бросилась на двор.

Маркиз вмиг расправился, как будто в нем раскрылась пружина. Он поднял голову. И вспыхнул глаз. И вдруг он, вытянув шею, пустился вон из комнаты.

Когда я вышел на крыльцо, Маркиз уж топал около Варьки, напруживал черное крыло, скреб им землю — вот искры посыплются. Потом проходил мимо с ярой важностью взад и вперед. Варька клевала, не глядела, по-хозяйски швыряла ногами землю, растопырясь, кидала назад.

К вечеру она ходила королевой. Маркиз, как граблями, разгребал когтями землю, звал к червячку: «Кок, кок». Я кинул горсть кукурузы. Маркиз стерег, Варька глотала. Он не взял ни одного зерна.

Так прошло три дня. И я принес рябую, вихрастую курицу — Мотьку. Варька бросилась на нее. Эта королева кудахтала на нее, как торговка. Мне казалось, что я понимаю каждое куриное слово. Мотька отбежала, паслась на задворках. Но Варька разбегалась и прямо неприлично хлопала крыльями на бегу и клевала Мотьку в голову, в спину, в хвост. Днем я видел, как они уже дрались. И Мотька отклевывалась. Обе подскакивали, как петухи. Но тут Маркиз, выпятив грудь, проходил между ними: авторитетно и категорически.

Настал вечер — и вот что я увидал.

Они теперь, трое, сидели на насесте. Двери в сени были настежь, и моя лампа освещала всех троих — Варьку, Мотьку и Маркиза посредине. Варька потопталась на насесте, привстала и клюнула Маркиза в сережку, в белую сережку, что висели у него с обеих сторон, как у всех Миноров. Маркиз не шевельнулся. Варька изловчилась и еще раз с яростью долбанула мужа в голову клювом. Так, что стукнуло. Маркиз клюнул в голову Мотьку. Мотька приникла. Варька опять привстала



и снова ударила Маркиза. Она долбанула сразу три раза подряд. Маркиз опять стукнул Мотьку. Я не верил глазам. Это повторилось еще два раза. Я вышел в сени и посадил Мотьку хвостом вперед. Минута как будто прошла спокойно. Но Варька снова поднялась. Она коротко кудахтнула и клюнула Маркиза.

Маркиз завернул шею и лениво, по-нарочному, стукнул Варьку в крыло, как по картонке. Варька, видно, не могла этого стерпеть. Она совсем встала на насесте, она балансировала крыльями, чтобы дотянуться до белой серьги. Она была в бешенстве. Она со всей мочи стукнула клювом. И в тот же миг Маркиз долбанул ее в голову, и она шлепнулась на цемент. Она сидела на цементе как была: с растопыренными крыльями, приоткрыв клюв, и смотрела вверх на Маркиза. Варька встала, встряхнулась, сделала два досадливых шага по полу. И вдруг подлетела и села на место. Маркиз, уже вобрав шею в плечи, устроился на ночлег.

Я повернул Мотьку головой вперед.

Назавтра куры не дрались, клевали рядом, и Маркиз копал обеим жучков и червей.

И вот раз ранним утром я скручивал у окна папироску и глядел в мой огород. Только что пробилась морковка. И вдруг на плетне — Маркиз. Он никогда этого не смел, — может быть, потому, что его дамы не могли одолеть барьера. Я хотел зашикать на петуха, но он уж слетел вниз: он торопливыми, устремленными шагами топчет редиску и укроп. Куда? Что увидел? И тут я заметил серую птицу. Она рылась на грядке в конце огорода и подняла голову на Маркиза.

Это была куропатка. Какой маленькой, какой субтильной и кокетливой она казалась в сравнении с курами! Я думал — сейчас вспорхнет. Нет, она только оглянулась на петуха и продолжала клевать. Я замер и смотрел.

Маркиз козырем прошелся мимо иностранки, напряг крыло, боднул гребнем воздух. Он взрыл ногами, изуродовал грядку. Летели комья, ростки. Он говорил: «Кок, кок», угощал. Она клевала щепливо маленькой серой головкой. Маркиз рыл наотмашь всю почву вокруг, не глядя, он рыл, как впору только собаке, и глядел, как не спеша клевала серая курочка. А по ту сторону плетня с клохтаньем подбегали Варька и Мотька, стараясь взобраться наверх. Кудахтали взъяренными голосами. Взлетели. Мотька. Вот и Варька. Захлопали глупыми крыльями, слетели вниз, бегут, вытянув шеи, вразвалку, напролом. Уж близко. И вдруг куропатка поднялась, полетела в воздух, быстро махая крыльями.

Маркиз, приспустив крылья, глядел, как скрывалась в воздухе фея.

Он крикнул коротко, будто ему подсекли голос.

Я схватил грабли и пошел чинить мои гряды.

УДАВ

I

Началось с того, что играл я в клубе. И все как-то выходило, что проигрывал. Все свое жалованье проигрывал. Отдам жене, а потом по трешке выпрашиваю.

Жена служила в тресте. На машинке печатала. Я жене наврал, сказал, что шубу купил, а я ее в рассрочку взял, а деньги проиграл.

И вот я раз прямо со службы шел в клуб. Играю — и везет, везет. «Вот, — думаю, — когда на меня это счастье наехало, не упускай, гни вовсю!» Только успеваю бумажки по карманам распихивать: так уж комком и сую. Вот когда королем домой вернусь! Жена мучается, дома до света на машинке печатает. Вот вздохнет, голубушка! Уж и не знаю, что ей сделаю. Сережке, сынишке, велосипед, дураку, куплю. Настоящий! Вот будет радоваться! Наташеньке, дочке, шапочку, — она все хотела, — вязаную, зелененькую... Да что шапочку! Да и придумать не знаю что: она диктует матери до хрипоты, бедная, чтоб машинку эту проклятую перекричать.

«Ну, — думаю, — поставлю еще пятьдесят рублей — и баста». Хлоп! — побили мою карту. Вот черт. Я, чтоб вернуть, вывалил сотню — натаскал из карманов мятых червонцев. Опять бита! Мне бы бросить, не злиться, а я все жду, что снова мое счастье найдет меня. И пошло, и пошло.

Я весь в поту и уж последние бумажки таскал из карманов, трешки какие-то. И тут холод меня прямо прошиб: что вот только что все они, милые мои, счастливые могли б быть, уж были, можно сказать, и вдруг... И вот уж нет ничего. Я царапал со злостью пустой карман, скреб ногтями.

Тут я вспомнил, что у меня с собой есть пятьсот рублей. Казенные, правда. Завтра сдать надо. Я взял червонец. Уж коли повернется счастье — так ведь с рублишка начинали и с тысячами от стола уходили в полчаса каких-нибудь. И я все рвал и рвал с пачки по червонцу, и уж все равно стало. Я и считать перестал — который это идет. Поставил потом целиком сотню, чтобы уже сразу. И глаза закрыл, чтобы не видеть. Потом побежал к швейцару.

— Голубчик! Дорогой! У вас шуба в залог пусть будет, дайте рубль. Последний раз, рублик.

А он головой мотает и не глядит.

— Шли бы спать, — говорит, — коли карта не идет.

Я оделся, побежал домой, к жене как сумасшедший. Уж в прихожей слышал, как эта машинка стукает, прямо гвозди это в мое сердце вбивает. А Наташка хриплым голоском надрывается, диктует.

Час, час всего назад разве таким бы псом побитым я к вам пришел? И не знали, бедные.

Я вошел в столовую. Жена даже не оглянулась, только крикнула на Наташку, чтоб дальше, дальше!

Сережка, дурак, через стол из пушки в солдат деревянных целит горохом. А я вошел в своей шубе, как был, и говорю — голос срывается, хриплый.

— Надя, — говорю жене, — Надя! Я знаю, не говори! Умоляю — я в отчаянии. Спаси!

Она сразу бросила печатать, глядит на меня, раскрыв глаза, дети уставились, ждут.

— Надя, — говорю, — я знаю, денег нет, дай брошку бабушкину. В залог, в залог, выкупим. Я в отчаянии...

Она вдруг вскочила, все лицо пошло красными пятнами.

— А я, а я? А мы все? — И бьет, бьет руки, не жалея, кулачком об стул. — Мы не в отчаянии? Мы все должны сносить?

У самой слезы на глазах.

Я шапку прижал к груди, все у меня внутри рвется.

— Надя, — говорю, — милая...

А она вдруг как закричит:

— Вон! Вон! — И показывает на дверь — отмахнула рукой во всю ширь.

Дети вздрогнули. Я смотрю, у Сережки губы кривятся. А жена кричит:

— Что вы на детей смотрите? Вы их губите! Вы им не нужны!

Наклонилась к Наташке и кричит:

— Говори, говори: нужен он вам? — И глядит на нее, жмет глазами.

Я шагнул к дочке, к Наташеньке. А она опустила голову, не глядит, и дрожит у ней бумага в руке.

— Говори сейчас же! — кричит жена. — Да или нет? Говори!

Наташа чуть глаза на нее подняла и вдруг, смотрю, чуть-чуть головкой покачала, едва заметно: нет!

— Наташа, — говорю я, — ты что же?

А жена:

— Вон! Вон! Довольно! И дети вас гонят! Вон!

Я вышел, и щелкнул за мной французский замок. Запер он от меня семью мою, детей моих.

Было еще совсем рано, часов десять вечера. И вот я остался на улице, мне некуда идти. И я растратил пятьсот казенных рублей. И куда я пойду, кому скажу, кто такого пожалеет?

Хотел бежать к товарищу моему, может быть, он как-нибудь... Вместе учились ведь. Да вспомнил: взял у него пятьдесят рублей, он из жалованья, из последних мне дал. Обещал я через неделю принести — три месяца уж тому. Как на глаза показаться?

Я все шел скорей и скорей, прямо бежал почти и толкал прохожих. Стало рукам холодно. Я запустил руки в карманы и вдруг в правом кармане нащупал мерзлыми пальцами — деньги! Мелочь какая-то. Я сразу стал, подбежал к фонарю и давай считать. Все карманы в шубе обшарил — набралось семьдесят восемь копеек. В клубе меньше рубля ставить нельзя! Я все шарил, еще бы найти двадцать две всего копейки. Зашел в подворотню и все карманы вытряс — нет больше ни копейки. И я поплелся по улице. Шарил глазами — вдруг знакомый встретится: выпрошу двадцать две копейки. И вдруг вижу здание:



все освещено, у подъезда извозчики черной кучей стоят, афиши саженные. Стоп! Да это цирк. Пойду в цирк, может, встречу кого, займу. Рубль даже можно занять.

Я купил на галерку билет за сорок копеек. Я уж не смотрел на представление, а шарил глазами по рядам, по лицам, искал знакомого. Сейчас я еще человек, а завтра — завтра я растратчик, и меня будут искать. Ещь ночь впереди — ведь можно отыграться. Только б рубль, рубль. И хоть бы один знакомый! Я бегаю глазами по людям, у меня все бьется внутри, а люди смеются — вот-то смешное клоун делает на арене.

Я тоже стал смотреть на арену. Дрессировщик показывал маленькую белую лошадку. Он говорил по-французски, и очень забавно, но никто не понимал и не смеялся. Я хорошо знаю по-французски. И вдруг я подумал: наймусь в цирк, буду переводить, что говорит француз, буду эту лошадку чистить — миленькая такая лошадка, кругленькая.

Назовусь не своим именем и забьюсь, как таракан в щелку. Смотрю, француз вывел пятерых собак, и тут я только услыхал, что музыка играет, а то так от тоски сердце колотилось, что я и музыки не слыхал.

Объявили антракт, вся публика поднялась с мест. Я побежал в конюшню. Веселая публика смотрит лошадей; лошади блестят, как лакированные. Тут же стоят конюхи — на пробор причесанные, в синих куртках, в блестящих ботфортах. Спрошу, нельзя ли конюхом поступить. Я подошел к одному.

— Скажите, — говорю, — как у вас, работы много?

Он смотрит на мою шубу, почтительно говорит:

— Хватает, гражданин, но мы не обижаемся.

И не могу никак спросить: можно ли мне поступить? Засмеется только. Однако я сказал:

— А вам тут человека еще не требуется?

— Это вы в контору, пожалуйста. — И отвернулся к лошади, стал что-то поправлять.

В контору пойти? Совсем пропасть. Вид у меня — настоящий бухгалтер, и вдруг — в конюхи. Что такое? Засмеют, а то прямо в район позвонят по телефону. Что же мне делать? Но тут народ повалил на места, и я снова залез на галерку.

Когда кончилось представление, я вырвал из записной книжки листок, написал по-французски:

«Господин Голуа (этого француза звали Голуа), очень прошу вас прийти в буфет, мне нужно передать вам несколько слов».

И подписался «Петров». А фамилия моя Никонов. Дал я эту бумажку служителю, чтобы сейчас же передал, и жду в буфете.

Француз пришел, как был на арене, — в желтых ботфортах с белыми отворотами, в зеленой венгерке, подмазан, усики подкручены и реденький проборчик, как селедочка с луком.

Француз шаркнул:

— Честь имею...

И я начал говорить, что я восхищен его искусством. Француз вежливо улыбается, а глаза насторожились.

Я ляпнул:

— Хочу поступить к вам конюхом.

Он совсем глаза вытаращил и рот раскрыл. Потом, вижу, начинает хмуриться, и уже никакой улыбки.

И я сказал скорей:

— То есть я так восхищен вашим искусством, что готов служить даже конюхом при таком великом артисте.

Француз заулыбался и стал поспешно благодарить меня за комплименты и сейчас же повернул к двери.

В буфете уже все убрали и запирали шкафы.

Я выбежал на улицу. Завтра будет известно, что кассир Никонов скрылся с пятьюстами рублями и что к поискам приняты меры. И дома прочтут в газетах. А Наташку в школе будут спрашивать:

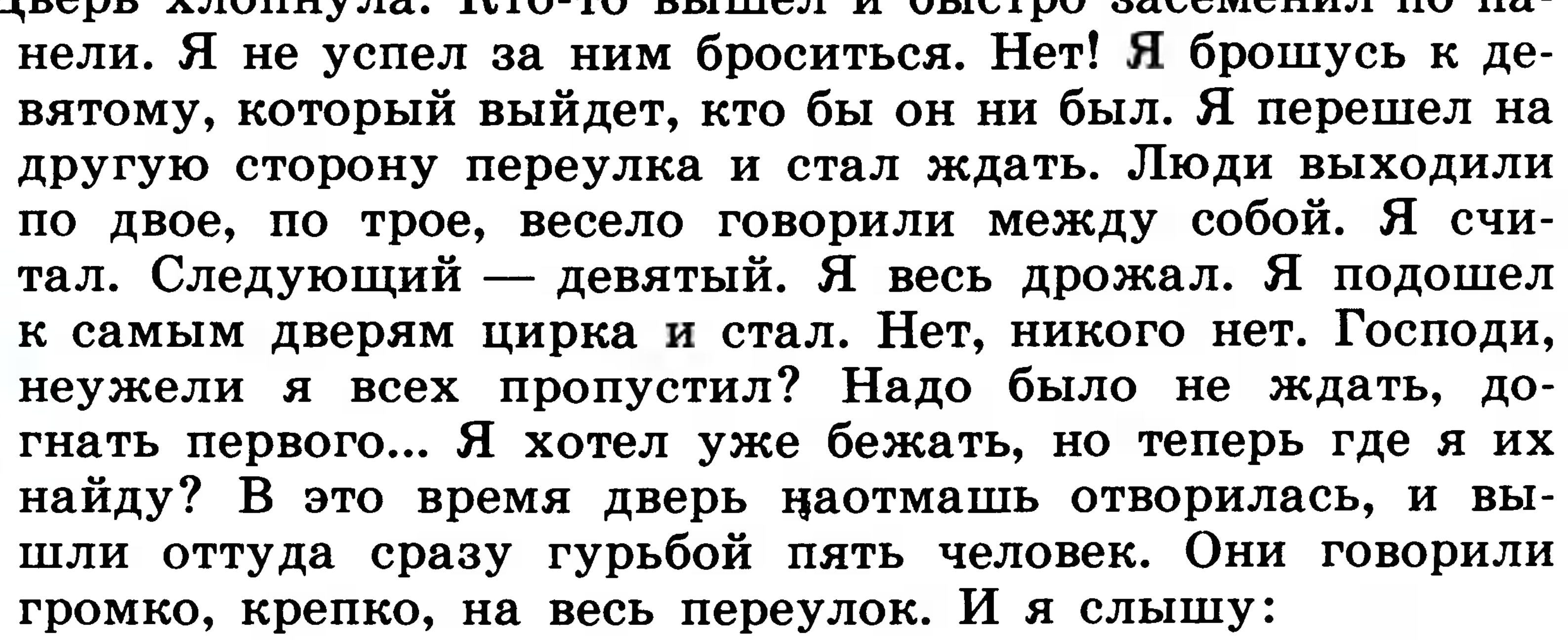
«Это не твой папа?»

Я стоял на морозе и думал. И вдруг мне пришла в голову мысль.

II

Я решил, что именно в темноте, где не видно моей шубы проклятой, не видно моего бухгалтерского лица, именно в темноте и надо просить, умолять, требовать. Голос, голос мой будет один. А я чувствовал, что если я сейчас заговорю, то голос будет отчаянный, как у человека, который тонет. И в темноте легче, все можно говорить... даже на колени упасть. Пусть только выйдет кто-нибудь из циркачей. Я стану на колени, буду за полы хватать. Ведь мне все равно теперь. И я подбежал к задним дверям цирка, откуда выходят артисты.





Я ходил по пустой панели мимо дверей, и у меня дух забился от ожидания. Дверь хлопнула. Кто-то вышел и быстро засеменил по панели. Я не успел за ним броситься. Нет! Я брошусь к девятому, который выйдет, кто бы он ни был. Я перешел на другую сторону переулка и стал ждать. Люди выходили по двое, по трое, весело говорили между собой. Я считал. Следующий — девятый. Я весь дрожал. Я подошел к самым дверям цирка и стал. Нет, никого нет. Господи, неужели я всех пропустил? Надо было не ждать, догнать первого... Я хотел уже бежать, но теперь где я их найду? В это время дверь наотмашь отворилась, и вышли оттуда сразу гурьбой пять человек. Они говорили громко, крепко, на весь переулок. И я слышу:

— Он мне лопочет по-своему и тычет вниз: мажь, значит, копыта, а я каждый вечер...

У меня сердце забилось: конюхи, конюхи! Но сразу броситься к ним я не мог. Я решил, что пойду за ними. Разделятся же они когда-нибудь, вот я и подбегу к

одному — с одним легче. И я пошел за ними, глаз с них не спускал, чтоб не потерять в толпе.

Вдруг они свернули влево через улицу. Тут трамвай, они перебежали, трамвай закрыл их от меня, а когда он прошел, конюхов на той стороне не оказалось. Я чуть не заплакал. Я метался из стороны в сторону и вдруг вижу — пивная, и дверная штора наполовину уже спущена. А вдруг они там? И я нырнул под штору. В пивной было почти пусто, и вон, вон они, все пять человек, садятся за столик. Я сел за соседний. Человек им подал пива и сказал:

— Только по одной, граждане, и закрывать надо, время позднее.

Я знал, что у меня осталось тридцать восемь копеек. Я спросил бутылку пива.

Как же начать? Я боялся, что они наспех выпьют пиво — и марш. Штору спустили на дверях, и только и остались в пивной, что конюхи да я.

И вот я слышу, один, самый старший, говорит не спеша:

— Да, родные мои, приходит ко мне падчерица моя — вся в синяках. Ну — вся, вот как конь в яблоках. «Кто же это тебя, — спрашиваю, — милая ты моя?» — «Да опять, — говорит, — муж». И плачет. «Что ж, — говорю, — он тебя уродует?» — «Зачем, — говорит, — я косая, обидно ему». А она, верно, косенькая у нас. «Не такая, — говорю я, — уж ты косая, чтоб так бить. Живи, — говорю, — у меня, и черт с ним. Твоя, — говорю, — мать рябая, а я души в ней не чаю. Ты, — говорю, — наплюй».

Я собрал голос и говорю:

— Вы хорошо... как поступили. — Заикаюсь, голос срывается.

А конюх потянулся ко мне и ласково спрашивает:

— Вы что сказали, товарищ? Не слыхать.

Я встал, подошел и сказал:

— Мне очень нравится, как вы поступили. Извините, что я вмешался.

И чувствую, что у меня слезы на глазах. Все конюхи на меня смотрят. А старший вдруг внимательно мне в глаза глянул и говорит:

— Садитесь к нам, гражданин, веселее вам будет. — И вижу, раздвигает приятелей.

Я схватил свою бутылку и пересел к ним. Все замолчали и на меня глядят. И тут я вдруг как сорвался, как с горы покатился.

— Вот видите, — говорю я, — ей есть куда пойти, а мне некуда. — И чувствую, как слезы у меня закапали и текут по усам, по бороде катятся. И я стал рассказывать, как я проигрался, как меня дети из дому выгнали, как жена дома убивается над работой. И говорю, как лаю — душат горло слезы.

— А вы выпейте, выпейте, гражданин милый, — говорит старый конюх и наливает в мой стакан.

Я глотнул пива — легче стало. И все им рассказал. Одного только не сказал: что я растратчик и что меня завтра искать будут.

— Вот, — говорю, — говорил я этому французу, а как просить станешь? Я в жизни не просил, не кланялся. Да в таком виде...

— Да, — говорит старший, — вид, можно по-старому сказать, — барин вполне.

Я боялся, что надо мной смеяться станут, и готов был и это стерпеть, но никто даже не улыбнулся. Один только сказал:

— А другую какую работу, по своей части или...

Старший перебил:

— Видишь, человек не мальчик и не пьяный, значит уж есть что, зачем в конюхи просится.

Хлопнул меня по колену и говорит:

— Ну ладно, голубок, подумаем. Ты утрись. Дай-ка сюда парочку! — крикнул он официанту.

Официант огрызнулся:

— Из-за парочки вашей на штраф налетишь — выметайтесь, граждане, — время.

— Давай полдюжину! — крикнул конюх и пошел к хозяину и чуть мне головой мотнул. Я встал за ним. Он мне в ухо шепчет:

— Первое дело — надо сейчас ребятам поставить. Что у тебя есть? Часы есть?

— Черные, — говорю, — стальные.

— Даешь!

Я живо снял часы и отдал конюху. А он ушел шептаться с хозяином за перегородку.

Смотрю, волокут дюжину пива и две воблы на закуску. А у меня все внутри трясется: а ну как все это только шарлатанство одно, чтоб мои часы пропить и поиздеваться надо мной? Но я старался верить конюху, и от этого мне теплей было.

— Только поторапливайтесь, граждане, — говорит хозяин.

Все налили, стукают о мою кружку, чокаются, и все одно и то же говорят:

— Ну, счастливо!

Мы вышли из пивной черным ходом. Я все держался ближе к старому конюху. Его звали Осип. «Ну, — думаю, — сейчас скажут «спасибо» и кто куда, а меня оставят на тротуаре». Так и жду. Был первый час ночи, народ бойко ходил по улицам, и я боялся отбиться от Осипа.

Вдруг он остановился и обернулся к товарищам.

— Ну, вы, друзья, скажите человеку «спасибо» и, того, не гудеть. Человек из последнего расшибся, вам дюжину выставил. А мы с ним пойдем.

Все стали со мной прощаться и давили руку. Осип, полуоборотясь, ждал.

Мы тронулись с ним бок о бок.

— Ночевать где будешь? — спрашивает Осип.

Я, конечно, мог бы пойти к знакомым ночевать, но боялся хоть на минуту отпустить Осипа. Я даже взял его под руку и стал шагать с ним в ногу.

Я шел молча, боялся его расспрашивать: а вдруг как рассердится, что пристаю, и тогда все пропало. Мы шли по каким-то улицам, я не мог замечать дороги — так в голове кружились мысли, да тут повалил густой снег.

— Уж как-нибудь тебя устрою на ночь-то, — сказал Осип. И тут стал около деревянных ворот. Мы стоим оба белые от снега.

— Ты, главное дело, не робей. Валиком, валиком, гляди — на дорогу выкатился. А? Верно я говорю? — И стукнул меня по плечу.

И тут я увидел, что мне надо ему все рассказать. И я сказал, что я проиграл казенные деньги, что меня завтра искать будут...

А Осип перебивает меня:

— Да ты брось, брось, милый, и так знаю, с первых слов видать было: не в себе человек. Ладно уж. Дома-то языком не бей.

И застучал в ворота.

Крылечко под нами морозно скрипнуло. Вот дернул Осип примерзшую дверь, и вошли мы: душно, парно, темно. Куда-то впереди себя протолкал меня всего и сказал шепотом:

— Во, тут сундук. Увернись в шубу и спи до утра.

Я нащупал сундук, залез, поднял мокрый воротник, натянул на глаза шапку и закрыл глаза. И вдруг сразу внутри что-то как распустилось, будто лопнула веревка какая, что жала и давила мне грудь и дышать не давала. Я подумал, как там дети мои, и сказал: «Спите, мои родненькие, ничего: валиком, валиком», и заснул как убитый.

III

Еще было темно, как меня разбудил Осип:

— Вставай, пошли.

Я сейчас же вскочил и, держась за Осипа, пошел. На дворе было темно. Бело лежал пухлый снег, и с неба крупные наливные звезды смотрели серьезно.

— Пока не надыть, чтобы тебя кто видел таким-то видом, — сказал Осип. — Сейчас пойдем, перелицуем мы тебя — раз и два. Чайку вперед попьем, не торопясь — валиком.

— Валиком, валиком, — повторял я за Осипом, и иду все, чтоб к нему поближе.

Мы зашли в трактир, где пили чай обмерзшие ночные извозчики.

Я пил вприкуску жидкий чай, закусывал баранкой.

Стало чуть светать, синим цветом подернуло окно в трактире.

— Идем, браток, сейчас на барахолку, и там мы загоним эту шубу твою и там же тебе устроим вот этакую куртку, вроде что на мне. И шапку эту тоже надо долой. А ну, дай-ка сюда.

Осип повертел мою меховую шапку.

— Да, — говорит, — она пятерку подымет вполне. А шуба, гляди, рублей как бы не тридцать потянула. Как думаешь?

— Мне все равно, — говорю я.

— Зачем же зря татар-то баловать? Пошли.

Я никогда не бывал в таких местах. Куда-то далеко заехали мы с Осипом на трамвае. В переулке было сыро, мутно. В темную подворотню шмыгнули мы с Осипом, по темной лестнице; я путался в своей длинной шубе. Осип толкнул дверку, и на меня пахнуло затхлой вонью пыльного, старого тряпья. Под лампой на помосте два татарина

ворочались в куче тряпья и ругались на своем языке. От тухлой пыли гнилой туман в воздухе.

— Здорово, князь! — крикнул Осип.

Оба татарина вскочили и оба вцепились глазами в мою шубу. Один не удержался и погладил ладонью по рукаву.

Я снял шубу. Ее трясли, щупали, носили на двор, мяли мех в руках и ругались все трое: Осип и оба татарина.

— Сорок пять, последнее слово, — сказал Осип и сунул мне шубу. — Надевай. Пошли.

Я стал натягивать рукава. Но татары ухватили за полы и крикнули в один голос:

— Сорок три!

— Напяливай! — заорал Осип и стал запахивать на мне шубу. Он толкал меня в двери. Мы вышли на лестницу. На площадке уже ждали другие татары. Сразу трое нас обступили.

— Бери сорок пять!

— Полсотни, — сказал Осип и стал спускаться с лестницы.

— Сорок семь! — крикнули сверху.

Осип стал.

— Давай!

Нас потащили назад.

Татары отслюнили нам сорок семь рублей. Моя шапка пошла за пять рублей. И вот я остался раздетый у татар в этой пыли и вони. А Осип с деньгами ушел. Уж, наверно, прошло с час, — а его все не было. Боже мой! Какой я дурак! Я остался без шапки, без шубы, неизвестно где, у каких-то старьевщиков. Я разболтал этому конюху, что я растратчик и что боюсь милиции. Он знает, что в милицию не пойду. Что мне делать? Я видел, что татары уже подозрительно на меня поглядывают. Они два раза спрашивали:

— Что товарищ твоя: скоро ворочай — эте?

На дворе было уже совсем светло. Я слышал, как звонил, гудел трамвай, как во дворе на морозе звонко орали татарские ребятишки, а на лестнице шлепали ноги и ругались голоса. Я стал придумывать, нельзя ли за мой костюм получить у татар какую-нибудь рваную фуражку и какое ни есть старье, чтоб выйти на улицу. Я видел, что они остро поглядывают на мои шевиотовые брюки. Я представил себя, каким я стану в этих лохмотьях, с моей бородой, в драной фуражонке на лютом морозе. Скрываться от милиции, прятаться от людей, как пес прозябший, скоряченный. Сегодня в «Вечерней» будет напечатано. Нет, все пропало!

Дверь хлопнула, я вскочил навстречу — нет, не он. Какой-то татарин. Татарин стал болтать с хозяином, потом чего-то все на меня кивал, спрашивал. Я видал, что про меня говорят. Теперь, наверно, весь дом знает что-то подозрительное, какой-то гражданин... А что, как приведут сейчас милицию или сыщика? Начнут спрашивать: вас обокрали, раздели, обманули? Что случилось? Почему вдруг? Кто такой? У меня опять все замутилось внутри, и я решил, что нечего ждать, а сам пошлю татар за милиционером. Хоть бы от татар выйти без позору, а там в милиции скажу, что я растратчик и чтобы меня арестовали. И уж тогда все равно — сразу по крайней мере. Буду сидеть



и ждать суда. И я решил сказать татарам, чтобы пошли в район. Я поднялся и сказал:

— Вот что, дорогие граждане...

И вдруг слышу за дверью:

— Да брось! Не продаю! — И вваливается мой Осип, Осип с охапкой одежды. Красный весь с морозу.

Шапка — финка с ушами, тужурка на баране, синяя курточка и брюки. Все ношеное, но все целое.

Татары бросились.

— Почему давал?

А Осип на меня примеряет, по спине хлопает:

— Гляди ты, брат, угадал-то как!

Когда мы вышли, я в стекла магазинов глянул на себя и не мог узнать.

Теперь оставалось побриться и найти по ноге старые ботфорты.

Да, через час меня и дома не узнали бы.

Осип глянул:

— Фалейтор как есть, куражу только дай побольше. Шагай теперь, как не ты — никакая сила. Кто спросит — говори: мой свояк. Так и говори: Осипу, мол, Авксентьичу Козанкову — свояк. Откуда? Тверской — и больше нет ничего. А теперь гнать надо в цирк, завозились, гляди-де, — пятый час скоро.

Мне стало весело и, действительно, показалось, что я уже не я, а Осипов свояк. У меня походка даже стала другая, чуть вприпрыжку, и очень легко и ловко казалось после долгополой шубы.

Не узнали меня, что ли, вовсе конюхи, но они и виду не показали, что меня заметили. А я стал сейчас же помогать Осипу. Шла уборка конюшни. Я первый раз ходил около лошадей. Но я ничуть не боялся — все казалось, что это не я, а форейтору нечего бояться. И сам не ожидал, как я ловко подавал ведра Осипу, хватал щетки, мыл шваброй, где мне тыкал Осип.

Француз Голуа стоял около своей лошадки. Я увидел, что при дневном свете лошадка совсем синяя. Голуа макал в ведро губку и синькой поливал лошадь и все ругался по-французски. Я, не поворачивая головы, громко переводил, чего хочет француз. А он удивлялся, что конюхи стали понимать. Но он скоро догадался, что это я пересказываю. Он подошел ко мне и спросил по-французски:

— Вы умеете по-французски?

Все на нас оглянулись.

— Да, — сказал я, — немного знаю, — и продолжаю ворочать шваброй во всю мочь. А Осип мне приговаривает:

— Ты не рвись, ты валиком, — и моргает тихонько на Голуа.

— Откуда вы научились? — подскочил ко мне француз.



— В войну военнопленным во Франции год держали, поневоле пришлось немного.

И ушел за лошадь, будто мне работы много и некогда болтать. У меня сильно колотилось сердце, и я хотел, чтобы француз на время отстал. Но он нырнул под лошадь и оказался рядом со мной.

— Вы здесь служите, вы новый, теперь поступили? Говорите же!

— Нет, — сказал я, — я сейчас без дела и вот пришел помочь моему родственнику, — и киваю на Осипа.

— Пожалуйста, пожалуйста, — затараторил француз, — объясните, чтобы они не мазали копыта моей лошади. Я их крашу в синий цвет, а они непременно вымажут их черным. И никакого эффекта. Никакого! И чем больше я объясняю, тем они сильнее мажут. Ужасно! Пожалуйста.

И француз убежал.

Все сейчас же бросились ко мне.

— Что, что он тебе говорил?

Я рассказал.

— Правильно! — отрезал Осип. — Оно так и есть. Ты верно сказал. Я, мол, без делов, а пришел подсобить, как мы с тобой свояки. И квит. А он, конечно, в контору... Дай-ка мне, Мирон, ведро сюда.

Я оглянулся, но сейчас же понял, что это Осип меня окрестил Мироном. Осип ухмыльнулся и, принимая ведро, сказал мне:

— Спасибо тебе, свояк ты мой Мирон Андреич. Мирон Андреевич Корольков. Вот, брат, как!

Я глянул на свои ноги в ботфортах, на синие брюки и сам наполовину поверил, что я именно и есть Мирон Андреевич Корольков.

В это время входит в конюшню служитель и говорит:

— Осип! Слышь, Осип! Гони твоего земляка в контору, француз спрашивает.

У меня сердце екнуло. Я глянул на Осипа: идти ли, дескать?

А Осип говорит спокойно:

— Только не рвись, а катышком, помаленьку.

Я отряхнул брюки и пошел за служителем. В конторе француз быстро лопотал что-то человеку за столом — он оказался помощником директора. Мы вошли; француз замолчал.

Я стал на пороге и говорю:

— Здравствуйте. — Кланяюсь по-простому. И так у меня хорошо вышло, будто я и впрямь только что из тверской деревни.

Помощник директора спрашивает:

— Вы что, товарищ, Осипу родственник?

— Свояки мы, — говорю и снова поклонился.

— Вот месье Голуа хочет, чтобы вы служили, а у нас штатных мест нет. Так месье Голуа предлагает вам у него служить лично. Лично, понимаете?

— Лично, — сказал я и снова поклонился.

— Одним словом, у него в конюхах. И собак смотреть.

— Можем и собак, — ответил я.

— Так вот объясните месье Голуа, как у нас в СССР: книжка, расчетная, союз там, страховка и с биржей как... Одним словом, все. А пока можете ходить поденно. Там уж сговоритесь.

Он взял перо.

— Как звать?

И тут я в первый раз сам назвался по-новому:

— Мироном звать. Мирон Андреевич Корольков.

Я это сказал и как будто отрезал что. Как будто не стало уже кассира Петра Никифоровича Никонова. Там он где-то. В тумане, в татарской пыли будто спит.

— Можно идти? — спросил я.

— Губернии, значит, тоже Тверской? — спросил помощник. — Что это все тверские да скобские?

Я двинулся. Француз пошел за мной. Он схватил меня под руку.

— Мой друг Мирон! — кричал француз. — Я сейчас покажу вам собак, моих друзей. Идем, идем!

Но я не спешил, как велел мне Осип, а шел не торопясь, упираясь. И тут спросил француза:

— Однако, месье Голуа, сколько же вы мне жалованья положите?

— Ах, скажите мне, мой друг, сколько вам надо? Вы будете чистить лошадь, вы будете водить собак на прогулку, чистить их щеткой. Вот так, вот так. — И француз водил рукой в воздухе. — Два раза в день кормить — это надо варить. Но это очень интересно.

Я совершенно не знал, сколько спросить, я не знал, сколько получают конюхи, и решил, что спрошу Осипа. Собаки сидели в клетке, и все пятеро залаяли навстречу Голуа: четыре сеттера и черный пудель. Они блестели, как намазанные маслом, — до того лоснилась шерсть. Я потом узнал, что француз помадил их особой помадой и подкрашивал красной краской сеттеров.

Голуа открыл клетку. Собаки бросились к нему, подскакивали, старались лизнуть в лицо.

— Гардэву! Смирно! — крикнул француз.

Собаки замолчали и моментально уселись в ряд на земле и замерли, как деревянные.

— Вот, — сказал Голуа, — это Гамэн. — Пудель обернулся. — Это Гризетт. — Француз назвал всех собак по имени. — Повторите.

Я повторил.

— О! Да вы гений, мой друг! Браво для первого раза. На место! — крикнул он на собак и поволок меня к лошадке.

Конюшню уже прибрали, и Осип склеивал цигарку из махорки.

— Что, навяливается, чтоб с ним работать?

— Сколько просить? — крикнул я Осипу.

— Не торопись. Спроси: на манеж тоже с ним выходить или как?

— Как это «на манеж»?

— А вот как представление, то с ним вместе работать или только около собак ходить?

Француз хмурился и глядел то на меня, то на Осипа.

Я спросил француза, должен ли я буду помогать ему на арене.

— Боже мой! Неужели это вам не интересно? Я вам разрешаю.

— Ну, а я благодарю вас. Я не люблю на публике.

— Вы привыкнете, это ничего, мой друг. Только первый раз, а потом...



Я глянул в глаза Голуа и спросил серьезно:

— Вы нанимаете меня с выходом или без?

— Это мы увидим, — надулся француз, — годитесь ли вы еще... — И отвернулся.

— Как вам угодно, — сказал я.

Осип как будто понял, что мы говорим, и сказал, сплевывая махорку:

— Без выхода проси с него семьдесят пять рублей, а с выходом сотню. Главней всего — не торопись. Одумается француз. Он крутит, а ты валиком, валиком. Пошли-ка обедать.

Голуа заплетал в косы гриву своей лошади и не обернулся, когда мы с Осипом пошли к двери.

— Не сдавай ни в коем разе, — сказал Осип, когда мы в трактире сели за чай.

Я только что раскрыл двери, около которых я тогда метался и ждал девятого человека, и сразу услыхал этот резкий крик, цирковое гиканье: «Гоп! Гоп!» — и щелканье бича.

— Самарио, итальянец, работает, — сказал Осип.

На арене металась лошадь. Человек пять конюхов стояли на барьере, растопырив руки. А вокруг пустые места смотрели сверху деревянными спинками. Смуглый брюнет в зеленой тужурке, нахмуренный, злой, кричал резко, как будто бил голосом: «Гоп! Гоп!», щелкая длинным бичом по ногам лошади. Лошадь вертелась, вскидывала ногами, дышала паром на холодном воздухе, косила испуганным глазом на хозяина. Вдруг лошадь прижала уши и бросилась в проход на меня.

— Держи! — крикнули конюхи.

Я ухватился за тонкий ремешок, лошадь завернула, стала на дыбы, но я не пустил и повис у ней на шее. Тут подбежали конюхи. Я бы никогда раньше не сделал этого, я бы отскочил в сторону, но если я конюх Мирон.

— Алле, алле! — кричал Самарио.

В это время кто-то сзади схватил меня под руку.

— Мой дорогой друг, месье Мирон! — И Голуа потащил меня вглубь, в коридор, что темным туннелем идет под местами. — Между друзьями не может быть спора, — говорил француз. — Деньги — вздор, искусство — впереди всего.



Я глянул на него; француз закивал головой:

— Сто рублей, и работа на манеже.

И тут я заметил его глазки:



совершенно черные, как две блестящих пуговки. Он на минуту остановил их на мне, и в полутьме стало чуть страшно.

— Сегодня пятнадцатое. Начинаем! Вашу руку. Идем!

Все катилось как во сне, быстро и бесспорно. Ведь дня не прошло, а я как будто прожил полжизни Мироном Корольковым. И Мирон выходил мужичком крепким, старательным и себе на уме. Все конюхи высыпали смотреть, как мы будем репетировать с французом. Он опять повторял свои шутки. Я перевел одну и крикнул конюхам. Все захохотали.

— Что вы сказали? — бросился ко мне Голуа. — Ах, мой друг, научите меня, чтоб я сам это сказал.

Я ходил с Голуа и долбил ему русские слова.

— Корошенька мальшик прицупалься на трамвэ! — Это когда пудель висел, уцепившись за хвост белой лошадки. Потом пудель пускал хвост и катился по арене кубарем. Вставал совершенным чертом: мы его намазывали салом, и он весь вываливался в песке.

— Корошенька приекала домой, — говорил Голуа.

Я сам выдумывал всякую ерунду, и мне было весело.

— Надо еще для детей, — сказал француз. — В воскресенье детский утренник, все школы, мальчики, девочки, надо смешно и немного глупо.

И тут я подумал: «Ведь, может, и Наташа придет. Поведут со школой».

На арене уже играл оркестр, и я в проходе увидал, что лошадь Самарио на задних ногах топчется под музыку, а Самарио стоит под самыми ее передними ногами и грозит ей хлыстиком перед носом.

Человек в клоунском костюме сосредоточенно смотрел на наездницу, что прыгала под веселый марш на спине тяжелой лошади. Вдруг этот человек сделал дурацкую рожу, заверещал не своим голосом и бросился на арену.



— Рано, рано! — закричал с арены человек в пальто. — Да считайте же, сколько раз я вам говорил, — на половине пятого тура ваш выход. Сначала, маэстро! — крикнул он в оркестр.

Осип схватил лошадь; наездница села на голубой помост на спине лошади. Музыка грянула марш. Осип пробежал несколько шагов и пустил лошадь.

Я слышал, как клоун, нахмурясь, считал:

— Три... четыре... Ай-я-вай-вай-ва? —

вдруг заорал он во всю мочь визгливым голосом и кинулся к наезднице, высоко подбрасывая коленки на бегу.

Но тут Голуа потянул меня:

— Мой друг, я забыл: прицупалься трамвэ!

— Я вам буду суфлировать, — успокоил я наконец Голуа.

— Бон, бон, мой друг, корошо. Я уверен. Бон.

Перед представлением Голуа напялил на меня фрак с галунами, сам подмазал мне брови и нарумянил щеки, подвел глаза. Теперь я и сам не узнал себя в зеркале. Я волновался...

— Главное — кураж, кураж! — приговаривал Голуа. — И ни слова по-русски. Мы — французы. Артист Голуа и его ассистент. Ассистент! Вы понимаете? — Голуа поднял палец вверх.

Мы пошли к собакам. В проходе мелькнул у меня перед глазами набитый людьми амфитеатр, яркие фонари под куполом. Голубая наездница бочком сидела на толстой лошади. Лошадь мерными волнами тяжелым галопом шла по арене.

— Вы только кланяйтесь: вот так, — говорил Голуа, — а я делаю рукой — вуаля. — Он браво взмахнул рукой и кивнул вверх подбородком. — Дю кураж, месье Мирон. После Самарио — клоун, и сейчас же наш номер. Вот! Слышите? Это его музыка. Берите собак. Гамэн!

Признаюсь, я плохо видел публику. Она слилась вся в какую-то живую стену вокруг меня. Я поклонился под музыку. Француз лихо поднял руку. И так, каналья, поднял и так замер, что все стали хлопать. Француз кланялся во все стороны. Я заметил, как Осип из прохода в своем шталмейстерском фраке внимательно глядит на меня. Да, а вчера еще я сидел на галерке в моей шубе и глядел потерянными глазами на этот номер. Музыка начала сначала, и собаки стали делать номер за номером. Я подсказывал французу русские слова, он так смешно их коверкал, что весь цирк покатывался. Я так волновался, что не заметил, как кончился наш номер. Но я, сам не зная почему, так же подпрыгнул, так же поклонился, как Голуа, и вприпрыжку выбежал вслед за собаками.

В коридоре запыхавшимся голосом Голуа говорил:

— Очаровательно, я в восторге... Вы сделаете карьеру. Через шесть месяцев вы — рантье... У вас будет свой дом. — Он жал мне руку. Собаки подвывали, и Гамэн пихал меня лбом в коленку — они ждали кормежки после работы.





— Да, да, — теребил меня за плечо Голуа, когда мы кормили псов. — Я поставлю вам номер, и тогда будете артист — вы, а я — ассистент. Мировой номер. Но это не с собаками. Собака есть в каждом дворе... Не давайте много Гризетт — она фальшивила в этот вечер... Это будет сенсация. Вся пресса неделю будет занята вами. Вот вам мое слово и моя рука! — И он совал мне свою руку в потной белой перчатке. — Завтра утром я вам покажу вашего партнера. Не забудьте лошадь Буль-де-Нэж — копыта, копыта. Я бегу, адьё!

В конюшне Осип и конюхи обступили меня:

— Что говорить: артист натуральный, форменно француз и выходка есть, не надо лучше.

— Это уж ведро ставишь, — гудели мои товарищи.

И во вчерашней пивной я на остатки денег угощал конюхов. Я не заметил, как Осип выкупил мои часы и тихонько спустил их в карман моей новой тужурки.

Ночевал я в эту ночь в конюшне. Лошади мирно хрустели овсом и гулко переминались на деревянном помосте. Они все смотрели серьезно, как и тот клоун, что считал в проходе пятый тур наездницы.

— Газету видал? — сказал мне дежурный конюх и протянул «Вечерку». Я вертел газету, и глаза сами привели меня к месту:

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ ЗА ДЕНЬ

Скрылся с 500 рублями кассир Кредитного товарищества П. Н. Никонов. Последнее время Никонов сильно играл в клубе. К поискам его приняты меры.

Кассира Никонова нет. Как же его искать? Я натянул по уши казенный тулуп и заснул мертвецки Мироном Корольковым.

IV

Наутро вычистил Буль-де-Нэжа. Как раз кончал, тут входит Голуа. Он поздоровался с лошадкой, потом со мной и сразу же потянул меня вон:

— Идем, я вас представлю вашему партнеру! Мировой аттракцион. Это, действительно, европейский номер. Король реки Конго.

Он порылся в кармане, достал ключ и открыл дверь. На меня из темноты пахнуло теплом и сыростью. Голуа повернул выключатель, и я увидел посреди комнаты большую плоскую клетку. Голуа молчал и остро взглядывал черными глазками то на меня, то на клетку. Клетка мне сразу показалась пустой. Но вдруг я увидел, что на полу этой клетки, как изогнутое бревно, лежала змея. Я дрогнул. Голуа резко свистнул сквозь зубы. Змея повернулась и, шурша кольцом о кольцо, тяжело стала перевивать тело и потянулась головой к дверке.

— Ле боа! — сказал Голуа и указал мне рукой на клетку.

Это, действительно, был удав. Не удав, а удавище. Я не мог сразу определить его длины; но он был толст и упитан, и во всех его поворотах чувствовалась сила, как будто тяжелая литая резина растягивается и сбегается в кольца. Змея уставилась неподвижно черными блестящими глазами. В этих глазах был один блеск и никакого выражения; тупой и спокойный идиот глядел на меня. Но я не мог оторваться от этих блестящих, как стеклярус, глаз и тут почувствовал, что какая-то неумолимая и жестокая власть глядит на меня из этих черных блесток. Я уж не считал его идиотом, а все глядел, глядел не отрываясь.

— А? Не правда ли, Король? Король лесов, Король Конго. Вы



восхищены, я вижу, — сказал Голуа. — Ну, довольно. — Он повернул меня к двери и погасил свет.

— Работать с таким красавцем — это, конечно, счастье. Как вы ни одевайтесь, вы не заставите глядеть на себя тысячный зал, глядеть, затаив дух. Но если вы выйдете с таким прекрасным чудовищем, вы покорили свет. Публика задохнется от восторга, от трепета. Вы понимаете, что это может вам дать? И вы, месье Мирон, вы будете артист, а я ассистент!

Но я ничего не мог отвечать. Я не мог стряхнуть оцепенения и страха, что остался у меня от этих глаз удава. Мне казалось, что за нами шуршит его тяжелое тело. А когда я взглянул в черные глаза Голуа, то даже вздрогнул: удав! Такие же черные, блестящие дырки, и такие же пристальные, и он ими жмет, гвоздит, когда говорит.

В это время подошел к нам конюх Савелий.

— Иди, Мирон, живо в местком. Требуют. Сейчас!

У меня вдруг сердце упало. В месткоме будут спрашивать, спросят документы, паспорт, хоть что-нибудь, а у меня ничего, совершенно ничего, никакой бумажонки. Сказать — потерял? Но тогда надо заявлять в милицию, а милиция наведет справки по месту жительства, а там в Тверской губернии сидит в деревне настоящий Мирон Корольков. Все узнается, и я пропал, пропал!

Голуа пристально глядел на меня сбоку своими блестящими дырками. Я со злобой вырвал свою руку — он всегда брал меня под руку — и бросился в конюшню искать Осипа. А Савелий кричал мне вдогонку:

— Куда ты? Наверх, сюда. Тута местком.

Осипа не было в конюшне, его совсем не было в цирке: его послали принимать опилки. Что же делать? Я вошел в стойло к Буль-де-Нэжу и без надобности расплетал и заплетал косички на его гриве. А Савелий нашел меня и кричал на всю конюшню:

— Да брось ты стараться, иди, не будут там ждать тебя до вечера.

— А что там им надо? — спросил я нарочно сердитым голосом.

— Да идем! Там увидишь.

Я пошел с Савелием. Я смотрел по сторонам, куда бы юркнуть, и вдруг решил: будь, что будет, — как будто снова я поставил на карту последний червонец.

В месткоме сидели наш конторщик и билетерша. Голуа стоял тут же, хмурый. Зло глядел на билетершу и бил себя хлыстиком по голенищу.

— У вас бумаги есть с собой? — прямо спросил меня конторщик.

Я начал мужицким говором:

— Каки наши бумаги?

— Ну, книжка союзная.

Но билетерша вмешалась:

— Какой вы странный! Человек только что из деревни... а потом ведь лично у Голуа. Тут главное, чтобы страховка. Спросите, Корольков, вашего хозяйчика: что же он, намерен вас страховать?

Все слушали, как я спрашивал по-французски Голуа.

— Нон! Нон! — закричал француз. — Артист! Вы артист. Артист сам лезет туда, под купол цирка, и он берет плату за свой риск, он сам себя страхует. Почему один артист должен страховать другого? Нелепость. Нет, нет.

— Ага! Не хочет! — закричала билетерша. — Ни черта, товарищ, мы ему все это вклеим. Тут тебе ЭС! ЭС! ЭС! ЭР! — крикнула билетерша в лицо французу.

Я боялся, что она ему язык покажет. У француза хлыст так и прыгал в руке.

— На, на! Пиши анкету. — Билетерша тыкала мне в руки лист. — Пиши, товарищ, и не я буду — через неделю будет книжка союзная! Пусть тогда покрутится. Валютчики!

Я схватил лист, сложил и запрятал в карман.

— Вечерком вам в кассу занесу. Мне надо толком, я по этому делу не мастер.

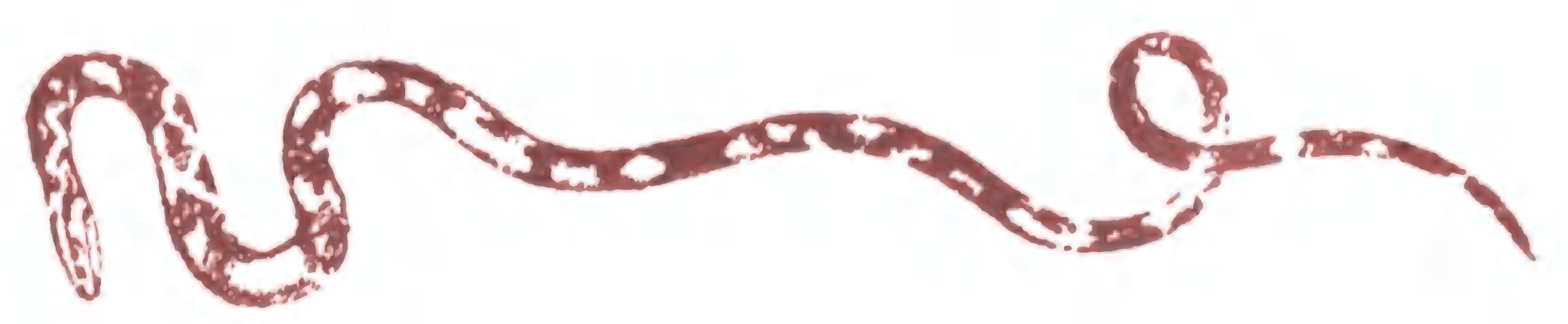
Я поклонился и вышел в двери. Прошел три шага и побежал, во всю прыть побежал в конюшню.

— Мирон! Мирон! — кричал сзади Голуа. Кричал тем голосом, что на собак.

Вечером я сказал Осипу все, как было. Это был теперь один человек во всем мире, кому я мог ни слова не врать. Я спросил чернил и корявым, полуграмотным почерком заполнил анкету. Выходило, что до революции я служил конюхом у разных господ, потом меня мобилизовали, и я попал во Францию. Там остался военнопленным и после революции вернулся к себе в деревню — в Тверскую губернию, в Осташковский уезд. Женат, двое детей: Сергей и Наталья. Мне было приятно вписать эту правду в анкету.

Уж совсем ночью после представления Голуа прошел со мной к удаву.

— Вы волнуетесь? Ничего. Привычка. Бояться змей — предрассудок дикаря, простите меня. Вы будете здесь топить каждый день. Король любит тепло. И вы подружитесь, я вижу. — И Голуа снова метнул на меня черными глазами. — Вот тут дрова, здесь термометр. Не ниже семнадцати градусов. Вот вам ключ. Адьё.



Француз выскочил. Я остался наедине с Королем — Ле Руа, как звал его Голуа по-французски. Я старался не глядеть на эту тяжелую гадину, я осторожно прошел в угол к печке, нашел трубу и взялся за дрова. Но я все время чувствовал за спиной это тяжелое, длинное тело, и мне поводило спину: казалось, что удав глядит на меня своими магическими стекляшками. Я раскрыл печь, уселся на полу и стал глядеть на веселый березовый огонь. Поленья густым бойким пожаром гудели в печке. Вдруг я оглянулся. Сам не знаю почему, я сразу повернул голову. И я сейчас же увидел два глаза: блестящие и черные. Змея тянулась к огню и не мигая глядела. «Может быть, не на меня вовсе?» — подумал я. Я встал и отошел в сторону. Удав, медленно шурша кольцами, перевился и повернул голову ко мне.

— Да неужели я трушу? — сказал я шепотом. — Настоящий конюх Мирон только б смеялся.

Я подошел к самой клетке и уперся глазами в черные стекляшки.

— На, гляди, — сказал я громко. — Еще кто кого переглядит-то! — И я показал змее язык. Мы смотрели друг на друга, между нами было четыре вершка расстояния. Я в упор, до боли глядел в глаза удаву. И вдруг я почувствовал, что вот еще секунда — и я оцепенею, замру и больше не двинусь, как в параличе.

Я встряхнулся и со всех ног отбежал в угол. Я ушел вон и вернулся через час. Не зажигая огня, я на ощупь закрыл трубу и запер на ключ комнату.

V

В воскресенье был детский утренник. Дети галдели и верещали, совсем как воробьи после дождя. Я стоял в проходе и все глядел, нет ли Наташки. Я старательно обводил глазами ряд за рядом, смотрел со стороны входа.

Я разглядывал лицо каждой девочки. Было две очень похожих, я было схватился, но нет, не она. Я оба раза ошибся.

Наш номер оказался веселее всех. Я теперь совсем не боялся на арене, подставляя барьеры, подкрикивал собакам и напропалую подсказывал Голуа. А он повторял как попугай, ничего не понимая. От этого получалось еще смешней. Я ляпнул от себя на ломаном языке — как раз Гамэн тащил за шиворот Гризетт вон с манежа:

— Девошка Наташа не пускайт в сиркус мамаша!

Дети хохотали так, что пугали собак, и они начинали лаять, как уличные. Два номера из-за этого срывались. Голуа под конец так здорово загнул прощальный жест рукой, что наш «рыжий» не выдержал, выскочил и сделал совсем как француз.



Этого не было в программе.

Голуа озлился; я видел, как он резнул глазами и потом махнул «рыжего» хлыстом по ногам. «Ры-

жий», однако, ловко подскочил, удар пришелся мимо, а «рыжий» уже сидел на арене и показывал французу нос.

Голуа побежал жаловаться директору.

— Никакой дисциплины, как будто все кругом итальянцы.

Потом Голуа подошел ко мне и сказал, зло поколачивая хлыстом по своему голенищу:

— Вы мне сейчас должны сказать: начнете ли вы завтра же работать с Королем? Если нет, то мы не друзья и, значит, я в вас ошибся. Утром должен быть ваш ответ, тот или иной.

И он вертко показал мне спину.

Осип был занят на манеже, мне не с кем было поговорить. Обычно кормил собак сам Голуа, а я только подавал ему порции. Но сегодня Голуа уехал сейчас же в гостиницу. Я кормил собак один. Они были взбудоражены, лезли ко мне, лизались, и я бормотал им, как дурак: «Что же мне делать, собачки вы мои?» Завтра надо дать ответ. Я знал, что француз за мой отказ работать с Ле Руа совсем начисто даст мне расчет.

Может быть, можно, может быть, не такой уж он страшный, я посмотрю с добром, по-дружески ему в глаза, удаву этому, может быть, там есть хоть искорка живого, теплого, хоть самая капелька. А вдруг, в самом деле, можно с ним подружиться? Я взял ключ и смело прошел в комнату к удаву. Я свистнул еще с порога, как это делал Голуа, и змея зашуршала, заворочалась, — я видел, как гнулись доски на полу клетки. Удав поднял голову и уставился на меня.

Я подошел и сказал веселым голосом:

— Удав, удавушка, чего ты? Да что ты? — И почмокал языком, как собаке.

Я глядел ему в глаза, искал живой искорки, но неподвижные блестящие пристальные глаза смотрели неумолимо, жестоко, плотно прицеливаясь. И за ними никакой души, никакой — это была живая веревка, которая смотрит для того, чтобы видеть, кого задушить. Никак, никак я не мог, как ни хотел, найти искру теплоты в этом взгляде.

— Да опомнись ты, черт проклятый! — крикнул я отчаянным голосом. Удав даже не моргнул глазом. Я выбежал в коридор.

Представление уже кончилось. В конюшне Самарио сидел на корточках около своей лошади. Он бережно держал в руках ее копыто и что-то причитал по-итальянски. Осипа не было: его услал Самарио за ветеринаром. Я в тоске ходил по пустому цирку; я пошел в темные, пустые ложи. Брошенные программы белели на барьерах. Я подобрал оставленную кем-то газету. Я вышел на свет; прислонясь у стены под лампой, начал читать, чтоб чем-нибудь отвлечь себя, пока вернется Осип. И я бегал глазами по строкам, ничего не понимая. И вдруг мне бросилась в глаза моя фамилия. Мелкими буквами стояло:

> Родные исчезнувшего в ночь на 15-е января кассира Кредитного товарищества Никонова предполагают ограбление или самоубийство. Об исчезнувшем до сих пор никаких сведений получить не удалось.

Они думают, что я покончил с собой! Вот почему не было Наташки в цирке. Бедные, что же они там делают? Мучаются, мечутся,

должно быть... Или это они, может быть, из гордости... или отвести поиски? Я хотел сейчас же побежать, послать открытку — нет! — телеграмму. Но ведь, наверно, следят, следят за всеми письмами. Через товарища дать знать о себе? Но как впутывать его в такое дело?

И мне вдруг показалось, что вокруг нашего дома снуют сыщики, что в квартире все время обыски, чуть не засада... А они там бьются и мучаются и что им самим хоть топись. Пожалуй, прямо сейчас побежать к ним, обнять всех — они меня простят, и я им прощу, а потом пойти и самому заявиться в район. Я решил дождаться Осипа. Я бросился в конюшню. Осип уже был там и помогал Самарио держать его лошадь Эсмеральду: ветеринар внимательно ковырял ей копыто.

— Подсоби, свояк, подсоби! — крикнул мне Осип; он совсем запыхался. Я кинулся помогать. Самарио успокаивал лошадь, ласково хлопал ее по шее. Он увидел меня и буркнул по-французски:

— А, вы здесь! Я думаю, что это работа вашего хозяина, сакраменто!

Ветеринар ковырнул, лошадь дернулась. Мы втроем висели у ней на шее. Ветеринар поднес в пинцете окровавленную железную занозу. Все конюхи бросили работу и обступили Самарио. Самарио вырвал у ветеринара пинцет и всем поочередно подносил к глазам кровавую занозу. И каждый качал многозначительно головой.

Я слышал, как конюхи шептались:

— Когда же это француз успел сделать?

Самарио аккуратно завернул занозу в бумагу и спрятал в боковой карман. Я на минуту забыл даже, зачем я прибежал в конюшню. Но я вдруг все вспомнил и бросился к Осипу. Я потащил его из конюшни, а он шел, тяжело дыша, отирая рукавом пот со лба, и все приговаривал:

— Ну скажи ты, язва какая! И когда он поспел?

Я рассказал Осипу все: все, что в газете, все, что я думаю.

— Пустое дело! — сказал Осип. — Девчонка-то в школу, чай, ходит? Ну вот: ты напиши два словца, а я утречком к школе. Поймаю какую девчонку за косицу: «Наташку такую-то знаешь?» — «Знаю». — «На вот ей в руки передай». И передаст. Очень даже просто.

Я сейчас же достал бумаги и написал записку:

«Наташенька, милая! Прости меня, и пусть мама простит. Я жив и здоров и скоро все верну. Учись, не грусти.

Твой папа».

Эту записку я передал Осипу. Он ее замотал в платок и засунул за голенище. Я сразу успокоился. Я стал рассказывать Осипу про удава.

— Фюу! — засвистел Осип. — Вона что он ладит! Он раньше все тут вертелся около нас, да ведь мы не поймем ничего, чего он лопочет... А страшный?

— Пойдем покажу, — сказал я, и мы пошли в темную комнату, где была клетка с Королем.

Осип несколько раз обошел вокруг клетки. Я свистнул. Удав поднял голову, зашевелился.

— Ух ты, гадина какая! — Осип плюнул. — Ну его в болото! Такой быка задавит и не крякнет. Как же с ним работать, не сказывал он?

Да, я ни разу не спросил Голуа, в чем будет состоять работа с удавом. Я не хотел думать, что мне придется иметь дело с этой гадиной, и я не хотел говорить об этом. А Голуа, видимо, боялся меня напугать и молчал. Ждал, чтоб я привык к змее.

— Это надо все уговорить, удумать. Серьезное дело. Номер под барабан. Гляди ведь, бревно какое. Идем, ну его. — Осип ткнул меня в плечо. — Гаси, гаси, господь с ним.

Завтра я решил расспросить Голуа, в чем будет состоять мой номер с удавом, валиком обсудить это с Осипом и тогда дать ответ.

VI

Утром явился Голуа. Он придирчиво осматривал лошадь и едва со мной поздоровался. Я молчал и почти не отвечал на его придирки. Да, признаться, мне не до того было: Осип побежал к школе с моей запиской. Я очень боялся, что вдруг ему скажут, что Наташка не ходит в школу, и тогда все сорвалось. Мне поэтому ничего не стоило равнодушно и холодно слушать французово брюзжание. Я невпопад и рассеянно отвечал. Голуа даже глянул на меня раза два, нажал черными гляделками.

— Эй, Мироша! — услыхал я вдруг Осипов голос. Я не дослушал Голуа и бегом бросился к Осипу.

— Ну что? Что?

Уж по тому, как Осип хитро улыбался, я понял, что дело вышло. А он щурился и не спеша выкладывал:

— ...И валит, валит, мать моя! «Какую бы, — думаю, — пошустрей прихватить? Не напугать бы». Смотрю, две идут и снежками, что мальчики... Я — стой! «Чего, — говорю, — озоруешь?» И хвать одну. «Ну, — говорю, — отвечай: каких Наташек знаешь?» Она — такую, сякую — хвать, и твою. «Ах ты, — говорю, — милая! Вот ей письмецо передашь». Дал ей письмо, а ее выпустил: «Беги, опоздаешь». Вот, брат, как. А с этим-то? — И Осип кивнул на Голуа.

— Не говорил пока ничего.

— И ладно. Не рвись. Дело, брат, это аховое.

— Мирон! — визгнул Голуа. — Мирон, идите сюда!

— Валиком! — крикнул мне вдогонку Осип.

Я неторопливо подошел.

— Ну? — сказал Голуа. — Ваш ответ. Я слушаю, — и наклонился боком.

— Насчет чего? — спросил я спокойно, как мог.

— Насчет Короля, удава, змеи! Я жду! — закричал Голуа.

— А что вы, собственно, хотите? Ведь я не знаю, о чем мы договариваемся.

— Ну работать, работать со змеей!

— Слушайте, — сказал я строго. Голуа удивленно на меня вскинулся. — Слушайте, Голуа: я не дурачок и не колпак, вы знаете. Объясните во всех подробностях, в чем состоит номер с удавом, а то вы хотите продать мне зайца в мешке.

И вдруг француз улыбнулся так очаровательно, как он улыбался публике. Он схватил меня под руку и, заглядывая в лицо, потащил из конюшни.

Осип крякнул нам вслед.

— Мой друг, — заговорил ласково Голуа, — месье Мирон! Между друзьями нет споров: я не могу предложить моему другу что-либо тяжелое или безрассудное. Здесь ничего не надо, кроме привычки и аккуратности. Змея — это машина. Глупая, бездушная машина. Локомотив может вас раздавить, но не надо становиться на рельсы. Это так просто. Все дело в том, что змея будет обвивать вас своими кольцами. Она будет искать удобного положения, чтобы вас сдавить. — Голуа показал сжатый кулак. — Не пугайтесь, дорогой мой! Но она давит только при одном определенном положении: при том, в каком она наползает на свою жертву. Пока она наползает, кольца ее слабы, они едва висят, они свободны, подвижны. Стоит их сдвинуть, и змея вас никогда — никогда, понимаете? — никогда не сдавит. Она будет делать второе кольцо вокруг вас, — Голуа очертил линию вокруг своего живота, — но вы методически и спокойно сдвигаете и это кольцо. Она делает третье — какой эффект! Вы представляете зрелище? Публика не дышит в это время. Но вы манипулируете и передвигаете и это третье кольцо. Змее негде навить четвертое, и она сползает. Но она сейчас же начинает свою работу снова, как автомат, как машина. Так три тура — больше не выдерживает публика. Истерика, крики! Детей выносят. В это время в клетку — она тут же на арене — всовывают кролика, и змея стремится туда, чтоб его проглотить. Кролика выдергивают через заднюю форточку, а дверцу захлопывают. Номер кончен. Три минуты. И это мировое дело. Афиши и буквы в два метра. С этим номером вам откроют двери лучших цирков Нью-Йорка. Париж у ваших ног, дамы! Цветы! Слава! И вы через полгода откроете кафе на итальянском бульваре. Мирон, Мирон! — И он хлопал меня по спине.

Француз заглядывал мне в глаза и изо всех сил улыбался.

— Надо подумать, — сказал я.

— О чем думать? Думайте о том, что вы будете получать за каждый вечер от меня двадцать рублей! Это будет... — И он назвал какую-то тучу франков. — А в месяц, — кричал Голуа, — в месяц, мой друг, в один месяц вы заработаете десятки тысяч франков! — Голуа стал и сделал рукой тот жест, за который ему хлопал каждый вечер весь цирк. — Руку! — И он бравым жестом протянул мне свою руку в лайковой перчатке.

— Я подумаю, — сказал я и не торопясь поплелся в конюшню.

— Ну, что он там голосовал так? — спросил меня Осип.

Я рассказал. Осип качал головой, глядя в пол, и молчал.

— Что-то больно он старается около тебя. Сам-то с директора за номер сгреб — будьте здоровы. Долларами, каналья, гребет... А ты думал? А как же? Они все валютчики.

— Попробовать разве? — сказал я.

— Кака уж проба? — вскинулся Осип. — Уж если этот-то тебя попробует, так одного разу и хватит. И зовется удав. Удав и есть. Удавит, и край. Крыр, и кишки вон.

Но я уж думал о том, что за пять раз я получу сто рублей, а через месяц — я выплачу эти проклятые пятьсот рублей. Нет! Я буду посылать сто рублей жене и сто в товарищество за растрату. Два месяца, и я свободен. Пускай тогда судят. Я не вор, не вор тогда. И я представил себе, как в банке будут удивляться: «Смотрите-ка, Никонов!» И все будут говорить: «Я всегда утверждал, что он порядочный человек. Ну, случилось, увлекся, со всяким может случиться, но не всякий же...» А дома! Вдруг сто рублей! От папы! И тут же узнают, что и в банке получили... У меня запорхали, заметались в голове такие мысли, как цветы, и дыхание сперло.

— Осип, голубчик, — сказал я, — пусти, я попробую, ты знаешь ведь...

Осип рукой замахал:

— Да что ты? Господь с тобой! Да разве я тебя держу? Да что я тебе, отец иль командир какой? Только стой, стой! Меньше четвертного ни-ни! Никак! Двадцать пять за выход. И чтоб сто рублей вперед. А ну, неровен час, с первого же разу — тьфу-тьфу! — да что случится? А за собак чтоб особо. Уж раз твое дело такое...

— Какое дело? — сказал из-за спины конюх Савелий.

— Тьфу, тебя не хватало. — Осип оттер его плечом. — Без тебя тут дело.

Я пошел к Голуа.

Голуа нетерпеливо ходил по коридору. Он бросился мне навстречу.

— Ну-ну?

— Двадцать пять рублей, — сказал я строго. — И сто вперед.

Голуа на секунду сдвинул брови, но сейчас же сделал восторженную улыбку и с размаху ударил рукой мне в ладонь.

— Моя рука. Честь, месье Мирон, это есть честь. Вуаля! А страховка? А, ха, ха-ха! — Он рассмеялся, как актер, отогнувшись назад. — Если я внесу три советских рубля в три советских кассы, то, вероятно, наш Король этого не испугается. Но вот страховка, вот! — Он вынул из кармана чистенький маузер и хлопнул по нему рукой. — Этот пистолет и мое искусство — вот страховка. Идем!

Он потащил меня в ту комнату, где был удав.

— Вот моя визитная карточка.

Он быстро вытащил из кармана серебряный карандашик и намазал посреди карточки черную точку величиной с горошину.

Он ловко плюнул на стену и приклеил карточку.

— Это глаз Короля. Раз, два, три — пять шагов. Прикройте двери.

Француз, почти не целясь, выстрелил навскидку из маузера. Карточка слетела. Я поднял. Черная точка оказалась пробитой.

— Наклейте! — командовал француз. — Вуаля!

Бах! Новой дырки не было на карточке. Голуа бил пуля в пулю.

— Но вы скажете, голова змеи не мешок, это не фантом из музея — голова движется. Великолепно! Бросайте карточку в воздух. Нет, выше!

Я бросил, и карточка завертелась в воздухе.

Бах! Карточка метнулась в сторону. Ясно было, что француз не промазал.

— Вы довольны? Вы поражены? Слово чести — так же будет прострелена голова Короля, если он только на секунду заставит вас почувствовать неловкость, — слово артиста. Вы можете перед каждым выходом проверять мое искусство. Для манежа я заряжаю разрывными пулями. Вы будете увереннее манипулировать кольцами Короля. Ле Руа! — обратился он к удаву. — Мы начинаем работать сегодня, после обеда. Ну?

Змею встревожили выстрелы. Она подняла голову и неподвижно глядела на меня.

Опять на меня.

VII

Мы пошли с Осипом обедать в столовку напротив. Савелий увязался за нами. Я почти ничего не мог есть.

— Ну, ничего, — говорил Осип, — оно на работу-то и легче. — И смотрел больше в свою тарелку.

Говорить при Савелии с Осипом я не мог. Савелий все заглядывал мне в лицо, и, когда мы уж кончили обед, он осклабился косорото и сказал:

— А надо, кажется, поздравить, а? С новым ангажементом?

— А что? В чем дело? — сказал Осип, будто ничего не знает.

— Как же, номер его со змеей-то. Слыхать было: француз в конторе уж договор делал. Как же-с. Пятьдесят долларов за вечер. Надо думать, тебе половина. Тоже, значит, валютчик. — Он толкнул меня локтем и подмигнул. — Не грех было б поставить парочку. Ишь ведь — молчит!

— Брось ты, пристал к человеку, — сказал Осип. — Не то у человека в голове, а он парочку ему. Слюни-то распустил. Уж видно будет. — И зашагал быстрее.

Савелий будто надулся. Но мне, верно, было ни до кого. Я думал, что мне сейчас на манеж и начинать...

В цирке Голуа уже ждал меня. На манеже было много народу. Сам директор в пальто и котелке стоял, запустив обе руки в карманы. Самарио я тоже мельком заметил: он стоял в проходе и мрачно глядел, как суетился Голуа. Оркестр вполголоса наигрывал новый марш. Я его в цирке не слыхал прежде. Я потом узнал, что это был мой марш: музыка «под удава». Марш с раскатом, как сорвавшийся поток. Голуа потащил меня в уборную. Он наклеил мне черные усы, напялил какую-то безрукавку — она была мала на меня — и широкие штаны трубой, совершенно желтые.

— Это надо, надо, чтобы вы были другой с удавом, не тот, что с собаками. Кроме того, удав знает этот костюм. Главное — манипулируйте кольцами. Я вам буду показывать. Слушайтесь беспрекословно, тогда это абсолютно безопасно, как стакан кофе. Первое кольцо вы передвигайте вниз. Дайте вашу руку.

Он провел моей рукой по безрукавке вниз.

— Немного — двадцать сантиметров. Второе кольцо вы так

же передвигаете вверх. Вот так. Третье опять вниз. Оно придется здесь, на плечах. Идемте. Дю кураж! Не трусить! Это ваша карьера. Идем.

Все служащие, все конюхи были на арене. Все глядели на меня серьезными, строгими глазами.

— Станьте здесь, посредине! Так! — командовал Голуа. — Ноги расставьте шире. Больше упору, ваш партнер не из легких.

Я чувствовал, что у меня чуть подрагивали колени.

— Внесите! — скомандовал Голуа.

Директор дал знак, и шестеро конюхов пошли, — я знал, за клеткой. У меня колотилось сердце, и я нервно дышал. Я бы убежал с арены, если б на меня не глядели кругом люди. Бежать мне было стыдно, и я стоял, стараясь покрепче упереться в песок арены.

— Дю кураж, дю кураж, — вполголоса подговаривал Голуа.

Я видел, как шестеро конюхов внесли клетку, но я старался не глядеть. Клетку поставили против прохода.

— Маэстро! — крикнул француз. Оркестр заиграл марш. Голуа подошел к клетке, и я услышал, как взвизгнула дверка, когда ее поднял француз. Вся кровь у меня прилила к сердцу, и я боком глаза увидал, как удав двинулся из клетки на арену. Я боялся глядеть, я закрыл глаза, чтобы не побежать. Я слышал, как шуршит под ним песок, ближе и ближе. И вот сейчас около меня. Здесь! Я слышал шорох каждой песчинки, у самых моих ног. И тут я почувствовал, как тяжело налегла змея на мою ногу. Нога дрожала. Я почувствовал, что сейчас упаду.

— Дю кураж! — крикнул Голуа, как ударил хлыстом.

Я чувствовал змею уже вокруг пояса. Тяжесть тянула вниз, — я решил, что пусть конец, пусть скорей давит; я крепче зажал глаза́, стиснул зубы.

— Манипюле́! Манипюле! — заорал француз. Он схватил мои руки — они были как плети, — зажал их в свои и стал хватать ими холодное и грузное тело. Мне хотелось вырвать мои руки — ничего не надо, пусть давит, только скорей, скорей.

— Манипюле! Манипюле! Донк! — слышал я как сквозь сон окрики Голуа.

— Третье кольцо вниз! — Он тянул моими безжизненными руками вниз эту упругую, тяжелую трубу. В это время забренчала клетка, и я почувствовал, что удав сильными, упругими толчками сходит. Я открыл глаза. Первое, что я увидел, — бледное лицо Осипа, там, далеко в проходе. Голуа поддерживал меня под руки. Ноги мои подгибались, и я боялся, что если шагну, то упаду. Осип бежал ко мне по манежу. Я слышал, как хлопнула дверца клетки. Голуа улыбался.

— Браво́, браво! — говорил он и поддерживал меня под мышку. Я был весь в поту...

— Вам дурно? — спросил меня директор по-французски.

— О! Это храбрец, — говорил Голуа, — настоящий француз — бравый мужчина. Не беспокойтесь, месье, немножко коньяку — и все!

Я неверными шагами шел рядом с Голуа. Мы остановились, чтобы

пропустить клетку с удавом. Я сидел в уборной, разбросав ноги, а француз болтал и подносил мне коньяку рюмку за рюмкой. Я едва попадал в рот — до того тряслись руки. Я хотел пойти к Осипу, я хотел лечь в конюшне, но я знал, что я сейчас не дойду.

VIII

Перед представлением я пошел пройтись по морозу. Осип был занят, я пошел один. В дверях меня нагнал Савелий.

— Ах, как это вы! Я думал, вот-вот с ног падете. Этот номер у вас пойдет. — Он увязался со мной на улицу. — Надо бы спрыснуть, уж как полагается.

Я не говорил, а только кивал головой.

— Ну, ладно, вечерком, значит. Все же наш, советский, артист. — Он снял фуражку, поклонился и побежал обратно в цирк.

Я вернулся за час до начала. В полутемном коридоре под местами я услышал иностранный разговор. Я заглянул и сразу на фоне тусклой лампочки увидал длинный силуэт Голуа. Самарио, приземистый и сбитый, как кулак, стоял против него и сквозь зубы говорил с итальянским раскатом:

— Вы, вы это сделали. Никто, ни Мирон, ни один человек. Здесь только один мерзавец.

— Что? Как! Что вы сказали? — Голуа шипел и, видно, боялся кричать. Я видел, что он слегка приподнял хлыст, тоже как бы шепотом.

Я мигнуть не успел, как Самарио залепил оплеуху французу. Он стукнулся об стену и сейчас же оглянулся. Итальянец рванул у него из руки хлыст и резнул два раза по обеим щекам, так что больно было слышать, и хлыст полетел и шлепнулся около меня.

— Мерзавец! Бродяга! — крикнул Самарио и запустил руки в карманы своей венгерки. Я ушел в конюшню.

Вечером на работу Голуа вышел с наклеенными бакенбардами. Я очень рассеянно работал. Прямо черт знает что получалось у нас в этот вечер. Собаки все путали, а Гризетт вдруг поджала хвост и побежала в проход, вон с арены. Голуа погнался. Он поймал ее за ухо в конюшне. Мне видно было, как лицо у него скривило судорогой от злости и он хлыстом бил и резал Гризетт по чем попало. Собака так орала, что публика начала гудеть. Я хотел бежать за кулисы, но в это время выбежала Гризетт, а за ней весело выскочил вприпрыжку Голуа. Он улыбался публике сияющей улыбкой. Мы кое-как кончили номер. Голуа сделал свой знаменитый жест. Публика на этот раз меньше хлопала.

Я стоял в проходе и смотрел, как пыхтели на ковре среди арены два потных борца. Ко мне вплотную подошел Самарио. Он потянул мою руку вниз и кивнул головой: «Пойдем». Мы вышли в коридор. Самарио глядел мне в глаза, шевелил густыми бровями и говорил на плохом французском языке.

— Ваш хозяин — мовэ́ сюзэ́! Негодяй! Вы это знаете? Нет? Вы

делаете номер с боа, с удавом. Я должен вам сказать, что в прошлом году я читал в заграничном журнале «Артист» про один случай. Катастрофу. Тоже боа и тоже обвивал человека, и тот номер показывал тоже один француз. И в Берлине этот удав задавил человека насмерть! При всей публике. Поняли? Я не запомнил фамилию француза. Это все равно. Фамилию делает вам афиша. Но я думаю, что на вас платье с этого удавленного человека. И змея та же самая. Вероятно. Но что уж наверно — так это то, что вы работаете у подлеца. Вы сами не француз? Нисколько? Вашу руку.

Самарио больно сдавил мне руку и пошел прочь. Походка у него была твердая; казалось, он втыкал каждую ногу в землю. Он звонко стучал каблуками по плитам коридора.

Я все смотрел ему в спину и думал: «Неужели я надеваю этот костюм покойника?» Мне не хотелось верить. Итальянец ненавидит Голуа. Может быть, он врет мне нарочно, чтоб сорвать французу его номер. Мстит ему за то, что он испортил ему лошадь Эсмеральду. Я хотел догнать Самарио и спросить, не шутит ли он, чтоб напугать меня.

Ночью мы, конюхи, сидели в нашей пивной. Я угощал. Савелий опять говорил мне «вы» и называл «гражданин, простите, Корольков». Когда мы вышли на улицу, он отстал со мной и сказал:

— Червончик-то дайте мне на счастьице, а? На радостях-то?

Какие уж были там, к черту, радости: Голуа завтра обещал пропустить удава через меня два раза. Я полез в карман и дал Савелию червонец. Пропили мы одиннадцать рублей. Изо всей сотни у меня осталось только семьдесят шесть рублей. Я решил завтра же послать в банк пятьдесят и двадцать пять домой.

Так я и сделал: на другой день утром я послал два перевода. На том, что в банк, написал не сам: мне за пятак написал под мою диктовку какой-то старик в рваной шинели. Фамилию и адрес отправителя я выдумал, а на «письменном сообщении» так: «По поручению П. Н. Никонова в счет его долга в 500 рублей. Остается 450». Перевод домой я заполнил сам. Фамилию отправителя я выдумал, но на обороте написал по-французски жене:

«Милая моя! Я жив и здоров. Я работаю, я плачу свой долг банку, а эти деньги посылаю тебе. Если ты меня прощаешь, и меня и Наташу, купи, дорогая, ей зеленую шапочку вязаную, она так просила. Твой Пьер. Умоляю, не ищи меня. Я вернусь, когда будет все кончено».

Я хотел еще много приписать, но начал так разгонисто, что едва хватило места и на это. Квитанцию я запрятал в шапку за подкладку.

Я шагал по улице совсем молодцом. Я чувствовал в шапке эти квитанции. Мне казалось, что я что-то большое несу в шапке, что шапка набита, и я иду, как разносчик с лотком на голове.

Но когда я вошел в цирк, я вспомнил, что мне надо идти топить к удаву. «Ничего, — подумал я, — вот удав выручает. О! привыкну». И я сказал себе, как Голуа: дю кураж! Я топил, не глядя на Короля. Вздор! Машина, черт с ней, что живая. Нельзя же бояться автомобиля в гараже потому, что он тебя раздавит, если лечь на дороге. Но когда

змея зашуршала в своей клетке, мне стало не по себе. Я мельком глянул на нее и вышел из комнаты.

После обеда я опять наклеил усы, как вчера. Я нарочно порвал безрукавку, когда напялил ее на себя. Весь этот костюм казался мне покойницким саваном. Я спросил Голуа, нельзя ли мне работать в том, что на мне.

— О нет! Змея привыкла именно к этому.

— А разве кто-нибудь в нем уже работал? — спросил я.

— Я! Я! Я сам в нем работал, я учил змею делать номер. Вы сейчас только манекен, фантом. В этот костюм проще было бы нарядить куклу. Она не тряслась бы по крайней мере, как кролик!

Голуа так орал, что одна бакенбарда отстала, и мне стал виден багровый рубец на его щеке.

На арене повторилось почти то же, что вчера. Только я на втором туре приоткрыл глаза. Но руками я все еще сам не действовал. Голуа ворочал ими и покрикивал:

— Манипюле ву мем! Сами старайтесь, сами! Дю кураж!

Он меня снова отпаивал коньяком. Он хвалил меня, говорил, что теперь он видит, что дело пойдет, что он даст афишу. Через неделю можно выступить.

— Да, — сказал он, когда я уходил, пошатываясь, из уборной, — да, а коньяк купите сами. Серьезно. Вы выберете, какой вам больше по вкусу.

Билетерша, наша делегатка, перед представлением принесла мне книжку. Она долго мне не давала ее в руки, все хлопала книжкой по своему кулачку и выговаривала мне:

— Ты, товарищ, теперь обязан, как член профсоюза, требовать, чтоб твой валютчик этот тебя застраховал. Требовать! Понимаешь? А если что, сейчас же скажи мне. Нашел себе, скажи, дураков каких! Вот тебе книжка, и чтоб завтра же он взял страховку!

Я сделал дурацкую морду и смотрел в пол. Больше всего потому, что брал от нее фальшивую книжку.

Теперь в кармане была книжка на Мирона Королькова; мне очень хотелось совсем быть Мироном, но в шапке были эти квитанции, и от них мне и приятно и жутко. Я шел от билетерши, и тут на лестнице меня ждал Савелий.

— С союзом вас! — И он мотнул шапкой в воздухе. — Нынче у вас выходило — ах как замечательно! Артист, артист вполне, народный артист Советской Республики Эр-Эс-Эф-Эс-Эр!

Он шел за мной по лестнице. Мы проходили через пустой буфет, и тут Савелий сказал:

— Трешечки не будет у вас?

У меня было два рубля и мелочь.

— Хочешь рубль? — И протянул в руке бумажку.

— Да что ж это вы? — фыркнул Савелий. — Это что? Как нищему? Скажи, буржуем каким заделался. Давно ты сюда слез-то?

— У меня же нет трешки, понимаешь?

— Поняли! — Савелий мотнул вверх подбородком и зашагал.

IX

Мы работали с удавом теперь уже в три тура, как говорил Голуа. Удав переползал кольцами через меня три раза. Я уж стал двигать кольца, и француз со своей рукой наготове командовал:

— Ниже, ниже! Хватайте второе кольцо.

И я чувствовал под пальцами тяжелое, твердое тело змеи: живая резина.

Теперь уж музыка обрывала свой марш, едва удав подползал ко мне, и барабан ударял дробь тревожно, все усиливая и усиливая. В прежние времена ударяли дробь, когда человека казнили. После третьего «тура» барабан замолкал, звякала форточка в клетке, удав спешил схватить кролика и волнами, как веревка, которую трясут за конец, быстро уползал в клетку. Я уже не закрывал глаз и не шатался на ногах.

В воскресенье вечером должен был идти первый раз при публике наш номер с удавом.

Оставалось еще четыре дня.

— Вы видите, мой друг, — сказал мне Голуа, — это же просто, как рюмка абсенту. Этот фальшивый риск только опьяняет, правда ведь? Бодрит! И вы на верном пути. Три минуты, и двадцать пять рублей. И вы уже, я заметил, обходитесь без коньяку, плут этакий!

Француз обнял мою талию и защекотал мне бок, лукаво подмигнув.

Я оделся и вышел пройтись.

Я шел, совершенно не думая о дороге. Я сам не заметил, как очутился у своего дома.

Схватился только тогда, когда уже повернул в ворота. Наш дворник с подручным скребли снег на панели. Я на минуту задержался.

— А кого надо, гражданин? — окликнул меня дворник.

Я бухнул сразу:

— Корольковы тут?

— Таких не проживают, — отрезал дворник.

— Нет у нас такого товару, — сказал подручный, оперся на скрябку и подозрительно уставился на меня. Я повернул и быстро пошел прочь. Я завернул за угол и ускорил шаги.

Улица была почти пуста, и я уже хотел завернуть еще за угол, как вдруг увидел двух девочек. Девочки шли и размахивали школьными сумками. Они так болтали, что не видели ничего.

Я узнал — справа моя Наташка.

Сердце мое притаилось: окликнуть? Если б одна была она... Я прошел мимо, дошел до угла, обернулся и крикнул громко:

— Наташа! Наташа!

Наташа сразу волчком повернулась. Она смотрела секунду, выпучив глаза на незнакомого человека, красная вся от мороза и волнения, и стояла как вкопанная.

— Наташа! — крикнул я еще раз, махнул ей рукой и бегом завернул за угол. Тут было больше народу, и я сейчас же замешался в толпе. До цирка я шел не оглядываясь, скорым шагом и запыхался, когда пришел.

На дверях цирка мне бросилась в глаза новая афиша. Огромными красными буквами стояло:

МИРОНЬЕ

Я подошел и стал читать.

Всем! Всем! Всем!
В воскресенье состоится первая гастроль
известного укротителя
неустрашимого
МИРОНЬЕ

Первый раз в СССР!
На арене царь африканского Конго
КРАСАВЕЦ УДАВ КОРОЛЬ.

Редчайший экземпляр красоты и силы
6 метров длины!

Борьба человека с удавом!
МИРОНЬЕ будет бороться с чудовищем
на глазах публики

Детей просим не брать.

И тут же в красках был нарисован мужчина в такой же безрукавке и желтых брюках, в каких я работал, и этого человека обвил удав. Удав сверху разинул пасть и высунул длиннейшее жало, а Миронье правой рукой сжимает его горло.

Вот какую афишу загнул француз. Мне было противно: мне так нравилось, что на наших цирковых афишах правдиво и точно рисовали, в чем состоят номера, и даже артисты бывали похожи. И чего он, не спросясь меня, окрестил меня Миронье? Рожа у меня была на афише, как будто я гордо погибаю за правду.

В конюшне все были в сборе, и, пока еще не начали готовиться к вечеру, все болтали. Я вошел. Осип засмеялся ласково мне навстречу:

— Видал? — И Осип стал в позу, как стоял Миронье на афише, поднял руки вверх. — Иро́й!

Все засмеялись.

— Миронье! Миронье!

Савелий стоял в хлесткой позе, опершись локтем о стойло и ноги ножницами. Держал папиросу, оттопырив мизинец.

— Миронье, скажите. Много Миронья́ развелося.

Все на него глядели.

— Удавист! — фыркнул Савелий. — Усики наклеивает. Вы бы, барин, свою бородку буланжой обратно наклеили. Звончей было бы.

Савелий говорил во всю глотку, туда — в двери. Все оглянулись. В дверях наша делегатка билетерша кнопками насаживала объявление от месткома.

— Своячки! За шубу посвоячились. В советское время, можно сказать, такие дела в государственном цирке оборудовать.

Билетерша уже повернула к нам голову. Я шагнул к ней.

— А, товарищ Корольков! — И билетерша закивала.

— Какой он, к черту, Корольков? — закричал Савелий.

— Знаю, знаю, — засмеялась билетерша, — он теперь Миронье. Идем, Миронье, — дело. — Она схватила меня за руку и дернула с собой.

Я слышал, как Савелий кричал что-то, но все конюхи так гудели, что его нельзя было разобрать. А билетерша говорила:

— Как орут! Идем дальше. — И мы пошли в буфет. Билетерша мне сказала, чтоб я подал заявление в союз, что Голуа не страхует меня и заставляет делать опасный для жизни номер.

— Ты же не в компании, ты нанятой дурак, понимаешь ты, Мирон. Это же безобразие.

Я обещал что-то, не помню, что говорил: я прислушивался, не слыхать ли голосов снизу из конюшни. Я говорил невпопад.

— Совсем ты обалдел с этим удавом, — рассердилась билетерша. — Завтра с утра приходи в местком.

Мне надо было готовить Буль-де-Нэжа, и я пошел в конюшню.

Там все молчали, и все были хмурые. Савелий что-то зло ворчал и выводил толстую лошадь для голубой наездницы. Я принялся расплетать гриву Буль-де-Нэжа.

Самарио вывел Эсмеральду — она уже не хромала. Он пошел на манеж, а лошадь шла за ним, как собака. Она вытягивала шею и тянула носом у самого затылка итальянца.

— Алле! — крикнул Самарио. Эсмеральда круто подобрала голову и затопала вперед. Самарио топнул в землю, подскочил и как приклеился к крупу лошади.

Я вывел Буль-де-Нэжа промяться на манеж. Голуа меня ждал. Самарио остановил свою лошадь около нас.

— Я даю вам неделю, — сказал он, хмурясь на Голуа, — кончайте здесь и чтоб вас тут не было. А то не баки, а всю голову вам придется приклеить. Поняли? Алле! — И он проехал дальше.

— Слыхали? Слыхали, что сказал этот бандит? — И Голуа кивнул головой вслед итальянцу. — Вы свидетель! Я прямо скажу губернатору... нет, у вас теперь Совет! Прямо в Совет. У меня пять тысяч франков неустойки. Вы свидетель, месье Мирон. Я б его вызвал на дуэль и отстрелил бы ему язык, если бы захотел, но с бандитами разговор может быть только в полицейском участке.



После нашего номера я спросил Осипа:

— Как дело? А?

— Как приберемся, гони прямо в пивнуху, а я приведу Савела, сделаем разговор. — И Осип прищурил глаз. — Понял? Это надо...

Но Осип сорвался: на манеже сворачивали ковер после борцов.

Я ждал в пивной и потихоньку тянул пиво. Я все думал. Мне казалось, что уж ничего не поправишь, что Савелий уже сходил в местком. Может быть, написал заявление... или прямо донес в район. Мне хотелось поскорее уехать отсюда в другой город. Если б Самарио еще б раз набил рожу Голуа, чтоб завтра же собрался вон с удавом, собаками и со мной! А вдруг все, все уже кончено, и мне надо бежать сейчас же, прямо из этой пивной?

Пивную уже закрывали; я спросил еще бутылку. Официант поторапливал. Я решил, что, если не дождусь Осипа, я не вернусь в цирк. Шторы уже спустили. Я уже знал, что через минуту меня отсюда решительно попросят. Чтоб задобрить хозяина, я спросил полдюжины и обещал выпить духом. Мне еще не поставили на стол бутылок, тут стук на черном ходу. Вваливается Савелий, а за ним Осип.

Мы сидели и молча пили бутылку за бутылкой. Осип спросил еще полдюжины. Савелий только хотел открыть рот, Осип перебил его:

— Ты мне скажи: зачем ты товарища топишь? А? Человек страх такой принимает, а ты эту копейку из него вымучить хочешь? Товарищ этот...

— Какой товарищ? — грубым голосом сказал Савелий.

— А Корольков?

— Какой он Корольков? — И Савелий глянул Осипу в глаза: нака, мол, выкуси.

— Не Корольков? А как же его? — И Осип прищурился на Савелия.

— Не знаю как.

— А вот не знаешь, — Осип не спеша взял за горло бутылку, — не знаешь ты, браток, вот что крепче: бутылка эта самая, — и Осип похлопал бутылкой по ладони, — или башка, скажем, к примеру? Нет? Не знаешь? И я не знаю. Так можно, видишь ты, спробовать это дело. — Осип пригнулся и все глядел прищуренным глазом на Савелия.

Стало тихо. Савелий смотрел под стол.

— Ну это... того... конечно, — забурчал он, — известно... — И вдруг взял свой стакан, ткнул в мой: — Выпьем, что ли, и квит.

Я чокнулся и выпил.

— Так-то лучше, — сказал Осип и тихонько поставил бутылку на стол.

— Допиваем — и пошли, — вдруг сказал Савелий весело, как будто ничего не было. — Вы об лошадке можете не хлопотать. Мне ведь между делом раз-два. А вам ведь после удава-то... Верно: страсть ведь какая.

— Уезжать тебе надо, — шепнул мне на ухо Осип, когда мы расходились. — Все одно он тебя доедет... Савел-то.

X

В воскресенье был назначен днем детский утренник.

Я не смотрел по рядам на этот раз — я сразу увидал среди темных шапок зеленый огонек: ярко горела зеленая шапочка. Наташка сидела во вторых местах слева. И как я ни поворачивался на манеже во



время нашего номера, я и спиной даже чувствовал, как видел, где она, эта зеленая шапочка. Я подозвал Осипа и из прохода показал ему.

Осип заулыбался.

— Скажи, какая хорошенькая! Вот эта, говоришь, что встала?

— Да нет, вон рядом, в зеленом-то.

— Ну, эта еще лучше, — заулыбался Осип. — Позвать, может? В антракте скажешь? Аль боязно — вдруг кто заметит. А?

«Рыжий» подошел к нам.

— Кого вы высматриваете? Знаете кого-нибудь?

— Девочка мне будто известная, — сказал Осип.

— Дорогой, пожалуйста, хоть одну, мне надо до зарезу!

Осип глянул на меня, и я незаметно кивнул головой.

— Вон тая, зелененькая, вон-вон, во вторых местах, — как бы не Наташей звать.

«Рыжий» закивал головой.

Пока расставляли барьеры для лошадей, «рыжий», как всегда, путался и всем мешал. Дети смеялись. И вдруг «рыжий» закричал обиженным голосом:

— Вы думаете, если я «рыжий», так очень дурак? Я тоже учился... вот... вот, — и «рыжий» тыкал пальцами ребят, — вот с этой девочкой. — Он ткнул на Наташу. Он стал на барьер арены и тыкал пальцем прямо на Наташку. Я видел, как она хохотала и жалась на своем месте. Все на нее глядели. — Вот в зеленом колпачке. Да! Я даже насквозь помню, как ее зовут.

«Рыжий» приставил палец ко лбу. Наташка спрятала голову за свою соседку.

Секунду была тишина.

— Наташа! — выпалил «рыжий» и навзничь ляпнулся с барьера, задрав ноги.

— Верно! — запищало несколько голосов, и все захлопали, загоготали. Наташка, красная, хохотала в плечо своей подруге.

В антракте дети повалили в конюшню всей гурьбой. Я вертелся тут же, но не мог сквозь густую толпу ребят пробиться к Наташе и только издали следил за зеленой шапочкой.

Вечером шел в первый раз при публике номер с удавом. Но я очень легко о нем думал. Мне скорей хотелось начать получать свои два с половиной червонца. И я считал в уме:

«Воскресенье — раз. Понедельник — не работаем. Вторник — уже пятьдесят рублей. Это в банк... Нет, им! А в банк — в пятницу».

Я представлял, как они получат там дома. Ответ от них уж у меня был — на Наташке зеленая шапочка, как я просил.

Цирк был набит битком, и говорили, что около кассы скандалы и милиция. Мой номер должен идти последним. Директор нашел меня и серьезно спросил вполголоса:

— Вы себя хорошо чувствуете?

Я себя отлично чувствовал. Представление было парадное. Самарио играл со своей Эсмеральдой в футбол. Осип и «рыжий» стояли

голкиперами. Эсмеральда три раза забила гол Самарио. В конце «рыжий» прижал мяч коленками к животу и кубарем выкатился с манежа. Эсмеральда кланялась и делала публике ножкой. Потом схватила Самарио за ворот и унесла с арены. Я с этой возней с удавом не заметил, когда итальянец успел наладить этот номер.

Наш номер с собаками и с Буль-де-Нэжем прошел с блеском, как никогда. Голуа вызывали, и он три раза повторял свой жест. Теперь под куполом без сетки работали воздушные гимнасты. Тут Голуа схватил меня под руку и потянул к удаву.

— Я обязан вам показать мое искусство.

Он что-то долго рисовал на этот раз на визитной карточке.

— Бросайте! — сунул мне Голуа карточку. Я взглянул. На карточке была довольно похоже нарисована голова Самарио в жокейской кепке.

— Бросайте! Еще! Еще! Мы его помучим сначала.

Француз без промаха садил из маузера и подбивал карточку.

— Клейте теперь!

Я налепил карточку на стену.

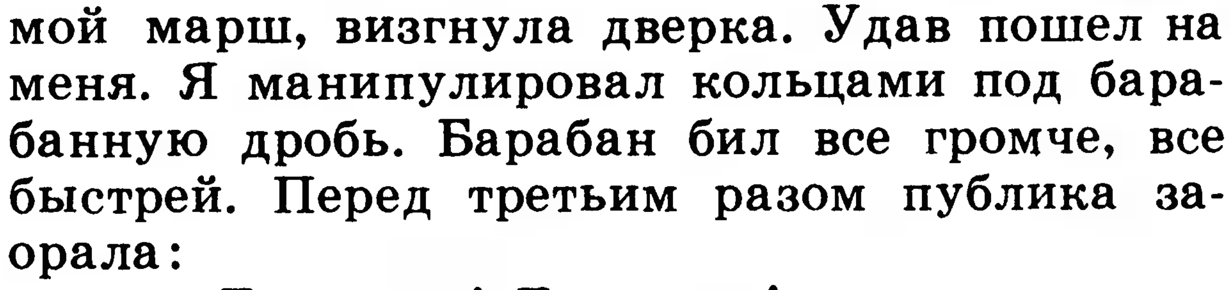
Бах! Бах! И Голуа всадил две пули рядом на месте глаз картонного Самарио.

Я вышел на манеж в своей безрукавке. Желтые панталоны с раструбами болтались на ногах, как паруса... Я сделал рукой публике и поклонился. Весь цирк захлопал.

— Вот что значит афиша! Какой кредит! — сказал француз.

Когда внесли клетку, вся публика взволнованно загудела. Это волнение вошло и в меня. Сердце мое часто билось. Но вот грянул





мой марш, визгнула дверка. Удав пошел на меня. Я манипулировал кольцами под барабанную дробь. Барабан бил все громче, все быстрей. Перед третьим разом публика заорала:

— Довольно! Довольно!

Удав полз по мне третий раз. Вой и крики заглушали барабан. Удав уже полз к своей клетке. Музыка снова ударила мой марш. Я осмотрелся кругом: весь цирк стоял на ногах. Хлопали, кричали, топали. Я раскланивался. Публика не унималась. Бросились с мест.

— Долой с манежа! — резко крикнул мне Голуа. — Они будут вас бросать в воздух.

Я проскочил вперед клетки, которую уже несли служители за кулисы.

Клетку поставили в коридоре, и публика тискалась и толкалась: всем хотелось взглянуть на Короля. Голуа в уборной обнимал меня.

— Вы должны меня благодарить, мой прекрасный друг, но я рад, я поздравляю, я горжусь вами. — И он тискал меня со всех сил. Я вспомнил про пятьдесят долларов. Я спросил деньги.

— Ах, мой друг, ведь вы получили на четыре вечера вперед.

Да, действительно: я взял у Голуа сто рублей еще перед первой пробой.

— Но если вам нужны деньги, то я готов. Вот вам двадцать пять, — и он масляно глядел мне в глаза, передавая червонцы, — и даже... тридцать. Я не копеечник. — И он с шиком хлопнул мне в руку дрянную пятерку. — Вы счастливы! Поцелуйте меня!

И мне пришлось с ним поцеловаться.

— Слушайте, мой друг, — сказал Голуа, обняв меня за плечо, — ведь вы француз в душе, в вас есть мужество галла, изысканность римлян и мудрость франков. Вы мне сочувствуете, не правда ли? Скажите: что лучше всего предпринять против этого корсиканского бандита? Вы ведь не откажетесь быть свидетелем?

Я знал лишь одно: что надо скорей, скорей уезжать отсюда. И я сказал Голуа:

— Ведь Самарио тоже может найти свидетелей... заноза, железная заноза... Вы понимаете?

— Это подлый вздор! — закричал Голуа, и глаза его сжались. кольнули меня.

— Да, но об этом говорят, все говорят.

Француз вернулся и хлопнул себя зло по ляжке. Но вдруг он присмирел и таинственным голосом спросил:

— Вы знаете этого конюха? — И он показал рукой маленький рост и большие усы. Я знал Савелия и кивнул головой.

— Вот он, — продолжал шепотом француз, — он мне сказал, будто он видел и чтоб я ему дал десять рублей. Это вздор, он мог видеть это во сне. Но он бедный человек. Здесь такие маленькие жалованья. Я пожалел его... я дал десять рублей. Как вы думаете?

— Я думаю, что надо ехать, и больше ничего.

— Вы думаете?

— Да, — сказал я твердо.

— Вашу руку, мой друг, я вам верю. — И Голуа посмотрел мне в глаза нежным взором.

Через неделю Голуа назначил отъезд. Приглашений было масса. Даже предлагали уплатить все неустойки.

За эту неделю я успел послать пятьдесят рублей в банк и двадцать пять домой. Долгу за мной теперь оставалось четыреста рублей.

После прощального спектакля Самарио снова подошел ко мне и сказал:

— Еще раз говорю вам — ваш хозяин мер-за-вец!

— Я знаю, — сказал я.

Самарио вздернул плечи.

— Ну... вы не дурак и не трус. Адди́о, аддио, синьор Миронье. — И он крепко пожал мне руку.

В день отъезда я бегал к школе — я стоял напротив у остановки трамвая и пропускал номер за номером. Выходили школьники, но Наташи я не видал. Может быть, я ее пропустил... Вечером на вокзале

бросил в ящик письмо. Я написал длинное письмо домой. Я ничего не писал о том, где и как я работаю. Не написал и о том, что уезжаю. Я до смерти боялся, чтоб не напали на мой след, раньше чем я выплачу эти проклятые пятьсот рублей.

Конюхи меня провожали, и Осип стукнул рукой в мою ладонь и сказал:

— Ну, счастливо, свояк! Пиши, если в случае что. Не рвись ты, а больше норови валиком. Счастливо, значит.

А я все говорил: «Спасибо, спасибо» — и никаких слов не мог найти больше.

XI

Теперь я уже жил в гостинице; меня прописали по моей союзной книжке. В этом чужом городе меня никто не знал.

В цирке меня приняли как артиста, артиста Миронье с его мировым номером — борьба человека с удавом.

Голуа все торговался с конторой, чтоб помещение для удава топили за счет цирка.

Здесь уже три дня висели афиши, и все билеты были распроданы по бенефисным ценам. Оркестр разучивал мой марш. Нельзя было менять музыку. Король уж привык работать под этот марш. Я узнал, что Голуа прибавили до семидесяти долларов за выход, и я потребовал, чтоб за это он взял мое содержание за свой счет. Голуа возмутился.

— Это вероломство! — кричал он на всю гостиницу. — Честь — это есть честь.

Но я намекнул, что я могу заболеть, и даже сделал кислое лицо. Француз ушел, хлопнув дверью. Но ночью, после представления, он ворчливо сказал в коридоре:

— Больше семи рублей в сутки я не в состоянии платить за вас, — и нырнул за дверь.

«Ничего, валиком», — твердил я себе, засыпая.

Дела мои шли превосходно. Я получил мое жалованье за месяц. Все сто рублей я перевел в банк. Это уж были последние сто рублей. Я ходил в тот день именинником. Я теперь думал только о том, чтобы собрать еще немного денег для семьи. Я решил, что скоплю им шестьсот рублей. Пока меня будут судить, пока я буду в тюрьме, пусть им будет легче житься.

Мы переезжали с французом из города в город. Голуа уже заговаривал о загранице. К удаву я почти привык. Я говорю «почти», потому что каждый раз, как открывалась на арене клетка, по мне пробегала дрожь.

Мы гастролировали на юге, и уже повеяло весной. Удав стал веселей; он живей подползал ко мне, он спешными, крутыми кольцами обвивал меня, — этого бы никто не заметил. Сам Голуа этого не видел, это мог чувствовать только я, у которого под руками играли упругие мышцы удава. Я чувствовал, что удав сбросил свою зимнюю лень. Наш номер кончался в две минуты. И я каждый раз слышал вздох всего

цирка. Француз не врал: зрители еле дышали, пока удав, как будто со злости за неудачу, с яростью завивал вокруг меня новое кольцо.



У меня было уже шестьсот рублей. Но деньги сами плыли мне в руки. Я играл без проигрыша. Я теперь сам выбирал, куда мне стягивать кольца змеи — вниз или вверх. Я вертел змеей как хотел. Этот резиновый идиот впустую проделывал свою спираль и оставался в дураках. Мне нравилось даже играть с ним, когда он был на мне; я его уж нисколько не боялся. Я решил добить мои сбережения до двух тысяч. Свое жалованье за работу с собаками я целиком отправлял семье.

Был, помню, праздник. Народу, как всегда на наши гастроли, привалило множество. Было тепло. Толпа была пестрая, и яркими пятнами светились в рядах детские платья. От манежа попахивало конюшней.

Шел дневной спектакль — в этот день у меня было два выхода с удавом. Оркестр бодро грянул мой марш, вся публика привстала на местах, когда пополз удав. Он быстрыми волнами скользнул ко мне, шурша опилками по манежу. Голуа стоял рядом, как всегда держа под накидкой свой маузер. Удав набросил свое тело кольцом, но я шутя передвинул его выше: удав скользнул дальше. Я работал уверенно, играючи. Шел третий тур. Я уже лениво перебирал кольца. И вдруг услышал:

— Манипюле! Манипюле!

И в это время я почувствовал, что кольцо змеи с неумолимой силой машины сжимает. Я ударил по кольцу кулаком, как о чугунную трубу, и я больше ничего не помню.

Потом мне рассказали, что Голуа выстрелил, весь цирк сорвался с мест с воем: женщины бились в истерике. Конюхи, пожарные бросились ко мне.

Я очнулся в больнице. Я открыл глаза, обвел эти чересчур белые стены без единого гвоздика, без картинки, увидал на себе казенное одеяло и сразу все понял. Я не знал, цел ли я, и боялся узнавать. Я закрыл глаза. Я боялся пошевелить хоть одним членом, чтоб не знать, ничего не знать. Я забылся.

Меня разбудил голос: кто-то негромко, но внятно и настойчиво говорил надо мною:

— Миронье! Вы слышите меня, Миронье?

Я открыл глаза: надо мной, в белом халате, стоял доктор в золотых очках. За ним стояла сестра в белой больничной косынке.

— Как вы себя чувствуете? — спросил доктор по-французски.

— Я русский, — сказал я. — Спасибо. Не знаю. Скажите, доктор: я совсем пропал? — сказал я и почувствовал, что слезы застлали

глаза и доктор расплылся, не видно. Я невольно поднял руку, чтоб протереть глаза. Рука была цела. Но доктор закричал:

— Не двигайтесь, вам нельзя. Но с вами беды большой нет. Мы поправимся. Ничего важного. Помяло вас немного. Но это, оказывается, лучше, чем из-под трамвая. Порошки давали? — обратился он к сестре.

Я видел, что все больные — нас было в палате человек тридцать — обернулись ко мне. Иные привстали на локте.

— С добрым утром! — говорили мне. И все улыбались.

— Сестрица, что со мной? — спросил я, когда ушел доктор. — Как все было? Я буду жить?

— Живем, чудак, — сказал мне сосед. — Мы-то думали — француз.

— Я спрятала номерок — сами прочтете, я не была, не видела.

И вот я читал в старом номере местной газеты:

УЖАСНЫЙ СЛУЧАЙ В ЦИРКЕ

Вчера на арене цирка разыгралась потрясающая драма.

Гастролирующий в нашем городе артист, укротитель Миронье, показывал свой номер — борьбы человека с удавом. Номер состоял в том, что чудовищная змея обвивала кольцами укротителя, но Миронье удачными маневрами выпутывался из ее объятий. Вчера, когда змея третий раз обвилась вокруг тела артиста, последний почему-то замешкался, и чудовище сдавило несчастного артиста в своих железных объятиях. Стоявший рядом с револьвером наготове ассистент артиста выпалил и разнес в куски голову чудовища разрывной пулей. В цирке возникла необычайная паника. Судорожные движения змеи, однако, продолжали свое дело. Сбежавшиеся служители и товарищи пострадавшего при участии пожарных освободили несчастного артиста при помощи топора, оказавшегося у дежурного пожарного. В бессознательном состоянии Миронье был доставлен в больницу. У пострадавшего оказались поломанными три ребра и перелом левой ключицы. Опасаются осложнений от внутреннего кровоизлияния.

Думаем, что настоящий случай откроет глаза любителям «сильных номеров», которые приближают наш цирк ко временам «развратного Рима».

«Три ребра и ключица! — подумал я. — Вот счастье-то!» И я смело пошевелил ногами. Ноги работали исправно.

Я спросил, какой день. Оказалось, что я третьи сутки в больнице.

XII

На другой день утром я уж из коридора услыхал трескотню Голуа. Он болтал и шел за сестрой. Она ничего не понимала и смеялась.

— Ах, месье Мирон! — кричал с порога Голуа. — Какое несчастье! Но вы живы, и это все. Жизнь — это все. Но Король, Король! Короля нет. Я размозжил ему голову. Такой красавец! И вы знаете, его разрубили на куски, — вы бы плакали (я уверен), как и я, над этими куска-

ми. Они еще долго жили, они вились и содрогались очень долго, — я прямо не смог смотреть. Это ужасно! И это одно ваше неосторожное движение. Да, да! Это ваша халатность. Вы манкировали последнее время. Я ж вам крикнул: «Манипюле!» Еще было время. Вы понимаете, что я потерял? Ведь просто продать в любой зоологический сад — и это уж капитал. Такого экземпляра не было нигде. Мне в Берлине предлагали десятки тысяч марок. Я доверил вам это сокровище. Ах, Мирон, Мирон!

Голуа схватился за голову и в тоске шатал ее из стороны в сторону.

— Но может быть, вы поправитесь. Может быть, вы мне отработаете, не волнуйтесь, месье Мирон, вам вредно, не правда ли? Нет, месье, об этом подумаем. Но это десятки тысяч. Я буквально разорен. Я буду по дворам ходить с моими собаками.

Голуа встал и с минуту сокрушенно тряс головой и наконец сказал убитым голосом:

— Адьё!

Мне теперь вспомнилась та ночь, когда я не мог остановиться в игре, не мог уйти вовремя от стола. И здесь — ведь я назначил себе до двух тысяч, и вот я не мог вовремя бросить эту проклятую работу. Если б был со мной Осип, говорил бы мне почаще: «Валиком, не рвись...»

На дворе была весна.

Я видел в окно, как просвечивало солнце свежие зеленые листки в палисаднике под окном. Я был бы теперь дома, — я хоть день погулял бы, побегал с Наташкой, с Сережкой, а потом бы пошел и заявил властям. Пусть бы судили. Теперь я калека.

Я позвал сестру и попросил бумаги, чтоб написать письмо. Писать мне самому не позволили, и я продиктовал письмо.

«Дорогой друг Осип!

Меня раздавил удав. Знаешь уж, наверно, из газет. Я в больнице и поправляюсь. Кланяюсь всем».

И больше я не мог ничего сказать. Мне жалко стало своих детей и жену, что они увидят меня калекой и что жена будет корить себя, что это все из-за нее, когда я сам же довел себя до этого.

Я знал, что мне еще долго лежать в гипсовых лубках. А Голуа ходил ко мне и все надоедал, что он пострадал из-за меня, что ему не с кем работать на манеже и что я его разорил.

И вдруг как-то, после обхода, доктор снова подошел ко мне.

— Простите, Корольков, — сказал доктор. — Не мое дело вмешиваться. Но я понимаю, что говорит вам француз. Он — ваш хозяин? Так ведь выходит?

— Да, как будто, — сказал я.

— Но ведь львиную долю получал он, а вы были на жалованье? Так это он еще обвиняет вас, что вы его разорили? Да что ж вы, не понимаете, что ли, ничего? Вы же не будете больше работать в цирке, вы потеряли все сто процентов цирковой карьеры. Он, он вам должен возместить, а не вы ему отрабатывать. Это же возмутительно. У вас есть семья?

Доктор весь покраснел даже. Все больные слушали; никто не болтал. Все глядели на меня.

— У меня двое детей, — сказал я.

— Довольно, — сказал доктор. — Дальше я знаю, что делать.

Доктор ушел, и я видел по походке, что прямо сейчас возьмется за дело.

Я не успел его остановить. Я боялся, что если подымется дело, то всплывет раньше времени, что я не Корольков, что я обманул местком, что и Осип обманщик, что я скрывшийся растратчик, кассир Никонов. Власти примутся за меня, увидят — дело темное, а пока суд да дело, Голуа улизнет, все равно ничего не заплатит. Я мучился весь день от этой мысли. Главное, я боялся подвести Осипа. Я не дотерпел до утра и поздно ночью просил вызвать ко мне доктора. Я сказал, что мне плохо.

Это было верно: я так ворочался от тоски, что разбередил себе все мои ломаные кости.

Доктор пришел сердитый и строгий. Он поправил очки и наклонился ко мне.

— Ну, в чем дело? — Он говорил шепотом, чтоб не разбудить больных.

Я стал говорить. Сначала сбивался, запинался. Мой шепот срывался, я говорил, говорил и сказал доктору все, все с самого начала, как со мной все это случилось, и про карты, и про растрату. Доктор ни разу не перебил меня.

— Все? — спросил доктор, когда я замолчал.

— Все.

— Ну вот что, Петр Никифорович, — меня первый раз за это время называли моим настоящим именем, — все это, Петр Никифорович, уладится.

Он говорил таким голосом, как говорят со знакомыми.

— Завтра я пришлю к вам моего приятеля, он адвокат.

XIII

Через три дня я узнал, что Голуа обязали подпиской о невыезде из города. Адвокат предъявил ему от моего имени иск в три тысячи рублей.

Я уже мог сидеть на постели. И вот раз сижу я на постели и жду, что ко мне придет следователь, чтоб снять с меня показания: я уж заявил, что я кассир Никонов, которого ищут. Но мне было легко. Я скорее хотел уж снять с себя то, что вот уж почти полгода висело над моей головой.

Мне сказали, что меня хотят видеть. Я поправился на кровати и сказал:

— Просите, пожалуйста.

Я услыхал мелкие, звонкие шаги по плиточному коридору. У меня — я не понял почему — заколотилось сердце.

Вошла жена; за руку она вела Наташку. Я видел, что она ищет

глазами по койкам и не узнает меня. А у меня сдавило грудь, и не было голосу крикнуть, позвать их.

И вдруг Наташка со всех ног бросилась ко мне.

— Папа! Папочка!

Жена меня не узнала, потому что я был сед, сед как лунь, как видите.

Это Осип, Осип через школу нашел моих, и он понемногу, «валиком», рассказал им все, как со мной случилось и где я.

Потом меня судили, приговорили к году условно. Голуа уплатил мне две тысячи. Да, а вот крив на правый бок я так и остался.

ВАРЬКА

I

Вот она: на осень погода становится. Заложило, и третий день работает ветер-кинбурн. Жмет воду, разводит зыбь, всю муть подняло.

Рвет со дна мидию — ракушу, крутит песок, катает каменья.

Рыжая зыбь свернется бараном под берегом, роет песок, бодает обрыв. Лезет выше-выше, подбирается к шаландам.

Слизнет зыбь шаланду и пойдет вертеть-играть, толочь о каменья. Бортом, дном, носом. Поймала — не вырвешь. Пестрые щепки соберут бабы на палево.

А лодка рыбаку что конь мужику.

И по скользкой глине тянут рыбаки на кручу тяжелые намокшие шаланды. Скользят, проклинают, рвут руки.

Тучи низко летят, гляди, за обрыв зацепят. Валят серой, оголтелой кутерьмой над самой водою. Ветер рвет белую пену, и она растерянно носится над берегом. Выбирает, где сесть.

Учитель Дмитрий Николаич сидел в своей хате на берегу и наживлял перемет. Длинная — в полверсты — смоленая веревка. От нее хвостиками волосяные подлески с крючками — полторы тысячи крючьев.

Он сидел на полу между двумя корзинами, брал из правой крючок, сажал соленую рыбешку и складывал крючок к крючку налево.

Веревка тянулась через колени. Он привык за год, и работа не мешала думать.

Звенит за окном прибой. Даст зыбина — ухнет берег; и голоса летят с моря, словно кто на помощь зовет.

Учитель кусал пополам наживку, выплевывал половинку в ладонь и с поворотом сажал на крюк.

И тянулись мысли за веревкой.

Рыженький, в полупальто — ватная тужурочка: из мастеровых. И учителя к нему в очередь. Хвост во дворе, до самых ворот. А он глазками пронзает:

— Анкету!

Тут Дмитрий Николаич вздыхал, и задерживались крючья в руках.

— Признаете? Может, сочувствуете? А вы меня-то за человека признаете? — Шептал, плевал наживкой, и крючья шибко летели из руки в руку, и зло просаживал учитель наживку.

— Чем вы дышите? Мы чем дышим?

Учитель набирал воздуху:

— А вот тем дышим...

Дмитрий Николаич рванул перемет и сорвал два крючка, что зацепились за корзину.

И рыженький теперь стоял и слушал, чем дышит Дмитрий Николаич. Не настоящий рыженький, а мутный. А настоящий говорил:

— Это мы вполне знаем, дорогой товарищ, что вы четырнадцать лет буржуев учили. Будете теперь учить наших. Очень даже просто, что заставим.

Надо было ответить... и то, что надо было ответить, вот уже год по вечерам шептал учитель, когда живлял перемет. Задыхался, жалил крючьями наживку, обрывал подлески.

— И сам бы пошел! Сам!.. Сам! Еще раньше вас хотел. И в округе косились. На волоске висел.

Учитель переводил дух. Опять набирал воздуху.

— А заставить? Нет... Чем дышите? А вот — рыбалим!

Кусал горькую наживку и зло сплевывал в руку.

— И будем рыбалить. Придете просить.

Как нож, точил по ночам мысли. Ждал, когда вонзить.

Дверь приоткрылась: на мутном свете низкий силуэт. Тяжелый маузер топорщился сбоку и оттягивал пояс.

— Береговой контроль — Особого Отдела. Товарищ! Я ваший номер забыл.

Человек чавкал по полу налипшей глиной, шагал через комнату. Он сел на койку.

— Я вам объявляю, что ночью в море выходить никому нельзя. С захода до восхода. Вот!

И он внимательно оглянул стены.

— Да какой дурак в такую погоду... — забурчал с полу Дмитрий Николаич.

Особист перебил:

— Насчет дурака я вам, товарищ, пока словесно говорю: вы поаккуратней. А насчет выезда, чтоб потом отговорок никаких чтобы не было. Вот?

Он встал, приподнял рваные паруса и сетки, что были вместо подушки. Заглянул под топчан.

— Так вот! А насчет дурака надо быть поумней.

Вышел, не запер дверь.

Дмитрий Николаич вскочил. Высунулся в дверь. Кричал вслед хрипло, яростно:

— Дверь! Дверь! Дверь! Запирать!

Перемет зацепился за куртку, высыпался; опрокинулась корзина.

Особист скользил по осклизлой глине, придерживал фуражку. Не оглянулся.

Дмитрий Николаич подошел к столу, дрожащими руками стал лепить из газеты папиросу.

Просыпал на стол махорку.

Оставалось уже полтысячи крючьев. Дверь распахнулась, и в комнату рванул во всю ширь гром прибоя. На пороге стояла Варька.

Она придерживала на груди концы цветного платка, другой рукой поправляла трепаные мокрые волосы.

— Я до вас. Закурить нема? Все скрозь из табаку повыбились.

— В жестянке. — Дмитрий Николаич кивнул на стол.

Варька обтерла о порог стоптанные туфли, обошла стол. Она придерживала рваную юбку. Мокрый фестон раскачивала на ходу — всего-то два шага. Варька протиснулась за стол и села в плетеное кресло, как на трон. Встряхнула банку с махоркой.

— Тю! Андряцет! Тоже дикофт? Скажи, кругом в людей дикофт. Заговелись!

Варька засмеялась, и Дмитрий Николаич заметил, что спереди у нее нет одного зуба. А смеялась она во весь рот, будто хвалилась черной метиной.

Варька поймала взгляд:

— Что вы смотрите? Это мне Гаврик Косой в «Венеции» выбил.

Варька лихо отодрала кусок газеты — как раз сколько надо — и стала сворачивать цигарку.

Она закурила и выставила голую до локтя руку: поставила локтем на стол. Как на табачной рекламе.

— Трактирная фея, — нахмурился учитель и взялся за крючки.

— Нет, верно: вот Тимошка не даст соврать. Все через Нюньку Андрюшкину вышло. А говорит — я его на это вывела. Косой все одно потом бедный был: аж два месяца в городской валялся. Мало не сдох.

Дмитрий Николаич глянул на Варьку, на веселые глаза и стал путать крючья. Он рвал, дергал — перемет цеплялся и кучей вываливался из корзины.

Варька смотрела на его работу, и Дмитрию Николаичу крючило руки. Он как попало запихал перемет в корзину: внаброску кучей.

Он знал, что на рыбальской работе Варька никому на всем берегу не уступит. Серьезный рыбак Василий, пять лет тому, взял ее из «Венеции». Пять раз за пять лет Варька от него уходила. Пять раз звал ее Василий домой: кланялся.

— Ну что, как у Василия? — спросил Дмитрий Николаич.

Спросил, чтоб Варька не смотрела ему в руки.

И разговор степенный.

— Да что? — Варька скучно глянула в окно. — Что ему, черту, делается? Одно слово — борода.

Она потянула из слюнявой цигарки. Заплевала, запрыскала мелкой махоркой.

— Тьфу, дьявол! Жуем траву эту, как бараны, — говорила Варька. — Из табаку из последнего повыбивалися. Калеки несчастные. Рыбу удим-удим, а вечерять, черт, будем? Фириной живляете? И чего вы такую сволочь курите? Тьфу!

Она шлепнула об пол окурок и пристукнула ногой.

— Чего вы легкого не купляете? Полторы тысячи крючьев имеете!

— Пусть теперь другие курят. — Дмитрий Николаич обрадовался: не терпелось вонзить. — А мы уж махорку... — грозно сказал, в пол глядя.

Варька подняла брови, тупо задумалась и вдруг весело глянула на учителя:

— Полторы тысячи крючьев у человека, у двоих с мальчиком рыбалить, на андряцете сидить! Так к чертовой маме с таким рыбальством.

Дмитрий Николаич остановился живлять. Проглотил слюну, набрал воздуху.

Варька подалась вперед и глядела прижатыми глазами, черными, как сапожные пуговки. Ждала, чем кинет Дмитрий Николаич.

— А разверстка? — громыхнул учитель. — А это знаете: «Даешь рыбу?» — и револьвер в лоб тебе наставит.

— Маме своей в пуп нехай наставить! Ей-богу, подурел народ.

Варька вскочила, толкнула стол, опрокинула махорку.

— Самоплюи! Рыбалки еще! Сами на крючок чепляются.

Дмитрий Николаич глядел на Варьку снизу, старался удержать иронию на лице, как перед зеркалом.

Окно звенело от прибоя, и оба вспомнили про море.

Варька подобрала махорку в жестянку, сдула со стола.

— Давайте я вам подживлять буду. Айда! Понес!

Она подсела на корточках к корзине, проворными пальцами распутала перемет и глянула на учителя: задорно, весело.

— А ну, ходом, ходом!

Пошла игра.

Варька из-под рук вытаскивала крючья, одним коротким тычком насаживала наживку. Мигом передавливала рыбешку пополам.

Их руки путались, сталкивались. Варькины пальцы бегали проворно, как крабы. Будто свой ум в руках, в каждом пальце. Хватала цепко, верно, без промаха. Рядок к ряду ложились крючья в корзину.

Дмитрий Николаич не поспевал, конфузливо гымкал, улыбался.

— Штрикаем, штрикаем! Ходом! — подгоняла Варька.

— Зачем вам беспокоиться? — бормотал Дмитрий Николаич, поплевывая наживкой.

— А зачем вы, скажите, в рыбальство бросились? Ученый человек — нема должности у городе?

Варькины руки работали без нее, и она смотрела на учителя — здесь, в полуаршине, в упор.

— Нас теперь не надо, — сказал глухо Дмитрий Николаич. — Пусть теперь другие работают.

— А вам чего в зубы глядеть? Вон Фенькин человек. Божий бычок, можно сказать, в городе каким-то заделался. За троих пайки огребает, чтоб мне пропасть.

Дмитрий Николаич ждал этого вопроса. Долгий год его ждал. Пусть Варька — рыбальская баба. Все равно.

Он бросил крючья, уперся спиной в стену, руками в пол.

Варька опасливо взглянула. Видела, что собирается, как замахивается.

Дмитрий Николаич собрал весь голос и на всю комнату зло, веско поднес Варьке:

— В комиссары идти прикажете?

Уперся глазами, молчал.

Варька с минуту мигала.

— А что? Плохо? Вот спугали. У комиссарах порватый бы не ходили. Вон Фенькин, говорю, весь у кожу убрался. Левольверт, сапоги, аж по самое некуда. Ну, кончаем, кончаем!

Варька дернула перемет и еще шибче забегала пальцами.

— Ну-с, ладно, — сказал Дмитрий Николаич и взялся за крючья.

Становилось темно, и Варька живляла «на щуп».

Теперь оба молчали, и снова стал слышней прибой и ветер. Варька встряхивала головой и старалась локтем пригладить трепаные космы.

Последний крючок. Варька быстро выдернула у Дмитрия Николаича конец веревки и свернула в корзинку. Плюнула, прихлопнула — на счастье.

— Чай, что ли, греть будем? Плита вашая к черту затухла. Вода есть?

Она впотьмах брякнула ведром.

— Мотайтесь за водой. — Варька ткнула в руки учителю ведро.

Дмитрий Николаич вышел. Сырой, плотный ветер валит с ног, слезит глаза. Ревет море. В ушах голоса стонут, захлебываются.

А вон будто кто стоит на обрыве. Мутный силуэт. Или куст мотает голыми ветками. А, черт с ним.

Учитель натянул фуражку на самые глаза — стало уютней.

Он не знал, хорошо это или досадовать надо, — вот что не вышло с комиссарами. Он старался размеренно шагать, чтоб размеренно думать. Но теперь комиссары не приступали к горлу.

Ветер рвал ведро, плескал, сдувая воду. Уверенно, не мигая, светилось окно в хате.

Глина густо облепила ноги. Учитель скользил, размахивал ведром, разливал, спешил и глядел на огонь.

За дверьми голоса. Варька кому-то ругательно выговаривала:

— Тебя звал кто? Ты мне скажи, что ты тута забыл? Грязюки понатаскивали полну хату. Служба, говоришь? Так тебя что? Полы паскудить наняли? Да? Жинка дома бьет, так он по людям лазит. Не ставь ты мне ноги на пол! — заорала Варька.

Учитель отворил дверь.

Особист сидел на сундуке, скорчившись, подняв обе ноги на воздух. Варька с сердцем пихала сучья в плиту.

— Вы его звали? — кричала Варька учителю. — Пассажир какой! Заседатель сыскался. А не звали, так вытряхивайся с хаты, выколачивайся! Чисто конюшню с хаты поделали.

— Что я? Огня не могу спросить? — Особист достал папироску и покосился на учителя. — У меня дело...

— Тут все дела справные, вытряхивайся.

Особист вышел.

— Зачем вы, Варя, так с ним... — начал Дмитрий Николаич.

— С кем? — перебила Варька. — С Пантюшкой, с кровельщиком? Нацепил левольверт, думаеть, я испугалася здорово. Его баба бьет, аж перо летить.

Было поздно, когда Варька поднялась уходить.

— Темно, — сказал Дмитрий Николаич. — Я вас провожу.

Варька засмеялась.

— Я здесь пять лет путаюся, пьяная не заплутаю. А потом вас сходой обратно вести?

Дмитрий Николаич не знал, что именно надо сказать, но видел, что если сейчас, сию минуту, не скажет чего надо, Варька уйдет. И не придет больше.

Он перебрал наспех в уме все слова, все фразы, и все не те попадались.

Варька стояла, смотрела задорно в глаза и перебирала обеими руками шпильки в волосах.

И Дмитрий Николаич знал, что это она дает ему срок — секунду, — сейчас потухнут глаза, повернется.

— Может, остались бы... ночь ведь... — ляпнул Дмитрий Николаич впопыхах и испугался.

Варька шлепнула ему руку на плечо, рассмеялась.

Она раскачивалась от смеха и шатала учителя.

— Ах чудак, ей-богу! Вот чудило!.. Еще ученый.

Учитель смотрел растерянно с испугом. Не знал: «да» это или «нет»?

— Ну говорите, что стелить,—сквозь смех сказала Варька и пошла к топчану. Там кучей наворочены были рваные сетки, паруса, обтрепанное пальто, засаленная подушка.

Ночью проснулся Дмитрий Николаич. Кинбурн дул из последних сил, и зыбь выстрелами била в подмытые скалы. Струйки холодного ветра долетали до окна. На потолке трепетал от плиты красный зайчик. Под кучей рвани было тепло. Варькина сонная рука доверчиво лежала на груди у учителя. И от штормовой погоды было уютней в дому и теплей в постели.

Дмитрий Николаич тронул привычные мысли. Но рыженький в тужурочке встал как картонный и уплыл. Дмитрий Николаич хмурил мысли, вспоминал слова, — но, как в пустой воде, ничего не задевало.

Живое тепло шло от Варьки, оно томило и грело. Дмитрий Николаич погладил Варькину руку.

Варька дрогнула, подняла голову, прислушалась.

— Ишь его, черта, раздуло, — шептала Варька, — аж каменья воротит. Мотайся, Митя, посмотри шаланду. А то лежи, лежи, чего тебе на холод. Я сама пойду, — и привстала.

Дмитрий Николаич вскочил и стал откапывать шинель в тряпье, которым они с Варькой были укрыты.

II

Далеко, верст на сорок в море, лежит каменная гряда. Она горой подымается со дна, и плоская вершина ее тянется на юг, — каменная скамья. Рыбаки ее просто зовут: Каменья.

Как лес на горах, стоит трава на Каменьях. Постелешь перемет — и всегда хорошо поймаешь. Все головатые «кнуты», и что ни крючок — то бычок. Надо только найти среди моря эти каменные горы, чтоб не прокинуться, чтоб не кинуть перемет в глубину на песок; там мертво и пусто.

Рыбаки безошибочно и в туман и ночью находят это место и спешат кидать крючья. Наспех впопыхах переживляют переметы и сторожко поглядывают на север. Рванет свежий «горяк», зафурдунит погода с молдавского берега — будешь руки рвать, нагребаться в берег, а не вытянешь — и понесет погодой, зальет, забьет зыбями.

Уносило не раз рыбаков, и потом ни шаланды, ни тел, ничего не находили люди — все брало море.

А подловил — барином дело: с тяжелым садком за кормой тянется рыбак домой бережком.

А дома, на своем берегу, всяк спешит помочь дернуть шаланду на берег, узнать, как лов на Каменьях. Слушают соседи чудеса, и всякий про себя думает: «Бегу и я на Каменья».

На пятые сутки прилег, выдулся кинбурн.

Только отсталые тучи клочьями бегут с востока. И сколько глаз хватает, желтая муть стоит на море. Здорово рыба теперь будет браться и в наших берегах.

А кто посмелей — рванет на Каменья.

Варька стояла на обрыве: глядела море, глядела в лицо, раньше чем поверить. Ветер трепал юбку, облеплял колени. Варька крепко стояла, цепко держалась босыми ногами за глину. Жевала в углу рта прядь волос. И вдруг повернулась к учителю:

— Летим, Митька, на Каменья! С ночи срываемся.

Она быстро пошла к хате.

— Как же с ночи? А приказ забыла! — перебил Дмитрий Николаич.

— Что приказ! — крикнула Варька. — Приказ мне тыкаешь. На то голова да руки. Рвем на Каменья, и чтоб, как развиднеется, мы вже там. Чтоб, — кричала она на ходу, — уперед всех прилететь. Рванем прямо на перевал. Ходом, живлять.

Ветер гнал их в спину. Навстречу шел Василий. Он сутулился и бодал головой погоду. Шел от их хаты.

Он кивнул Дмитрию:

— Мне до ее — два слова.

Варька стала. Василий запахнулся плотней, поправил шапку. Кашлянул.

— Ну, так как же дело будет? — сказал и уставился.

— Какое может быть дело? — Варька глянула, как уда-

рила. — Что ты здесь кругом лазишь? Я тебе должная осталась чи что?

— Я говорю, — ровным голосом басил Василий, — я говорю: ты сетки комбольные сажать не придешь? Сеток, сказать — не соврать, кругом-бегом — пять ставок... новые...

— Я в твои сетки не упутаюся. — Варька повернулась.

— Варя, — ласково сказал Василий и заступил дорогу, — в мене ваший гребешок остался.

— Чеши кудри лысому! — крикнула Варька и зашлепала к дому.

— Варька, я что скажу! — крикнул Василий.

— А ну! В мене борщ сгорить, — отмахнулась Варька. Не обернулась.

— Сетки он справил комбольные, слыхал, Митька? — кричала она дома. — Мне его сетки здорово нужные.

Она выволокла из сеней корзину с наживкой.

— Сядем живлять! В море на всех рыбы фатает. Брось, потом курить будешь! — крикнула она учителю.

Была ночь. И черный обрыв пухло навис над берегом. Дмитрий стоял на песке, придерживал за корму шаланду. Ждал Варьку.

Впереди в темном море ходила зыбь. Она с разбегу перескакивала через гряду камней, отдувалась и шуршала под берегом песком, звенела ракушей. Зыбь поддавала в плоское дно шаланды. Шаланда вздрагивала, просилась в море.

Дмитрий Николаич поглядывал на край обрыва, на плотное серое небо.

На краю обрыва встал силуэт.

Черный ствол палкой торчит над плечом.

Особист!

Он стоял, молчал. Видно, вглядывался в темноту. Дмитрий Николаич замер. Не смотрел туда, смотрел в море.

— Эй, товарищ! — крикнул особист. Как камнем с обрыва кинул. — Приказ знаете? А ну, ходите сюдой.

Дмитрий Николаич молчал. Стиснул зубы, чтоб не дрожали.

— Товарищ! Чи вы не слышите? — крикнул особист.

Дмитрий Николаич видел, как сползла с плеча винтовка.

Он набрал воздуху и крикнул, как залаял:

— Не могу... шаланда... толчет!..

— Я вам приказываю, — крикнул особист, — и без шуток мне. — Он щелкнул затвором.

— Ша! Чего ты разораешься! — Рядом с особистом стал Варькин силуэт. Она держала на плече корзину, ветер болтал юбкой, как флагом.

Она что-то быстро говорила особисту, а он во весь голос обиженно отвечал:

— Ну а как же? Ну а как же?

Варька спускалась по тропинке, и особист шел за ней, широко и громко шагая по круче.

— А ты гудеть! Можно ведь и по-хорошему, — донес ветер Варькины слова.

Она мягко поставила тяжелую корзину в корму шаланды.

— Вот при человеке говорю: будет и тебе на юшку. Надевай, Митька, весла.

Варька шагнула в лодку.

— Только не идить берегом, — сказал особист.

— Да я ж сказала — на перевал пойдем, — крикнула Варька.

— Это я им объясняю, — кивнул особист на учителя, — чтобы потом не обижались. Тут посты у нас, строго. Знаете...

Он бережно положил винтовку на камень.

— Заскакувайте, — кивнул он Дмитрию Николаичу, — я сопхну.

Дмитрий Николаич вскочил в шаланду. Он встал у вторых весел и смотрел вперед. Там, в узком проходе меж камней, дышала зыбь. Набегала, надувалась и, разорвавшись, сыпалась гребнем в берег.

Надо было поймать миг, когда зыбь задумается на минуту, и прошмыгнуть в этот узкий проход.

Дмитрий Николаич, не мигая, смотрел на проход, не чувствовал весел в руках, набрал воздуху в грудь.

Варька занесла весла и не спускала глаз с учителя.

Особист уперся в песок, вцепился в шаланду, налег вперед, напрягся, ждал.

— Пошел! — крикнул Дмитрий Николаич и голоса своего не узнал.

Особист рванул корму. Варька налегла на весла, и шаланда толчком оторвалась от берега.

Дмитрий Николаич напер своей силой. Шаланда испуганно понеслась в проход.

Особист замер по колено в воде. Смотрел за зыбью и шаландой.

Зыбь только перевела дух. Шел вал. Издали рычал и скалился гребнем. Накатил, лопнул, ударил в каменья. Поздно! Шаланда была уже за грядой. Особист отскочил к обрыву.

Шаланда была за полосой прибоя. Дмитрий Николаич и Варька тужились, ставили тяжелую мачту. Шаланда топталась на месте, ждала. Дмитрий Николаич подобрал шкот, парус надулся, потянул. Шаланда прилегла набок. Вода зажурчала вдоль борта. Шаланда взяла ход. Пеной отдувалась, встряхивалась на гребнях.

С берега шарахнул выстрел. Пуля визгнула вверху.

— Стреляет теперь, сволочь! — прошипел Дмитрий Николаич.

— А ты что ж думал? — Варька удивленно глянула. — Ведь тоже свое дорого. А как на втором посту заметят, сейчас его за машинку: чего не стрелял? Нет, он хорош хлопец.

— Кто? Чекист?! — крикнул учитель.

— Чего ты растопырился? — Варька засмеялась. — Он тебе сделал чего?

Она нахмурилась, придвинулась ближе.

— Да нет...

— Ну, и мне ничего. Отрезать хлеба?

Тугой шкот упруго тянул руку. Румпель от холода дрожал под мышкой, шаланда рвалась с зыби на зыбь в темь, в море. Мелкие брызги летели на корму. Белым живым гребнем лопнет вал у борта и поддаст, играя.

— Эх, Ва-ря! Летим!

И Дмитрий Николаич — сам того не ждал — хлопнул Варьку по спине.

Варька встрепенулась. Откинулась за борт и запела:

Сухою бы я корочкой питалась,
Холодную воду б я пила.

Голос был с трещиной, но пел поверх зыби, поверх ветра. И Дмитрию Николаичу захотелось сладкой погибели — влететь, разворотить и в прах разбиться. Пали теперь с берега — веселей будет.

А утром со светом спал ветер. Спала и удаль ночная. Шевельнулись горькие молитвы. Дмитрий Николаич поправил фуражку и строго спросил Варьку:

— Когда же Каменья эти?

— Сбивай парус! Садися на весло, чтоб нас к черту не снесло, — крикнула Варька и стала отвязывать кливер.

III

Дмитрий Николаич с Варькой кидали уже второй раз. Желтая Васькина шаланда прошла мимо: Василий и молодой лямщик на передней паре весел.

Варька бойко выбирала перемет, проворно скидывала рыбу на дно шаланды.

— Гляди! Гляди, — Варька кивала на Василия, — что гад делает? Аккурат на наший перемет накинуть хотить. Так, сука, по нашему и стелить. Поклади, Митька, нож коло мене!

— Варя, зачем же резать чужой перемет, можно подвести свой и распутать. — Дмитрий Николаич так говорил в гимназии: резонно, наставительно.

— Пусть, анафема, не гадит людям.

Варька зло глянула на желтую шаланду.

— Если он — мерзавец, так это еще не значит... — начал снова Дмитрий Николаич.

— А значит, чтоб он знал, сволочь проклятая! — И Варька стукнула по борту кулаком.

Так она стукала в трактире — звенела посуда, летела на пол, давала сигнал к драке.

«Вот когда ей зуб выбили», — подумал Дмитрий Николаич.

Варька быстрей стала брать из воды веревку. Веревка сама правильными кольцами ложилась в корзину. Двумя толчками Варька «отбивала» бычков и зло шлепала их в шаланду.

Вдруг она насторожилась, прищурилась, оскалилась.

— Вот он, слыхать... идет, ихний.

Варька подергала веревкой.

Она ухватисто перебирала в руках перемет. Не глядя, наотмашь срывала бычков. Чужая веревка накрест подымалась из воды — Васькин перемет.

— Евоные и пробочки зеленые, крашеные. Давай нож!

Варька сбросила десяток бычков с чужого перемета к себе в шаланду.

— Что за га...дость, — хрипло выцедил Дмитрий Николаич.

— Нож! — крикнула Варька.

Дмитрий Николаич опустил весла, отвернулся.

Варька быстро перебирала чужой перемет. Искала слабое место. Она наматывала на руки веревку, не боялась поранить себя крючьями.

— Н-на! — Варька дернула и бросила порванные концы в воду.

Учитель насупился. Глядел вбок. Василий стоял в рост в своей шаланде и глядел в их сторону.

С берега начинало дуть.

Дальние шаланды крепили за корму садки, ставили мачты.

Варька, нагнувшись через борт, наспех выбирала из воды мокрую веревку, срывала рыбу с крючьев.

Васькина желтая шаланда шла навстречу. Он постелил перемет по Варькиным буйкам. Василий истово складывал веревку в корзину, ловко, не спеша, снимал бычков. Поглядывал, как приближалась шаланда учителя.

Скоро конец.

Дмитрий Николаич смотрел вперед, где плавал их буек с флажком. Сейчас Варька подымет макас — тяжелый камень-якорь — и потянет к себе буек.

«На берегу объяснимся», — думал Дмитрий Николаич.

Васькина шаланда толкалась уже бок о бок. Лямщик стоя нагребался — он тоже спешил — выхватить бы перемет и рвать, скорей рвать в берег. «Горяк» свежал.

Но Василий задержал в руке перемет. Лямщик растерянно глядел на хозяина. Короткими ударами держал на веслах шаланду против погоды.

Дмитрий Николаич греб навстречу, отвернувшись. Он смотрел на буек — белый флажок тревожно трепался на ветру.

Вдруг шаланда покачнулась — резко, толчком. Учитель оглянулся.

Варька прыгнула в соседнюю шаланду. Села спиной к учителю.

Васька хватко обрезал ножом свой недобранный перемет.

Лямщик налег на весла.

Василий мельком хитро глянул на учителя и накинул вторую пару весел. Шаланда быстро пошла прочь, к берегу, они на ходу ставили паруса.

IV

Дмитрий Николаич глянул вслед Васькиной шаланде. Стал вслух говорить:

— Разумеется... так и должно было быть... в порядке вещей... Понятно.

Васькин парус был уже плохо виден.

«Горяк» взялся, плотно лег на воду. Он гнал шаланду в море. Порывы мелкой сеткой дрожью пробегали по воде, и новая зыбь от берега встала и пошла. Она сбивалась с прежней, сталкивалась, и всплески взлетали вверх, как руки из толпы.

Шаланду толкло, шлепало в плоское дно, и она растерянно вертелась, переваливалась. Разиня на дороге. Ненужные бычки переваливались с борта на борт. Садок плавал рядом, толкая шаланду в бок, как теленок.

Дмитрий Николаич схватился за весла. Греб во всю силу. Шаланда тупо поддавалась на ход.

Зыбь катит вперед уж с гребнями, с белой россыпью. «Горяк» жмет, «аж воду горнет».

Учитель не видал горизонта — как в метель несло, мело водяной пылью. Задувало горизонт. А там дальше — там дальше море делает что хочет, и бог не видит.

Дмитрий Николаич видел, что хмурься, упирайся, а не выгребешь по вершку сорок верст. Как жизнь вперед легли сорок верст ветру и зыбей. Он бросил весла, огляделся. Зыбь спешила. Уверенно катила на юг, как на праздник, швыряла шаланду с пути, как помеху. И крикнуть некому. Пропадешь, и не глянет никто.

Смерть.

Дмитрий Николаич вскочил.

Паруса и вырезаться на лавировку! К берегу, к русскому, к румынскому!

Он стал ворочать тяжелую мачту. Шаланду болтало. Он чуть не полетел с мачтой за борт. Ругался. Как рыбаки ругаются: в бога, в двенадцать апостолов. Опять совал мачту в башмак, тужился, рук не слышал.

Мачта качалась, она размахивала и вырывалась, а он пер плечом ее к банке, задыхался до слез от натуги.

На месте!

Заложил скобой и забил клином. Сложил парус косяком. Парус трепал, вырывал ветер. Дмитрий Николаич сквозь зубы клял все. Но хватко, цепко боролись руки. Натянул шкот. И сразу шаланда бросилась вперед, к берегу, как конь к стойлу.

— Пошла наша! — крикнул Дмитрий Николаич.

Шаланду клало на самый борт, она рылась в зыбь, билась плоской грудью о воду.

Дмитрий Николаич не слыхал, как шкот резал сжатый кулак. Он отпускал веревку, клал руля, встречал порыв. Врезался в ветер. Шаланда привставала, отдувалась и снова кидалась в зыбь.

Дмитрий Николаич не думал, что он делал. Руки сами делали что

надо. Уворачивался от порывов, выигрывал на волну, весь напрягся, как будто шел по обледенелому гребню.

Вон уж маячит берег среди сизой водяной пыли. Мутная полоса. Румынский или наш?

Рыжий обрыв и шаланды под берегом. Вон и люди кучей стоят — смотрят, должно.

Как в дом, вбежала шаланда под берег: ни ветру, ни зыби. Прикрыто высоким обрывом.

Дмитрий Николаич сбил парус и затерпшими руками поставил весла.

Люди шли по песку встретить шаланду. Свят обычай.

— Облепляй! А ну, разом! — кричал Василий и гукал под руку.

— У-гуп! У-гуп!

Люди знали, откуда вырвался человек. Не спрашивали как.

Дмитрий Николаич корзиной носил бычков — высыпал в садок.

— Товарищ! Это вы сейчас с моря прибежали?

Флотская фуражка, винтовка на ремне.

— Я самый, — ответил Дмитрий Николаич. — Я с пятого поста.

И, не торопясь, полез за мокрым билетом.

— Это тоже с нашего берега человек, — Василий тронул за плечо матроса, — слышь, я говорю, этот тоже наший человек.

— Только, товарищи дорогие, — обернулся матрос к рыбакам, — еще раз говорю: варите сейчас, а ночью — знаете, огня не разрешается.

— Да беда, варить-то нема в чем, — сказал Дмитрий Николаич.

— Бери рыбу, айда до нас на кордон, — сказал матрос, — у нас крупа есть, цыбули до чертовой матери и две лишних. Сообразим что-нибудь.

— Идет, — сказал Дмитрий Николаич, — только чур — хлеб ваш, мой смок к чертям.

— Фатает, не в армейских. — Матрос совал кисет. — Закуривай!

— Жалейте спички, — сказал Васька, — во всех смокли. Вон коло огня прикурите.

Васька кивнул на костер.

У костра над котелком возилась Варька.

Дмитрий Николаич присел на корточки. Не спеша достал уголек, закурил.

Варька ворочала ложкой, смотрела в котел.

— Идите, заберите свой пай, — сказал Дмитрий Николаич и повел головой, — вон в садке.

— А ничего мне не надо, — с сердцем сказала Варька и зло ткнула ложку в кашу.

— Ну, одним словом, как знаете.

Дмитрий Николаич поднялся, пошел прочь. Упористо скрипел ногами в песке.

Слышал, как Варька крикнула вдогонку:

— Митька!

Не оглянулся.

ВАСИЛИЙ МУТНЫЙ

Было это вот как. Попал я в Болгарию, в город Варну. Деньги у меня все вышли, и стал я голодать. Продал часы — проел. Осталась цепочка. А из костюма я выбиваться не хотел — будет у меня босяцкий вид, кто меня возьмет?

На базар хоть не ходи — не мог я этих жареных пирогов видеть. Однако на третий день и есть перестало хотеться. Хожу и все воду пью. Наливался так, что нагнуться страшно — назад выльется... как из кувшина. А голод замер. Только подошвы жечь стало: ступаю, как по горячей плите.

Дело было летом. Там, в Варне, сад есть. «Морска градына» называется. Обрывом к морю спускается. И весь обрыв в кустах. Там я и ночевал. Забьюсь в кусты, устроюсь, кулак под голову и стараюсь про хорошее думать: что я дома и кот в ногах спит. Гляди, и засну...

Вот уж четвертый день я голодал. Как стемнело, залез я спать. Музыка в «градыне» этой поет, пищат болгарские госпожицы. Я смотрю, как море на луне рябит и желтая змея от маяка в воде вихляется.

Вдруг слышу: что-то в кустах треснуло. Я окликнул по-болгарски:

— Кой си? [1]

Молчит и потрескивает. Я привстал. Что за черт, думаю: собака меня нашла или черепаха через кусты ломит?

Смотрю — рожа. Круглая, в фуражке без козырька. Ползет на четырех через чащу.

Я выругался. А он по-русски:

— Здорово, земляк! Ночуешь?

— Ночую, — говорю. — А тебе-то что?

— Сосед, значит. Дикофт? [2]

— Дикофт, — говорю, — четвертые сутки.

— А ты кто? — спрашивает.

— Штурман, — говорю, — с парусника.

А он оказался русским беглым матросом с военного корабля.

Лег рядом и начал болтать. И все про сало, да про борщ, да про макароны.

Это на голодный-то желудок! Я не выдержал, вскочил. Пошел. Он за мной.

Поднялись мы наверх. Музыка ярче стала слышна, публика гуляет в «Морской градыне». А он идет рядом и заводит снова:

— Вот порубят мясо—меленько-меленько, поджарят его на смальце и этой самой историей, дорогой ты мой, макароны сверху и посыпают, посыпают...

И руками, проклятый, показывает, как посыпают!

А тут дорожки пошли глуше и темней стало.

Музыка только издали что-то очень боевое гукает.

Вдруг навстречу нам поп. Здоровенный болгарский поп. Попадья сторонкой идет, не спеша, враскачку.

---

[1] Кто ты?

[2] Голод.

Ничего мы друг другу не сказали, только земляк взял вправо, в край дорожки — к кустам, а я влево тем же манером. И шаги задержали.

Попадья кинулась, прижалась к попу. Поп чуть на нас двигается, а мы сторонкой крадемся.

Кровь к сердцу прильнула и притаилась. Я во все глаза на попа гляжу, ни о чем не думаю, только рост его меряю. Уже шагов пять оставалось.

Вдруг из кустов смех, сабли звенят, и выбегают на дорожку болгарские офицеры с госпожицами.

Тут только я дух перевел, и сердце заколотилось.

Обошли мы попа и пустились окурки собирать.

— Нет, — говорит Сенька (земляка Сенькой звали), — нет, — говорит, — тут что! Ничего тут не найдем, и окурки все стоптаны. Идем в город.

— Чего? — говорю.

— А того... — говорит. — Веселее...

И пошел, а я за ним, как за судьбой.

А он идет, болтает, и все врет. Знаю, что врет, а иду: все не один, и по-русски он говорит.

Ведет глухим переулком. Луна сбоку светит, и в переулке темно. Вошли в темноту, как в воду. На турецкий лад — все окна во двор, глухие стены по бокам что коридор. Тихо, и шаги наши по плитам шлепают. Еле оба ноги тащим.

Смотрю, посередь дороги прет на нас человек. Мне показалось — с сажень ростом: великан прямо. Подумал: с голоду, что ли, казаться начинает? Однако в самом деле. Я посторонился. Сенька его окликает:

— Отец Василий!

А он сверху, как с колокольни, басом ударил:

— Огольцов, что ли?

— В точности, я самый, я!

Огольцов это веселой собачкой залаял: я, я!

Василий наклонился ко мне:

— А с тобой который путается? Этот кто есть?

Голос — бас хриплый, а лица его мне не видно — высоко где-то.

Сенька затарахтел скорее:

— Штурман это, капитан парусный.

— Врет он? — спрашивает меня Василий.

— Нет, — говорю я, — правду говорит.

— Без делов?

— На берегу, — говорю, — на «Топтуне», значит, без места топчусь.

— Айда, — говорит Василий, — вали за мной.

И зашагал вперед. Мы сзади путаемся голодными ногами.

Подошел Василий к одному дому — и ну кулачищем в дверь садить, как молотом.

Оттуда болгарские голоса перепуганные:

— Василь? Василь?

По кулаку, видать, узнали.

Отперли. Входим — трактир. Только за поздним временем закрыт и на столах стулья, — метут.

Сенька меня в бок пихает, шепчет:

— Дело будет, держися. Ври — не оглядывайся.

Болгары мести бросили, засуетились, забегали. Скатерть стелют. Василий скатерть сгреб.

— Не люблю, — говорит, — этого, подавай, как есть.

И спросил полкила спирту. А закуску поставили — горох с маслом. Так — чуть на блюдечке. Взялся я за горох. Василий отошел: увидал грека.

Очень хорошо грек одет был: франтом. Все на нем гладкое, крепкое, как жестяное. Василий поманил его, грек подсел. Аккуратно поздоровался со всеми. Шляпой помахал. Шляпа крепкая — в таких фокусники яичницу жарят. Усики тоже крепкие, острые, как наклеенные. Смотрит ласково и говорит по-русски.

Сенька на стуле ерзает, на закуску разговор наводит. Тут я как раз кончил горох и рассмотрел земляка в первый раз. Рожа круглая, вороватая — и как раз как я думал: нахальная. А Василия я никак рассмотреть не мог. Мутный он весь какой-то. И лицо как-то уворачивается все, будто и нет у него вовсе лица. Одет, как снощик: в синюю блузку заплатанную, порты парусовые, на ногах опорки. Старик — уж лет, может, шестьдесят.

А грек этот жестяной говорит:

— Вот сцет вас за фрахт — так оцень верный! Бозе мой, какой верный сцет! Стоб я пропал, какой верный вас сцет!

И сует Василию бумажку.

Василий полез за пазуху, в карман, достал хороший футляр кожаный, из него очки вынул золотые, пристроил на носу и стал читать.

— Две тысячи левов.

Грек заспешил:

— Две, две тысяци, дио хилиадес, эки бынь...

И на всех языках сказал две тысячи. И все шляпой помахивает, как маятником.

А Сенька уж от спирта осмелел, развалился боком на стуле. Говорит:

— Ему деньги нужны. Жена молодая, подарков хочет.

И прищурил глаз на Василия.

А Василий и бровью не повел. В счет глядит.

Сенька опять моргает мне на Василия:

— Может, тестю еще доложить надо али ты с ним в расчете?

Грек на Сеньку глянул, пошевелил, как таракан, усиками и сильней шляпой закачал.

— Оцень, оцень правильно, — лопочет Василию над ухом.

А Василий, не спеша, золотые очки прячет.

Трактирщик-болгарин сзади стоит. Василий локтем шевельнет — тот всей своей тушей дрыгнет: не прикажете ли чего?

Сенька совсем на стуле обмяк и ноги разбросал. И этак через пьяную губу говорит:

— А ведь двести наполеонов дал ты за свою красавицу-то али больше?

И ногой меня под столом толкает — на весь трактир.

Вдруг встал Василий — еще больше он мне показался, чем на улице был, — вынул из кармана новенький вороненый браунинг, навел на Огольцова.

Грек хрустнул весь, и шляпа стала.

— Тебе говорю, и всякому накажи, — говорит Василий, — как я есть старик и года мои богу известны... а если ты или еще другой гад какой мне про то слово молвит... одно только слово: языком ежели повернет! — и потряс Василий револьвером. — Пуля тому в лоб. Слово одно.

Сенька побледнел в лице, однако хлесткой посадки своей не переменил. Повел чуть глаза на меня.

Молчит, ежится. Браунингом его как пришпилило. Глазами по сторонам водит и корежится, как жук на булавке. Видно было, как с него хмель сползал.

Василий горой над ним стоит и пистолет держит. Тут только раз его лицо и проступило наружу: страшное — я и глаза отвел.

Тихо стало в трактире. Только мухи как ни в чем не бывало жужжат над блюдечком.

Я глянул на Сеньку. Он поправился на стуле. Раскрыл рот — но только губами шевелил, а ничего слышно не было.

У Василия лицо снова ушло, и стал он, как был, — мутный. Сел, спрятал браунинг. Хлопнул лапой по счету и повернулся к трактирщику:

— Ставь еще полкила и два кила мне с собой чтоб взять. Уделай!

Все забегали, грек шляпой закачал, трактирщик посудой забрякал.

Сенька пересел за другой стол.

— Что же ты, — говорит, — с закуской тянешь?

Василий кивнул трактирщику на Сеньку, болгарин подал ему пилафу.

Трудное дело жизнь.

Уж чуть заря затлела, когда мы втроем по мощеному спуску шагали к морю.

В голове у меня стучало от спирту и голоду. Сенька отставал. Отстанет, побурчит, поругается и бегом догоняет.

Кормой к пристани стояли парусники.

Против одного мы стали.

Василий меня спрашивает:

— Камча-реку знаешь?

Я случайно помнил эту речушку.

— Знаю, — говорю.

— А сколько туда верстов?

— Пятнадцать миль.

Василий хлопнул меня по спине. Я чуть с пристани в воду не сыграл.

— Верно! Скажи ты верстов — остался б на берегу. А так видать — водой ходил. Орудуй. Фомка! Принимай нового шкипера.

Я сделал последнее усилие, чтобы одолеть хмель, и по узкой сходенке перешел на судно.

Очнулся я в каюте на койке. Светло, и мне в дверь видно: упершись задом в румпель, а голыми ногами в палубу, — стоит оборванец. Напевает себе под нос. Руль поддает зыбью, и оборванец вихляется, как игрушечный.

Видно, мы штилили. Я еле вспомнил, что со мной случилось и где я теперь должен быть.

Насилу оторвал больную голову от грязной подушки. На столе стоял пустой штоф, валялись объедки болгарского сыра, кусок хлеба. Под столом спал Сенька, уткнувшись мордой в фуражку. Я докончил сыр, хлеб, подъел крошки и вышел на палубу.

Когда мы отдали якорь в устье Камчи, на фелюге к нам подъехал Василий. Другой великан, помоложе, на веслах. Сын его — Иван.

Низким клином врезалась земля между рекой и морем. Весь клин зарос дубом вековым. Там стояла и изба Васильева. Не болгарская хата, а русская кряжистая изба. Из дубов срублена. С резными ставнями.

Я загляделся на ставни, и вдруг в окне стала женщина. Молодая, в староверском сарафане и повойник на голове. Она вытирала белым ручником стакан и глядела его на свет. Как сон, как померещилось: такая она красивая была и страшная в то же время. Будто не мыла она стакан, а для отравы готовила.

Василий подошел. Женщина скрылась. Я не нашел что сказать.

— Поспел ты, — говорю, — как... раньше нас ведь!

— Легок я на ногу-то, а вот на руку — так, сказывают... того... тяжел.

Вечером мы сидели под дубами, на чурбанах. На четырех чурбанах перед нами, как стол, лежал кровельный лист с жареной камбалой. Около костра возилась Иванова хозяйка — кипятила чай в жестянке из-под керосина. Унылая рябая баба.

— Распятая душа, — правильно сказал про нее Сенька. Великан Иван ростом только в отца пошел — лицо открытое, простое, задумчивое. Ровным голосом Иван рассказывал:

— Когда я в Романее [1] в солдатах был, так вот приезжал театр. В Галацах мы стояли. Там все было. А очень интересно — так вот фараоны. Бутылка поставлена, аршина как бы не с два. А в ней вода налита под самое, можно сказать, горлышко. А в воде они плавают: фараон и фараониха.

— Глупости, — шамкает Сенька набитым ртом, — оптическое мошенство.

— Не видал ты, так нечего зря и языком бить. А какие они? Ну? То-то! А наше они подобие. Хвост только рыбий. И стеклянной стеночкой они перегорожены... чтоб чего не было между ними; все же дети смотрят и барыни подходят, интересуются. Сверху тоже стеклышком прикрыто. Отодвинешь стеклышко — они голос подают: пи-пи-и!

Иван старательно запищал, как мог тонко. Вышло басом.

---

[1] В Румынии.

— На такой вот манер. Нет, почитай, еще тоньше. Покажи-ка, Борис, как, — обратился Иван ко мне.

— Да не я ведь слыхал-то, — отозвался я.

Иван обиделся. Помолчал.

— Покажи, — говорит. — Прошу ведь я, будь человеком.

И наклонился ко мне ухом. Внимательно ждал.

Я затянул как мог тонко:

— Пи-и!

Иван покачал головой и вздохнул.

— Не может, нет... Тоньше фараоны голос подают.

Я взглянул на Василия: он сидел спиной к дому, лицом к нам.

Сенька нагнулся ко мне:

— Клад свой караулит, — и кивнул на дом.

— Пи-и! — еще раз попробовал Иван представить фараонов и поперхнулся.

Повернулся к Сеньке:

— А ты говоришь — мошенство. Мошенство-то когда ведь бывает?

— Мошенство само не бывает, — сказал вдруг Василий. — Отчего кража или зло какое? Повесит дурак себе на пузо что есть и носится: часы да золото. Кто и не хочет, увидит. А есть у тебя что дорого — так ты спрячь под спуд и чтоб знал ты да бог! И чтоб не видал даже никто — вот и зариться некому.

И он встал, как будто дом свой дубовый от нас загораживал.

Неделю мы грузились дубом, неделю ели камбалу с кровельного листа, и ни разу не видал я Васильевой молодухи. «Распятая душа» нам служила. Так и снялись в море.

А когда вернулся я в Варну, то узнал вот что: не ухоронил старик свой клад.

С соседнего кордона пришел болгарский офицер с солдатами. Объявил, что обыск будет делать: не прячут ли контрабанды?

Просто хотел кралю Васильеву поглядеть — молодой был, озорной. Василия, он знал, дома не было.

На Васильевой двери замок здоровый. Иванову горницу и смотреть офицер не стал. А сразу велел солдатам замок ломать.

Упреждал его Иван: брось, беды наживешь.

Однако вошел офицер в горницу, походил для виду, под кровать заглянул. Пошутил с молодухой и ушел.

— Прости, — говорит, — служба.

А на третий день сгорел кордон за рекой и никто не вышел — и офицер, и пятеро солдат сгорели. И концов не найти — тло одно на месте кордона осталось.

Допрашивали Василия — да разве по нем узнаешь что? Ничего не найдешь — как в омуте мутном.

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН [1]

К столетию со дня гибели великого русского поэта

Глава первая

Род Пушкиных мятежный

Ты видел вихорь бури,
Падение всего, союз ума и фурий,
Свободой грозною воздвигнутый закон,
Под гильотиною Версаль и Трианон
И мрачным ужасом смененные забавы.
Преобразился мир при громах новой славы.

(Из стихотворения «К вельможе»)

Так Пушкин писал про Французскую революцию.

В 1789 году восстал французский народ, сбросил короля Людовика XVI и всех аристократов. Еще недавно король и королева вместе с придворной знатью беспечно веселились зимой в роскошном королевском дворце — Версале, а летом на королевской даче — Трианоне. И вот короля и королеву и большинство придворных всенародно обезглавили гильотиной на площади в Париже.

Вся Европа, весь мир смотрел на Францию: кто с ужасом, как падают головы королей, а кто с надеждой — не дойдет ли и до них желанная свобода.

Русская императрица Екатерина II незадолго перед тем изо всех сил старалась прослыть просвещенной европейской царицей и не прочь была поиграть в образованность и вольнодумство. Она переписывалась с вдохновителями Французской революции: с философом Дидро и с едким остроумцем поэтом Вольтером. Он так едко высмеивал и уничтожал насмешкой все, чему учили поклоняться попы и короли, что всякую свободную мысль стали называть «вольтерьянством». Эта смелость мысли так пришлась ко времени, что Вольтер, как говорилось тогда, стал «властителем дум» всех просвещенных людей.

Французский король первый почуял опасность вольтерьянства и выслал Вольтера из Франции.

Русской царице Екатерине тоже хотелось показать, что она понимает европейские идеи, и она вводила у себя при дворе французский язык и французские обычаи, чтоб и у нее было все, как в Париже. Когда умер Вольтер, она купила всю его библиотеку и перевезла в Петербург. Она, как и многие, наивно думала, что вольтерьянские мысли — не больше как острая забава.

И вдруг эти мысли во Франции превратились в дело: началась революция. Екатерина русских своих вольтерьянцев стала поспешно запирать в Шлиссельбургскую крепость [2] и ссылать в Сибирь.

Екатерина умерла, на русский престол сел Павел I — сын Екате-

---

[1] Написано в соавторстве с Б. Шатиловым. Для иллюстрирования повести использованы рисунки А. С. Пушкина.

[2] Тюрьма около Петербурга. В нее заключали наиболее опасных для самодержавия революционеров.

рины. Он в страхе перед революцией старался всячески оградить своих подданных от французской «заразы». Он издал приказ: не выпускать никого из России за границу, разве только чиновников по государственной надобности. Он запретил ввозить в Россию иностранные книги, запретил ввозить ноты, боясь, как бы и русские не запели революционные песни французов вроде «Марсельезы». Но революционные мысли проникали через все заставы, и «гром новой славы» пошел по всей Европе.

В эту пору — 26 мая [1] 1799 года — в Москве, в Немецкой слободе (ныне улица Баумана), родился величайший русский поэт Александр Сергеевич Пушкин.

Род Пушкиных — дворянский, древний род.

Водились Пушкины с царями;
Из них был славен не один...

И славились они своим упрямым и мятежным духом. Пушкин гордился своими предками: Гаврилой Пушкиным — дерзким заговорщиком, примкнувшим к Дмитрию Самозванцу против царя Бориса Годунова, своим пращуром Федором Пушкиным — главным участником стрелецкого заговора против царя Петра I.

Упрямства дух нам всем подгадил.
В родню свою неукротим,
С Петром мой пращур не поладил
И был за то повешен им.

(Из стихотворения «Моя родословная»)

Гордился он и предками «арапами» со стороны матери. Родоначальник этого рода Абрам Петрович Ганнибал описан им в неоконченном романе «Арап Петра Великого».

Абрам Петрович был сыном абиссинского князя. В детстве он попал заложником к туркам в Константинополь. Русский посланник выкупил его и отослал в Петербург Петру I.

Сей шкипер деду был доступен.
И сходно купленный арап
Возрос усерден, неподкупен,
Царю наперсник, а не раб.
И был отец он Ганнибала,
Пред кем средь чесменских пучин
Громада кораблей вспылала,
И пал впервые Наварин [2].

(Из стихотворения «Моя родословная»)

Пушкин гордился своими дедами, прадедами и пращурами и никогда не гордился своим отцом Сергеем Львовичем, никогда не уважал его.

Сергей Львович вырос во времена Екатерины II, когда остроумный

---

[1] По старому стилю.

[2] Турецкий укрепленный порт, взятый в 1770 году русским флотом во главе с И. А. Ганнибалом.

шаркун в аристократических салонах имел больше успеха, чем воин, израненный в битвах. Он служил некоторое время в гвардии офицером. Но служба требовала исполнения каких-то обязанностей, а он — беспечный лентяй — тяготился всем, что не доставляло ему удовольствий.

Женившись на Надежде Осиповне Ганнибал, женщине такой же беспечной, Сергей Львович вышел в отставку и переселился из Петербурга в Москву. Москва в ту пору была большой деревней, каким-то сборищем помещичьих усадеб. При помещичьем доме были конюшни, каретные сараи, коровники и птичники.

Таким же маленьким поместьем был и дом Пушкина. В этом доме царил невероятный беспорядок. «Многочисленная, но оборванная и пьяная дворня; ветхие рыдваны с тощими клячами; пышные дамские наряды и вечный недостаток во всем, начиная от денег и до последнего стакана».

И это не от бедности, а от барской лени. У Пушкиных в то время было несколько имений — Болдино, Михайловское. Но ни домом, ни имениями никто не занимался.

Пушкины проживали то, что получили от предков, и беднели год от году.

А тут пошли дети — Ольга, Александр, Николай и Лев. О них надо было как-то заботиться, кормить, одевать, воспитывать. Дети были совсем не такими, какими их хотелось бы видеть родителям. Вот Александр — толстый, некрасивый, губастый, голубоглазый увалень, чрезвычайно упрям, молчалив, неподвижен, не хочет играть со сверстниками, сидит в углу и грызет ногти. Надежда Осиповна невзлюбила его; наконец махнула на него рукой, сдала его на попечение бабушки Марии Алексеевны и крепостной няньки Арины Родионовны.

Мария Алексеевна и Арина Родионовна — эти две умные, сердечные старушки и были первыми воспитательницами Пушкина. От них он научился говорить по-русски, от них же впервые узнал нежность и ласку, — особенно от Арины Родионовны. Она знала множество песен, сказок. Заговорит — так и засыплет умными, меткими поговорками и пословицами.

...Детских лет люблю воспоминанье.
Ах! умолчу ль о мамушке моей,
О прелести таинственных ночей,
Когда в чепце, в старинном одеянье,
Она, духов молитвой уклоня,
С усердием перекрестит меня
И шепотом рассказывать мне станет
О мертвецах, о подвигах Бовы...
От ужаса не шелохнусь бывало,
Едва дыша, прижмусь под одеяло,
Не чувствуя ни ног, ни головы.
Под образом простой ночник из глины
Чуть освещал глубокие морщины,
Драгой антик, прабабушкин чепец,
И длинный рот, где зуба два стучало. —
Все в душу страх невольно поселяло.
Я трепетал — и тихо наконец
Томленье сна на очи упадало.
Тогда толпой с лазурной высоты
На ложе роз крылатые мечты,

Волшебники, волшебницы слетали,
Обманами мой сон обворожали.
Терялся я в порыве сладких дум;
В глуши лесной, средь муромских пустыней
Встречал лихих Полканов и Добрыней[1],
И в вымыслах носился юный ум...

(Из стихотворения «Сон»)

Нет, не от своих образованных и офранцузившихся родителей, а от безграмотной рабыни-няньки Пушкин впервые узнал красоту народного языка. Не родители, а нянька впервые пробудила в нем любовь и страсть к поэзии.

Пушкину было семь лет. Бабушка Мария Алексеевна купила под Москвой имение Захарово, и Пушкины стали ездить туда каждое лето. Здесь, на свободе, среди полей и лесов, Пушкин словно переродился. Если раньше родители приходили в отчаяние от его неподвижности и неповоротливости, то теперь они ни строгим наставлением, ни запальчивым криком, ни наказаниями — ничем не могли укротить бойкого шалуна.

О вольной жизни в Захарове Пушкин вспоминал потом как о самых счастливых днях детства:

Мне видится мое селенье,
Мое Захарово; оно
С заборами, в реке волнистой
С мостом и рощею тенистой
Зерцалом вод отражено.
На холме домик мой; с балкона
Могу сойти в веселый сад,
Где вместе Флора и Помона[2]
Цветы с плодами мне дарят,
Где старых кленов темный ряд
Возносится до небосклона,
И глухо тополи шумят...

Сергей Львович и Надежда Осиповна веселились, а дети росли, их уже надо было учить хорошим манерам, иностранным языкам, закону божьему, арифметике. И вот в доме Пушкиных появились модные в то время французы-эмигранты, бежавшие от революции. Будь то образованный граф или невежественный парикмахер — все находили себе место воспитателей. И в Москве, и в Петербурге, и в глуши даже самые захудалые дворяне старались залучить в дом француза, чтоб придать лоск и шик дому и деткам.

Эмигранты-французы презирали все русское и всех русских как дикарей. Тосковали по Франции, были озлоблены на революцию — ведь из-за нее они бросили родину, имущество и стали наемниками, воспитателями дворянских оболтусов.

Французы, воспитатели Пушкина, злость свою часто срывали на шаловливом и непокорном мальчике, и все они оставили по себе недобрую память. Пушкин вспоминал о них с горькой обидой и злостью.

Родители, гувернеры и гости, часто приезжавшие к Пушкиным,

---

[1] Полкан и Добрыня — герои русских народных былин.
[2] Флора и Помона — богини цветов и плодородия у древних римлян.

говорили только по-французски. Пушкин узнал французский язык раньше русского. Он уже в детстве читал и говорил по-французски, как француз.

В кабинете отца стояло множество книг в переплетах из телячьей кожи. Тут были сочинения вольнодумца Вольтера, Дидро — вся та французская «зараза» умов, которую царь Павел запретил ввозить в Россию. Она была ввезена еще при Екатерине. Пушкин забирался в кабинет отца и читал, читал, не отрываясь.

В доме Пушкиных любили сочинять стихи. Французские стихи сочинял Сергей Львович, сочинял гувернер Русло, даже камердинер питал страсть к стихам и сочинял их по-русски. Эта любовь к стихам передалась и Пушкину — он стал сочинять комедии по-французски.

Вместе со старшей сестрой Ольгой он устроил в детской сцену и сам разыгрывал свои комедии, а сестра изображала публику.

В детстве же узнал Пушкин и русскую литературу. Она сама пришла к нему в дом. Его дядя Василий Львович был в эту пору известным поэтом. Он дружил с лучшими поэтами и писателями того времени: с Карамзиным, Дмитриевым, Жуковским, Батюшковым. И дядя, и его друзья бывали в доме Пушкиных, и Пушкин, сидя в углу, слушал их разговоры, их стихи, их споры и сам мечтал быть поэтом.

Так проходило детство Пушкина, в безалаберном доме родителей.

Пушкин был крайне самолюбив, а родители часто грубо оскорбляли его самолюбие, и он замыкался от них, жил своей жизнью. «Неуимчивый», вспыльчивый, острый на язык, он никому не давал спуску. Родители тяготились им, а он тяготился родителями и думал об одном: как бы вырваться из родительского дома.

В это же время царь Александр I приказал открыть в Царском Селе новое учебное заведение для детей знатных дворян — Лицей.

Сергей Львович, падкий на всякие новшества, решил во что бы то ни стало устроить в Лицей своего сына. Знатных дворянских сыновей было множество, а в Лицей принимали всего тридцать человек. Надо было хлопотать, искать протекцию. Сергей Львович любил суету. Он пустил в ход все свои связи — знакомство с поэтом Дмитриевым и Александром Тургеневым — и добился, что его сыну разрешили держать экзамен в Лицей.

Глава вторая

В Царском Селе

Пушкин не плакал и не чувствовал ни малейшей грусти, когда уезжал из родительского дома. О чем и о ком было плакать? О родителях, которые рады были сбыть его с рук? О гувернерах, которых он ненавидел? Вот няню да сестру Ольгу — их жалко. Но впереди — свобода, независимость, а этого он жаждал больше всего. Он с радостью сел в экипаж рядом с дядей Василием Львовичем.

Не сожалели о Пушкине ни родители, ни гувернеры. Разве сестренка погрустила, да няня Арина Родионовна по-старушечьи поплакала

на крыльце, провожая взглядом экипаж, забренчавший разболтанными гайками по пыльной дороге.

Среди полей потянулась из Москвы в Петербург прямая дорога с полосатыми верстовыми столбами, с почтовыми станциями, со встречными тройками и крестьянскими телегами.

В Петербурге Василий Львович повез племянника в роскошный дворец министра народного просвещения А. К. Разумовского держать экзамен в Лицей. Во дворце в огромном зале, ожидая экзамена, сидели взволнованные мальчики и с любопытством посматривали друг на друга. Василий Львович увидел среди них знакомого мальчика Ивана Пущина и познакомил с племянником. Кудрявый, быстроглазый Пушкин понравился Пущину, и они тотчас же решили, что будут дружить.

Вышел чиновник и стал вызывать поодиночке на экзамен в другой зал, где за большим столом сидел сам министр и несколько экзаменаторов. Пушкин отвечал бойко. Когда его спросили: «Какого французского писателя ты знаешь лучше всего?», он ответил: «Вольтера». Все засмеялись. Ответ показался забавным. Едва ли они поверили Пушкину, а Пушкин сказал правду: Вольтера он знал наизусть.

В половине октября в Лицей стали съезжаться воспитанники. Одним из первых приехал Пущин. Инспектор Лицея привел его на четвертый этаж и остановился перед комнатой, над дверью которой была черная дощечка с надписью: «№ 13. Иван Пущин». Налево над соседней дверью висела такая же дощечка с надписью: «№ 14. Александр Пушкин». Значит, встреча с Пушкиным была не случайна — у них теперь общие интересы, а скоро будет общая жизнь. Через несколько дней приехал и Пушкин. И тут завязалась у них дружба — крепкая, горячая, верная дружба, которая уже не прерывалась до конца их жизни, несмотря на то что и люди они были разные, и судьба их разная.

Пушкин был вспыльчив, самолюбив:

Порой ленив, порой упрям,
Порой лукав, порою прям,
Порой смирен, порой мятежен,
Порой печален, молчалив,
Порой сердечно говорлив.

А Пущин всегда был ровен, спокоен, добр, приветлив. Но у обоих были честные, горячие сердца, оба с детских лет ненавидели несправедливость, ложь и тупость и всей душой рвались к доблести, к подвигу.

Собрались все тридцать воспитанников. Лицеистов нарядили в синие мундиры с красными воротниками, шитыми серебром, белые брюки, белые жилеты, белые галстуки, ботфорты и стали готовить к открытию Лицея, на котором должен был присутствовать сам царь Александр I. Лицеистов строили рядами, вводили в зал, учили, как надо кланяться царю и его семейству. Лицеисты глупо кланялись пока пустому месту, делали не так, как надо, их снова вызывали и муштровали, как обезьян.

19 октября 1811 года состоялось торжественное открытие Лицея. Поп отслужил молебен, окропил все комнаты и коридоры «святой» водой, и лицеистов ввели в огромный лицейский зал. В зале между

колоннами стоял большой стол, крытый красным сукном с золотой бахромой. Лицеисты выстроились в три ряда по одну сторону стола, вместе с ними стали директор, инспектор и гувернеры Лицея. Неподалеку от них профессора — молодые, только что окончившие университеты за границей. А по другую сторону стола в креслах сели царь, жена его, мать, сестра, братья и министр Разумовский; за ними почетные гости, петербургские сановники.

Важный чиновник из министерства народного просвещения дребезжащим тонким голоском прочитал царский манифест об учреждении Лицея.

«Ныне отверзаем новое святилище наук!» — пищал он. Потом прочитал устав Лицея, в котором говорилось, что в новом «святилище наук» телесные наказания запрещаются. Вот как! Лицеистов пороть не будут. Это было ново и необыкновенно. Во всех других учебных заведениях в ту пору школьников секли розгами. И только в Лицее, в виде особой привилегии для детей знатных дворян, порка запрещалась.

Затем робко вышел со свитком в руке директор Лицея Малиновский, уставился на свиток и забормотал что-то невнятно себе под нос.

Речи кончились. Лицеисты поодиночке подходили к царю и кланялись. Потом их повели в столовую обедать. Тут произошел забавный случай. К лицеисту Корнилову подошла мать царя и спросила: «Карош суп?» Она плохо говорила по-русски. Корнилов впопыхах ответил по-французски: «Да, сударь». Товарищи потом долго дразнили его «сударь».

Начались школьные будни. У каждого лицеиста была своя комната — «келья», как называл ее Пушкин. В комнате — кровать железная, комод, конторка, зеркало, стул, стол. На конторке — чернильница, гусиные перья, подсвечник и щипцы, чтоб снимать нагар с трескучей сальной свечи.

Лицеисты вставали рано, в шесть часов. Одевались, шли на молитву, потом в класс, учились с семи до девяти, пили чай и шли на прогулку. С десяти до двенадцати снова учились, потом обедали, гуляли и снова учились до вечера. В половине девятого ужинали и до десяти часов занимались всяк своим делом: кто бегал, кто в мяч играл в коридорах, кто боролся с товарищем где-нибудь в темном углу. В десять часов расходились по комнатам и ложились спать. Длинные сводчатые коридоры погружались в тишину и мрак. Только тускло горели ночники да дежурный дядька уныло шагал из конца в конец.

Самолюбивый, вспыльчивый, раздражительный Пушкин сначала не нравился товарищам. Он казался злым, задиристым, неприятным мальчиком. Между ними и Пушкиным то и дело самым неожиданным образом возникали недоразумения.

Один Пущин, спокойный и добрый, как-то сразу всем сердцем почуял Пушкина, прощал ему все его бурные выходки и крепко дружил с ним. Часто ночами, когда все засыпали, они долго разговаривали через тонкую стенку, разделявшую их комнаты.

Но все хорошее, что было в Пушкине: его пылкое сердце, благо-

родство, честность, веселость, его сверкающий ум — все это со временем открылось товарищам, и они искренно полюбили его и даже признали его превосходство.

Двенадцатилетний Пушкин по уму был старше своих сверстников. Он знал и прочитал уже много такого, о чем они еще и не слыхали. Да и Пушкин скоро увидел, что в Лицее есть много искренних, честных, добрых ребят, и доверчиво распахнул свою душу.

Лицей считался высшим учебным заведением. Профессора и все лицейское начальство смотрели на лицеистов как на взрослых студентов и предоставили им полную свободу. Кто хотел учиться, тот учился, а кто не хотел, тот мог откровенно и безнаказанно предаваться лени.

Пушкин не был усердным школьником. Он охотно и даже с увлечением занимался только такими науками, которые ему были по душе. Он любил французскую, русскую словесность, историю, любил лекции профессора политических наук Куницына и пренебрегал другими. Профессора почти единодушно отмечали его «блистательное дарование» и «крайнее неприлежание». Особенно слаб он был в математике.

Вызвал раз его Карцов к доске и задал алгебраическую задачу. Пушкин долго переминался с ноги на ногу и все писал молча какие-то формулы. Карцов спросил его наконец: «Что же вышло? Чему равняется икс?» Пушкин, улыбаясь, ответил: «Нулю». — «Хорошо! У вас, Пушкин, в моем классе все кончается нулем. Садитесь на свое место и пишите стихи».

Начальство поощряло литературные опыты лицеистов. Пушкин, Дельвиг, Кюхельбекер, Илличевский и Яковлев — лицейские поэты — объединились в кружок, издавали рукописные журналы со стихами и карикатурами: сначала «Вестник», потом «Для удовольствия и пользы», «Неопытное перо», «Юные пловцы» и, наконец, «Лицейский мудрец».

В Лицее была огромная библиотека. В ней были те самые книги, которые принадлежали когда-то Вольтеру. Эти книги, эту «заразу умов» Александр I получил в наследство от бабки своей Екатерины II и передал Лицею.

Лицеисты часто собирались в библиотеке и читали насмешливые, гневные книги Вольтера, Руссо[1], направленные против рабства и неравенства людей, против деспотизма царей, против попов и монахов. В Пушкине, Пущине, Кюхельбекере, Дельвиге рос дух независимости, ненависть к рабству, любовь к человеку, презрение к богатству, царским чинам и почету. Не о генеральских чинах, не о богатстве мечтал Пушкин в Лицее. Он мечтал быть поэтом, чтоб огненным словом своим пробуждать в сердцах подлинно человеческие чувства.

Где бы он ни был — бродил ли он в уединении по царскосельскому парку с мраморными статуями, с белыми лебедями на дремлющем пруду, бродил ли по окрестным лугам, замыкался ли в «келье» своей, сидел ли в классе, — всегда в голове его теснились рифмы и образы поэм, посланий, эпиграмм.

---

[1] Руссо — знаменитый французский писатель.

Пушкин не давал покоя ни бумаге, ни гусиным перьям, писал и переделывал стихи почти ежедневно. Вместе с друзьями он выпускал лицейские журналы, номер за номером, с веселыми, задорными стихами.

Живой и пылкий, он серьезные занятия перемежал с проказами и шалостями и оттого близоруким воспитателям казался «легкомысленным», «ленивым» и «крайне неприлежным». Но Пушкин не был



Александр Пушкин в юности.
Автопортрет.

лентяем. Все существо его всегда было в непрестанном действии, голова всегда полна мыслями, а сердце — чувствами.

В 1815 году на экзамен в Лицей приехал знаменитый, уже дряхлеющий поэт Державин. Шестнадцатилетний Пушкин в его присутствии читал свои стихи «Воспоминания в Царском Селе». Вот как рассказывает об этом сам Пушкин:

«Державин был очень стар. Он был в мундире и плисовых сапогах. Экзамен наш очень его утомил; он сидел, подперши голову рукою, лицо его было бессмысленно, глаза мутны, губы отвислы. Он дремал до тех пор, пока не начался экзамен русской словесности. Тут он оживился. Глаза заблистали, он преобразился весь. Разумеется, читаны были его стихи, разбирались его стихи, поминутно хвалили его стихи. Он слушал с живостью необыкновенной. Наконец, вызвали меня. Я прочел мои «Воспоминания в Царском Селе», стоя в двух шагах от Державина.

Я не в силах описать состояние души моей; когда я дошел до стиха, где упоминаю имя Державина, голос мой отрочески зазвенел, а сердце забилось с упоительным восторгом... Не помню, как я кончил свое чтение, не помню, куда убежал. Державин был в восхищении. Он меня требовал, хотел меня обнять... Меня искали, но не нашли».

После экзамена министр народного просвещения граф Разумовский устроил торжественный обед, на котором присутствовал и Державин, и отец Пушкина Сергей Львович. За обедом разговор шел о воспитанниках, только что переведенных с младшего курса на старший, о поэтическом даровании Пушкина. Граф Разумовский, обращаясь к Сергею Львовичу, сказал:

— Я бы желал, однако же, образовать сына вашего к прозе.

— Оставьте его поэтом! — с жаром воскликнул Державин.

Похвалу Державина Пушкин воспринял как благословение на трудный путь поэта.

В те дни, когда в садах Лицея
Я безмятежно расцветал,
Читал охотно Апулея[1],
А Цицерона[2] не читал,
В те дни, в таинственных долинах,
Весной, при кликах лебединых,
Близ вод, сиявших в тишине,
Являться Муза стала мне.
Моя студенческая келья
Вдруг озарилась: муза в ней
Открыла пир младых затей,
Воспела детские веселья,
И славу нашей старины,
И сердца трепетные сны.

И свет ее с улыбкой встретил;
Успех нас первый окрылил;
Старик Державин нас заметил
И, в гроб сходя, благословил.

(Из романа «Евгений Онегин»)

Пушкин стал работать еще больше и относиться к своим стихам еще строже. Он тогда уже ясно сознавал, что писательство не забава, а суровый подвиг.

...Не тот поэт, кто рифмы плесть умеет
И, перьями скрыпя, бумаги не жалеет.
Хорошие стихи не так легко писать,
Как Витгенштеину[3] французов побеждать.
. . . .
Положим, что, на Пинд[4] взобравшися счастливо,
Поэтом можешь ты назваться справедливо:
Все с удовольствием тогда тебя прочтут.
Но мнишь ли, что к тебе рекой уже текут
За то, что ты поэт, несметные богатства,
Что ты уже берешь на откуп государства,
В железных сундуках червонцы хоронишь
И, лежа на боку, покойно ешь и спишь?
Не так, любезный друг, писатели богаты;
Судьбой им не даны ни мраморны палаты,
Ни чистым золотом набиты сундуки:
Лачужка под землей, высоки чердаки —
Вот пышны их дворцы, великолепны залы.
Поэтов — хвалят все, питают — лишь журналы;

---

[1] Апулей — писатель Древнего Рима, автор книги «Золотой осел».
[2] Цицерон — знаменитый политический деятель и оратор Древнего Рима.
[3] Витгенштейн — генерал, участник войны 1812—1814 годов.
[4] Пинд — горы Греции, олицетворение поэзии, вдохновения.

Катится мимо их Фортуны колесо;
Родился наг и наг ступает в гроб Руссо;
Камоэнс[1] с нищими постелю разделяет;
Костров на чердаке безвестно умирает,
Руками чуждыми могиле предан он:
Их жизнь — ряд горестей, гремяща слава — сон.

(Из стихотворения «К другу стихотворцу»)

Так писал Пушкин, когда ему было всего пятнадцать лет.

Пушкин любил книги, но ни в юности, ни после он не был книжным, кабинетным человеком. Он всегда больше всего любил людей и жизнь. А жизнь в ту пору была чрезвычайно напряженной.

Когда в 1812 году Наполеон подходил к пылающей Москве, Пушкин вместе с товарищами из окна Лицея смотрел на русскую гвардию, уходившую на поля сражения. Несколько позже он видел, как те же лейб-гусары возвращались в Царское Село из заграничного похода в Париж и Дрезден. Наполеон, задушивший революцию во Франции, вот уже и сам низвергнут с престола и заключен на остров Святой Елены. А в России уже начиналось брожение умов. Организовывались тайные общества, которые ставили своей целью уничтожение рабства в России.

На старшем курсе Лицея Пушкин подружился с лейб-гусарами, побывавшими за границей в походах против Наполеона. В Дрездене, в Париже они видели иную жизнь, освеженную революцией. Вернувшись на родину, они с негодованием и стыдом смотрели на русский деспотизм, на рабство и невежество русского народа. Один из этих лейб-гусаров, П. Я. Чаадаев, умный, образованный, честный Чаадаев, оказал на Пушкина огромное влияние. Он первый заставил его серьезно призадуматься над окружающей действительностью, первый указал, что поэтический дар — грозное оружие, он должен направлять не на пустяки, а на защиту народной свободы.

Приближались выпускные экзамены. Еще месяц-другой — и лицеисты покинут Лицей и всяк пойдет своей дорогой. Но какую же избрать дорогу? Кем быть? Чиновником? Офицером? Или просто поэтом без всяких чинов? Пушкин решил: не все ли равно, где ему служить, если он твердо уже знал, что стихи — главное, неизменное дело его жизни. Все прочее: гусарский или чиновничий мундир, чины и почеты — случайная шелуха.

Он хочет быть поэтом, и никем больше.

Шесть лет провел Пушкин в Лицее безвыездно. Сергей Львович едва ли раза два за все шесть лет навестил в Лицее сына. Родители как бы забыли о нем. И он не вспоминал о них. Родным домом ему стал Лицей. Он любил его всем сердцем.

Здесь, в Лицее, он узнал первую дружбу, первую любовь, здесь впервые распахнулась его душа, здесь впервые слава осенила его кудрявую голову, здесь верили в его блистательную будущность. Покидая Лицей, он написал в альбом Кюхельбекеру прощальные стихи:

[1] Камоэнс — португальский поэт, жил в XVI веке.

Прости!.. где б ни был я: в огне ли смертной битвы,
При мирных ли брегах родимого ручья,
Святому братству верен я!

И он не обманул друзей, оставался верен им всю жизнь. И всю свою жизнь он с любовью вспоминал о Лицее и никогда не вспоминал о семье, о доме.

В июне 1817 года Пушкин окончил Лицей и с грустью распрощался с друзьями.

ТОВАРИЩАМ

Промчались годы заточенья;
Недолго, милые друзья,
Нам видеть кров уединенья
И царскосельские поля.
Разлука ждет нас у порогу,
Зовет нас дальний света шум,
И каждый смотрит на дорогу
С волненьем гордых, юных дум.
Иной, под кивер спрятав ум,
Уже в воинственном наряде
Гусарской саблею махнул —
В крещенской утренней прохладе
Красиво мерзнет на параде,
А греться едет в караул;
Другой, рожденный быть вельможей,
Не честь, а почести любя,
У плута знатного в прихожей
Покорным плутом зрит себя;
Лишь я, судьбе во всем послушный,
Счастливой лени верный сын,
Душой беспечный, равнодушный,
Я тихо задремал один...
Равны мне писари, уланы,
Равны законы, кивера,
Не рвусь я грудью в капитаны
И не ползу в асессора...
. . . .

Глава третья

На юг — в ссылку

Пушкин поступил чиновником на службу в Коллегию иностранных дел, сейчас же получил отпуск и уехал в имение матери в Псковской губернии — в село Михайловское.

Два дня ему казались новы
Уединенные поля,
Прохлада сумрачной дубровы,
Журчанье тихого ручья;
На третий роща, холм и поле
Его не занимали боле;
Потом уж наводили сон...

(Из романа «Евгений Онегин»)


Английский поэт Д. Байрон.

И тогда, и всю свою жизнь он любил и шум, и толпу. И вот осенью, приехав в Петербург, он со всей страстностью бросился в этот шум и толпу. Балы, театры, разгульные пирушки товарищей! Он щеголял своим удальством, наслаждался «минутными радостями».

И не он один. Таково было настроение всей дворянской молодежи. После разгрома Французской революции, после тяжелых наполеоновских войн и на Западе, и у нас в России началась тупая, унылая реакция. Россией правил Аракчеев, Францией — Людовик XVIII. Свобода молнией блеснула над Францией, на миг осветила всю Европу, и вот опять все во мраке.

Отчаяние охватило молодежь и у нас, и на Западе. Европейские поэты, во главе с англичанином Байроном, писали мрачные, полные горького разочарования стихи и поэмы.

Что же делать в такую беспросветную пору?

«Жить, наслаждаться минутными радостями! Все равно — жизнь бессмысленна, и лучшие стремления человечества обречены на гибель». Так думала дворянская молодежь и прожигала жизнь, играла в карты, кутила.

Пушкин близко сошелся с этими «молодыми повесами» и сам повесничал, кутил, играл в карты. Но он был слишком умен и требователен к себе, чтоб удовлетвориться этой жизнью. От «повес» он бежал к другим людям, людям старшего поколения, которые выросли в разгар Французской революции. Они организовали тайное общество «Союз благоденствия» и готовы были жертвовать жизнью за благо народа, за свободу крестьян. В это общество еще в лицейские времена вступил друг Пушкина — Пущин, потом Вольховский и Кюхельбекер. Пушкин и сам охотно вступил бы в «Союз благоденствия», но ему не предлагали, боялись его излишней пылкости.

С членами тайного общества — Николаем Тургеневым, Михаилом Орловым, Никитой Муравьевым — Пушкин встречался в литературном обществе «Арзамас». В «Арзамасе» объединились тогда лучшие, передовые писатели и поэты — Карамзин, Жуковский, Батюшков, Василий Львович Пушкин, Вяземский. В это общество был принят и Пушкин еще в лицейские годы. У всех «арзамасцев» было какое-нибудь прозвище; Пушкина при вступлении прозвали Сверчком.

В «Арзамасе» читали стихи, говорили и спорили часто не только о стихах, но и...

Насчет глупца, вельможи злого,
Насчет холопа записного,
Насчет небесного царя,
А иногда насчет земного.

Так жил Пушкин пестрой, рассеянной жизнью и почти ничего не писал. Но вот в феврале 1818 года он заболел и слег в постель. Как только он стал выздоравливать, он, еще лежа в кровати, принялся за поэму «Руслан и Людмила», которую начал еще в Лицее.

В июле, худой и бледный, с обритой головой, но веселый, он уехал в Михайловское и через месяц вернулся в Петербург уже с готовой поэмой. Когда он прочитал поэму на вечере у Жуковского, Жуковский, полный восторга, взял свой портрет, написал на нем: «Победителю-ученику от побежденного учителя...» и подарил Пушкину.

Вскоре и другому его учителю, Батюшкову, попали в руки новые стихи Пушкина. Говорят, прочитав их, он сжал судорожно листок со стихами и сказал: «О, как стал писать этот злодей!»

Пушкин обгонял своих учителей — и Жуковского, и Батюшкова.

В это время никто так не трудился над своим образованием, как Пушкин. Он ясно понимал все недостатки своего учения в Лицее, где «все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь». И он читал, заполнял свои тетради выписками из книг, стихами и размышлениями.

В те годы он написал стихи «Вольность», «Деревня», в которых со всей ненавистью клеймил деспотизм. Стихи эти не были напечатаны, но их знал весь Петербург. Они в списках ходили по рукам вместе с другими «вольнодумными» стихами, которые тоже приписывались Пушкину.

Его стихов пленительная сладость
Пройдет веков завистливую даль,
И, внемля им, вздохнет о славе младость,
Утешится безмолвная печаль,
И резвая задумается радость.

(Стихотворение «К портрету Жуковского»)

Однажды царь встретил директора Лицея Энгельгардта и сказал ему: «Пушкина надо сослать в Сибирь! Он наводнил Россию возмутительными [1] стихами; вся молодежь наизусть их читает».

Об этом узнал Чаадаев и просил Карамзина, бывавшего в царском дворце, вступиться за Пушкина. За Пушкина хлопотали и Жуковский, и граф Каподистрия, начальник Пушкина по службе, но хлопоты не помогли.

Как-то раз, когда Пушкина не было дома, пришел неизвестный человек, вызвал слугу Пушкина, старика Никиту, и предложил ему: «Вот тебе пятьдесят рублей, а ты мне за это дай бумаги барина. Я только прочитаю, что он там пишет, и тут же назад тебе отдам. Он и не узнает».

Но Никита сразу понял, что это сыщик, отказался от денег и ни-

[1] Стихи, призывающие к бунту.

чего ему не дал. Он все рассказал Пушкину, и Пушкин сейчас же уничтожил все вольнодумные стихи.

На другой день Пушкина вызвали к генерал-губернатору Милорадовичу. Когда он явился к нему, Милорадович хотел послать чиновника к Пушкину на дом, чтоб взять все его рукописи. Пушкин сказал:

— Граф, все мои бумаги сожжены, у меня ничего не найдется на квартире, но, если вам угодно, все найдется здесь (он указал пальцем на свой лоб). Прикажите подать бумагу, я напишу все, что написано мною и что разошлось под моим именем.

Ему дали бумагу. Он сел и написал целую тетрадь. На другой день Милорадович отвез тетрадь со стихами царю.

Царь прочитал и возмутился. Какой-то мальчишка, повеса восстает на царя! Да за это в Сибирь, в Соловки! Вот они, плоды Лицея! А он-то думал, что из Лицея выйдут дельные чиновники, помощники царю.

И царь сослал бы Пушкина в Сибирь, но друзья и защитники Пушкина усилили хлопоты. Царь уступил и приказал: «Снарядить Пушкина в дорогу, выдать ему прогоны и с соответствующим чином и с соблюдением возможной благовидности отправить его на службу на юг».

Под видом перевода по службе Пушкина сослали в Екатеринослав [1].

Пушкин выехал из Петербурга 6 мая 1820 года. В красной рубахе, в поярковой шляпе, вместе с верным слугой Никитой ехал он на почтовых лошадях от станции к станции. Тут он впервые узнал все прелести русского путешествия: разбитые дороги, дырявые, прогнившие мосты, почтовые станции с грязью, клопами и блохами, угрюмые, запуганные станционные смотрители, которых вечно бранят, а иногда и бьют по щекам запальчивые царские курьеры — фельдъегери.

Через десять дней Пушкин приехал в Екатеринослав в распоряжение генерал-лейтенанта Инзова.

Здесь снял он хату на окраине города и заскучал. Однажды он катался на лодке по Днепру, выкупался и схватил жестокую малярию. Небритый, худой, с воспаленными глазами, лежал он в жару в грязной хате на дощатом диване и вместо лекарства пил ледяной лимонад. В городе он не знал никого, и никто о нем не заботился, кроме Никиты. Так и лежал он, забытый и заброшенный.

В это время через Екатеринослав проезжал генерал Раевский с двумя дочерьми и сыном Николаем. Николай Раевский еще в Царском Селе подружился с Пушкиным. Они вместе пировали в веселой гусарской компании, вместе проказничали и оба одинаково ненавидели деспотизм. Николай знал, что его друг сослан в Екатеринослав. Он тотчас же разыскал его и перепугался, когда нашел его в грязной лачуге больным и заброшенным. Он побежал за доктором, который сопровождал Раевских на Кавказ. Пришел доктор, увидел на столе перед больным бумагу и спросил:

— Чем вы тут занимаетесь?

— Пишу стихи.

[1] Теперь Днепропетровск.

«Нашел, — подумал доктор, наверно, — время и место».

Он не знал еще, кого лечит. Он осмотрел больного, посоветовал ему выпить на ночь чего-нибудь теплого и ушел.

К утру приступ малярии кончился, а к вечеру Пушкина опять скрутила малярия. Опять он в жару, губы сохнут и глаза блестят, как стеклянные. Раевские решили взять его с собой на Кавказ. Пушкин согласился с радостью. Он и не мечтал об этом. Но отъезд Пушкина зависел еще от генерала Инзова. И тот согласился и отпустил его на свой риск и страх, хотя и мог получить за это головомойку от своего петербургского начальства.

Пушкин уехал с Раевскими в Горячеводск [1]. Выехал он больным, но уже по дороге ожил, повеселел и в Горячеводск приехал совершенно здоровым.

В те времена мало кто знал Кавказ. Пожалуй, одни только военные, которых посылали усмирять горцев. Кавказ был неведомым краем, и этот неведомый край поразил Пушкина. Неприступные цепи снежных гор, сверкающие купола Казбека и Эльбруса, густое южное небо, бурные реки, бурные нравы и полудикая жизнь воинственных горцев... Вот она, прекрасная первозданная природа, еще не тронутая рукой человека! По приказу царя генерал Ермолов громил и сжигал аулы непокорных горцев. Но горцы все-таки не хотели признавать власть русских, уходили в горы, в леса и оттуда совершали дерзкие набеги на русские селения и крепости.

Николай Раевский познакомил Пушкина со стихами и поэмами Байрона, о котором Пушкин знал понаслышке.

Байроновская разочарованность, презрение к бездушной, подлой великосветской черни, теснившейся возле трона, жажда свободы, мятежность и мрачность его были близки ссыльному Пушкину. Он давно уже думал и чувствовал так же, как Байрон. И вот под влиянием Байрона и той своеобразной жизни, какую он видел на Кавказе, Пушкин начал писать новую поэму «Кавказский пленник».

5 августа Пушкин вместе с Раевским выехал из Горячеводска в Крым.

«Видел я берега Кубани и сторожевые станицы, — писал он брату Льву, — любовался нашими казаками. Вокруг нас ехали 60 казаков, за нами тащилась заряженная пушка с зажженным фитилем. Хотя черкесы нынче довольно смирны, но нельзя на них положиться; в надежде большого выкупа — они готовы напасть на известного русского генерала. И там, где бедный офицер безопасно скачет на перекладных, там высокопревосходительный легко может попасть на аркан какого-нибудь чеченца. Ты понимаешь, как эта тень опасности нравится мечтательному воображению».

В Тамани Пушкин впервые увидел Черное море. В Керчи он сел на корабль и поплыл вдоль Южного берега Крыма, в Гурзуф. Бурное море, горы, сверкающее небо... Все это так захватило, взволновало Пушкина, что он тут же на корабле написал страстные

[1] Теперь Пятигорск.

стихи в духе Байрона, которые и мыслями, и тоном уже резко отличались от его прежних стихов.

Погасло дневное светило;
На море синее вечерний пал туман.
Шуми, шуми, послушное ветрило,
Волнуйся подо мной, угрюмый океан.
Я вижу берег отдаленный,
Земли полуденной волшебные края;
С волненьем и тоской туда стремлюся я,
Воспоминаньем упоенный...
И чувствую: в очах родились слезы вновь;
Душа кипит и замирает;
Мечта знакомая вокруг меня летает;
Я вспомнил прежних лет безумную любовь,
И все, чем я страдал, и все, что сердцу мило,
Желаний и надежд томительный обман...
Шуми, шуми, послушное ветрило,
Волнуйся подо мной, угрюмый океан.

(Из стихотворения «Погасло дневное светило»)

В Гурзуфе у Раевских было имение. Пушкин прожил в Гурзуфе три недели. Он гулял, катался по морю, читал и перечитывал с Николаем Раевским Байрона.

Потом через Ялту, Ай-Петри он тронулся в путь к Инзову, которого в это время из Екатеринослава перевели в Бессарабию, в Кишинев. По дороге Пушкин побывал в Бахчисарае, осмотрел развалины ханского дворца, уже умолкнувший фонтан, и эти развалины взбудоражили его пылкую голову, в ней закипели рифмы и образы новой поэмы «Бахчисарайский фонтан». У Перекопа он распростился с Раевскими и один, грустный, поехал в Бессарабию.

«Суди, был ли я счастлив, — писал он брату по приезде в Кишинев. — Свободная, беспечная жизнь в кругу милого семейства, жизнь, которую я так люблю и которой никогда не наслаждался, — счастливое полуденное небо; прелестный край, природа, удовлетворяющая воображение, горы, сады, море. Друг мой, любимая моя надежда — увидеть опять полуденный берег и семейство Раевского... Теперь я один в пустынной для меня Молдавии».

Глава четвертая
В кишиневской глуши

Кишинев, когда туда приехал Пушкин в сентябре 1820 года, был настоящей «Азией» со всей ее восточной пестротой. Узкие, кривые улицы, каменные домики с черепичными крышами, грязные, тесные дворы, грязные площади, устланные неровным булыжником, на окраине города — хаты, крытые камышом и соломой, фруктовые сады, виноградники, огороды, рощи. Дальше — степи, дымные костры и палатки кочующих цыган.

На улицах города — разноязычная, пестрая толпа: румыны в остроконечных бараньих шапках, турки в ярких чалмах, греки в пламен-

ных фесках, русские в военных мундирах, болгары, евреи, цыгане, албанцы, итальянцы, французы.

Какая смесь одежд и лиц,
Племен, наречий, состояний...

На мостовой такое же месиво из крытых боярских рыдванов, крестьянских телег и блестящих колясок.

Как это не похоже на Петербург и на те «благословенные края» — Кавказ и Крым, — которые Пушкин только что покинул! Смешной, нелепый край!

Все это не привело его в восторг. Он весь еще был полон Кавказом, Крымом, он тосковал по Раевским и рвался к ним всем сердцем. И наконец не выдержал. В ноябре отпросился у Инзова и укатил к Раевским, которые жили в это время в Киевской губернии.

Встреча с Раевским живо напомнила Пушкину Кавказ, и он тут же, в Каменке, закончил свою вторую поэму «Кавказский пленник».

В марте Пушкин вернулся в Кишинев. Инзов жил один, по-солдатски. Семьи у него не было, и Пушкин с Никитой поселился у него.

На Пушкина сразу же навалилось множество новостей и событий. Прежде всего он узнал, что хлопоты друзей о возвращении его в Петербург «оставлены без последствия». Значит, он уже не заезжий человек в Кишиневе, а постоянный житель, и, может быть, на долгие годы. Жить в этой «Азии», вдали от друзей, не имея ни копейки денег, кроме ничтожного жалованья — семисот рублей в год! На отца надеяться нечего — он скуп, напуган ссылкой, присылает иногда ханжеские любезные письма и ни слова о деньгах.

Вот разве выручит поэма «Руслан и Людмила». Она напечатана в Петербурге. Публика раскупает ее нарасхват, читает, хвалит, заучивает наизусть, а критики бранят. Критики привыкли к неуклюжим, торжественным поэмам, написанным высокопарными, длинными, как вожжи, стихами. Они привыкли к Хераскову.

Пою от варваров Россию свобожденну,
Попранну власть татар, и гордость побежденну,
Движенье древних войск, труды, кроваву брань,
России торжество, разрушенну Казань [1].

А тут вдруг легкая, шутливая народная сказка, написанная остроумно, с задором, блеском, простым народным языком:

Дела давно минувших дней,
Преданья старины глубокой.

В толпе могучих сыновей,
С друзьями, в гриднице высокой
Владимир-солнце пировал;
Меньшую дочь он выдавал
За князя храброго Руслана
И мед из тяжкого стакана
За их здоровье выпивал.

---

[1] Из поэмы Хераскова «Россиада».

Все просто, никакой напыщенности. Пишет, как говорит.

Один критик с негодованием писал в «Вестнике Европы»:

«Позвольте спросить: если бы в Московское благородное собрание как-нибудь втерся (предполагаю невозможное возможным) гость с бородою, в армяке, в лаптях и закричал зычным голосом: «Здорово, ребята!» — неужели бы стали проказником любоваться?»

Таким «гостем», таким грубым мужланом казалась ему, да и не ему одному, поэма Пушкина. Критики не понимали, что Пушкин не зря обратился к народному творчеству, не зря вводил в поэзию живой разговорный язык. Он делал великое дело, освобождал поэзию от мертвечины и создавал новый литературный язык с помощью языка народного.

Но все-таки эта глупая болтовня критиков раздражала Пушкина.

Еще новость: в Молдавии и Валахии греки восстали против своих давних притеснителей — турок. Князь Александр Ипсиланти с двумя братьями выехал из Кишинева в город Яссы и там напечатал прокламации, призывая греков к оружию. Греки заволновались и в Кишиневе, и в Одессе.

«Восторг умов дошел до высочайшего предела, — писал Пушкин Александру Раевскому. — Все мысли устремлены к одному предмету — на независимость древнего отечества. В Одессе я уже не застал любопытного зрелища: в лавках, на улицах, в трактирах — везде собирались толпы греков, все продавали за ничто свое имущество, покупали сабли, ружья, пистолеты, все шли в войско счастливого Ипсиланти. Жизнь, имения греков в его распоряжении... 10 000 греков записались в войско».

И еще: в Испании революция! Неспокойно и в Италии. Кипит народ и в Пруссии: там тоже вот-вот сбросят короля. Вот если бы то же самое и у нас в России!

Пушкин в этот период своей жизни то шалит и проказничает, как школьник: украдет и спрячет «папучи» (туфли) у почтенной румынской боярыни, которая почему-то снимала их, садясь на диван по-турецки; или явится в городской сад, переодетый турком, сербом или румыном; то вдруг становится раздражительным, злым, заносчивым, дерзким, пишет эпиграммы на кишиневских дам, на их тупых мужей и по пустяковому поводу вызывает на дуэль.

Вот он стреляется с офицером Зубовым. Зубов наводит пистолет, а Пушкин спокойно держит в руке шляпу, вынимает из нее черешни и ест. Вот он снова за рекой Бык в мороз и метель — зги не видать — стреляется с полковником Старовым. И полковник говорит ему после дуэли: «Я должен сказать по правде, что вы так же хорошо стоите под пулями, как хорошо пишете».

О Пушкине говорили, его боялись, на него жаловались Инзову. Инзов отечески журил его и наказывал, как мальчишку: на несколько дней отнимал у него сапоги, чтоб сидел дома. Но сам же присылал ему журналы, чтобы не скучно было, приходил к нему и разговаривал об испанской революции, о греческом восстании. Старик Инзов любил

Пушкина — этого пылкого, кипучего юношу, от которого так и веяло буйством молодости и высоким благородством души.

И Пушкин любил его. Он знал, что Инзов, прямой, честный человек, враг тирании, тоже не одобряет российских порядков, и Пушкин, не стесняясь, у него за обедом громит деспотизм и восхваляет революцию:

«Тот подлец, кто не хочет перемены правительства в России! Прежде народы восставали один против другого, теперь король неаполитанский воюет с народом, прусский воюет с народом, испанский тоже — не трудно расчесть, чья сторона возьмет верх».

Чиновники огорошены, молчат. Инзов, заметив это, прерывает Пушкина и спокойно переводит разговор на другие предметы.

Вот Инзов уехал на охоту. И Пушкин, чувствуя себя на просторе, снова заговорил о правительстве. Переводчик Смирнов заспорил с Пушкиным, и чем больше он спорил, тем больше разгорался, бесился и выходил из себя Пушкин.

«Штатские чиновники — подлецы и воры! — кричал он. — Генералы — скоты! Одни крестьяне заслуживают уважения. А дворян всех надо бы повесить. И если бы это случилось, я сам бы с удовольствием затягивал петли».

Пушкин кричал, а кишиневские шпионы слали в Петербург доносы, что Пушкин открыто бранит военное начальство и правительство.

В Кишиневе как будто было два Пушкина: один — веселый, дерзкий забияка, задорный дуэлист, бунтарь; другой — поэт с открытой, доброй душой, жаждущий знаний. Как и в детстве, и в Лицее, он бросается из одной крайности в другую. То он неукротимо весел, то впадает в жестокую хандру — свет не мил. Но вот наступает душевное равновесие. Он спокойно беседует с офицерами в доме Орлова. Орлов командовал 16-й дивизией, стоявшей в Кишиневе. Среди подчиненных ему офицеров было много людей образованных, умных, мечтавших о свержении деспотизма. Пушкин остро чувствовал все недостатки своего «проклятого воспитания» дома и в Лицее. Он замыкается у себя в комнате и с необыкновенным упорством начинает работать.

В уединении мой своенравный гений
Познал и тихий труд, и жажду размышлений;
Владею днем моим; с порядком дружен ум;
Учусь удерживать вниманье долгих дум;
Ищу вознаградить в объятиях свободы
Мятежной младостью утраченные годы
И в просвещении стать с веком наравне.

Так писал он из Кишинева Чаадаеву. Здесь он закончил поэму «Кавказский пленник», написал «Братья разбойники», «Бахчисарайский фонтан», «Послание к Овидию» и множество небольших стихотворений. Он собирал народные песни, легенды. С помощью эконома Инзова изучал румынский язык и дух румынского народа на площадях Кишинева. Он попросту на площади становился в хоровод и вместе с простым народом под звуки скрипки и кобзы отплясывал сербские и румынские народные танцы. Кишиневские аристократы, сторонившиеся простонародья, возмущались этим, считали, что это озорство,

сумасбродство. Но это не было ни озорством, ни сумасбродством. Пушкин любил простой народ, изучал народ и крепко знал, что, стоя в стороне, никогда ничего не изучишь.

Говорят, что он во время поездки на юг Бессарабии встретил цыганский табор и некоторое время кочевал вместе с табором.

Цыганы шумною толпой
По Бессарабии кочуют.
Они сегодня над рекой
В шатрах изодранных ночуют.
Как вольность весел их ночлег
И мирный сон под небесами.
Между колесами телег,
Полузавешенных коврами,
Горит огонь; семья кругом
Готовит ужин; в чистом поле
Пасутся кони; за шатром
Ручной медведь лежит на воле.
Все живо посреди степей:
Заботы мирные семей,
Готовых с утром в путь недальний,
И песни жен, и крик детей,
И звон походной наковальни.

(Из поэмы «Цыганы»)

Все эти его «сумасбродства» не проходили даром: они давали Пушкину обильный материал для стихов и поэм.

Пушкин прожил в Кишиневе почти три года. Кишиневская «азиатчина» становилась все постылей. Радовало его восстание греков, он внимательно, с восторгом следил за ним, вел дневник восстания, и вот — разочаровался. Ипсиланти, поднимая восстание, наивно надеялся на поддержку русского царя Александра I. Царь не оправдал его надежд, да и сам Ипсиланти не оправдал надежд греков. Он постыдно бежал в Австрию, там его посадили в тюрьму.

В январе 1823 года Пушкин написал письмо в Петербург графу Нессельроде, управляющему министерством иностранных дел, в ведомстве которого он числился по службе. Он просил разрешить ему месяца на два-три приехать в Петербург повидаться с родными, но просьбу его опять оставили без последствий.

Значит, еще торчать в постылом Кишиневе?

Он знает всех наперечет, и все его знают в Кишиневе. Но что толку? «Знакомых тьма, а друга нет». И он решил во что бы то ни стало вырваться из этого города. И он вырвался.

«...Здоровье мое давно требовало морских ванн, — писал он брату Льву в конце августа 1823 года. — Я насилу уломал Инзова, чтобы он отпустил меня в Одессу. Я оставил мою Молдавию и явился в Европу. Между тем приезжает Воронцов, принимает меня очень ласково, объявляет мне, что я перехожу под его начальство, что остаюсь в Одессе. Кажется и хорошо, да новая печаль мне сжала грудь.

Мне стало жаль
Моих покинутых цепей».

Глава пятая

В Одессе

Я жил тогда в Одессе пыльной...
Там долго ясны небеса,
Там хлопотливо торг обильный
Свои подъемлет паруса;
Там все Европой дышит, веет,
Все блещет югом и пестреет
Разнообразностью живой.
Язык Италии златой
Звучит по улице веселой,
Где ходит гордый славянин,
Француз, испанец, армянин,
И грек, и молдаван тяжелый...

(Из романа «Евгений Онегин»)

Одесса своей грязью и пестротой населения напоминала Кишинев, но в Кишиневе все дышало Азией, а в Одессе все дышало и веяло Европой. Одесса была приморским городом, культурным центром юга России. Здесь было европейское общество со всем его блеском, итальянская опера, концерты, балы, маскарады.

Во главе общества стоял генерал-губернатор граф Воронцов — вежливый, «изящный европеец».

Казалось бы, жизнь Пушкина переменилась к лучшему. И друзья, и море, и опера!.. Но не прошло и двух месяцев, как он уже стал с грустью вспоминать о грязном Кишиневе и проклинать Одессу. Он сразу понял, что попал в общество блестящее, но бездушное, пустое, ничтожное. Ведь это не люди с горячим умом и сердцем, а расчетливые чиновники, жаждущие орденов. Это тупицы с любезными, коварными улыбочками. И вся эта двуногая двуличная тварь лезет вперед за чинами и почетом, поближе к наместнику — к графу Воронцову. Да и сам граф не лучше их. Он ценит в людях не ум и не сердце, а «порядочность в образе мысли» и благопристойность поведения.

Пушкин сразу понял, что в глазах этой великосветской черни его ум, его стремления к свободе — ничто, а его поэтический дар — пустая забава. Конечно, его дар приняли бы весьма благосклонно, если бы Пушкин, в свою очередь, принял высокомерное покровительство графа и пустился бы своими стихами прославлять его подвиги, как когда-то прославлял Державин подвиги Екатерины II. Но об этом не могло быть и речи. Ни за какие блага он не отдал бы своей независимости. Он не продажный писака! К тому же он, «шестисотлетний дворянин», знатностью своей может потягаться с самим графом Воронцовым.

Независимость «сочинителя» казалась обществу явлением непонятным, дерзким, возмутительным, тем более что влияние этого «сочинителя» росло день ото дня. Не только в Одессе, но и в Петербурге и в Москве журналисты величали его главой нового литературного направления и до хрипоты бранили, хвалили и спорили.

Между Воронцовым и Пушкиным началась война. Битва неравная, но Пушкин не сдавался.



Одесский генерал-губернатор граф М. С. Воронцов.

Эпиграммы делали свое дело.

Петербургские друзья писали Пушкину, просили его быть осторожным «на язык и на перо, не играть своим будущим». Но Пушкин не унимался и с гневом писал им про Воронцова: «Он видел во мне коллежского асессора, а я, признаюсь, думаю о себе нечто другое».

Успокаивала Пушкина только работа. Временами он запирался у себя дома и писал одновременно и «Цыганы», и «Евгений Онегин». В эти минуты от него отлетали все житейские дрязги, все меркло в жарком порыве вдохновения.

Вдохновение прошло, и снова хандра, раздражительность и борьба с глупцами, с «сиятельной чернью». И доколе же так? Доколе же он будет скитаться по ссылкам?

«Ты знаешь, что я дважды просил Ивана Ивановича [1] о своем отпуске через его министров и два раза воспоследовал всемилостивейший отказ. Осталось одно — писать прямо на его имя — такому-то, в Зимнем дворце, что против Петропавловской крепости, — не то взять тихонько трость и шляпу и поехать посмотреть на Константинополь. Святая Русь мне становится невтерпеж». (Из письма брату в январе 1824 года.)

Пушкин всерьез стал посматривать на море: и в самом деле не махнуть ли в Константинополь? Вон из подлой России!

Придет ли час моей свободы?
Пора, пора! — взываю к ней;
Брожу над морем, жду погоды,
Маню ветрила кораблей.
Под ризой бурь, с волнами споря,
По вольному распутью моря
Когда ж начну я вольный бег?
Пора покинуть скучный брег
Мне неприязненной стихии,
И средь полуденных зыбей,
Под небом Африки моей,
Вздыхать о сумрачной России,
Где я страдал, где я любил,
Где сердце я похоронил.

(Из романа «Евгений Онегин»)

Но побег не удался. Пушкина в «сумрачной России» удержала любовь к женщине, которую он крепко и долго любил.

Воронцов наконец решил показать Пушкину, что он не больше как мелюзга, чиновник, которым он властен распорядиться, как ему вздумается. 22 мая 1824 года Воронцов отдал приказ: отправить несколько

[1] Иваном Ивановичем Пушкин называл царя Александра I.

мелких чиновников, в том числе и Пушкина, в уезды — собрать сведения о ходе работ по борьбе с саранчой.

Это окончательно взбесило Пушкина. Он схватил перо и в запальчивости написал правителю канцелярии Воронцова Казначееву:

«...7 лет я службой не занимался, не написал ни одной бумаги, не был в сношении ни с одним начальником... Мне скажут, что я, получая 700 рублей, обязан служить. Вы знаете, что только в Москве и Петербурге можно вести книжный торг, ибо только там находятся журналисты, цензоры и книгопродавцы, я неминуемо должен отказаться от самых выгодных предложений, единственно по той причине, что нахожусь за 2000 верст от столицы. Правительству угодно вознаграждать некоторым образом мои утраты. Я принимаю эти 700 рублей не как жалованье чиновника, но как паек ссылочного невольника. Я готов от них отказаться, если не могу быть властен в моем времени и занятиях...»

Это был уже открытый бунт. Воронцов мог представить Пушкина в глазах царя неукротимым бунтарем, презирающим царскую службу. Друзья уговорили Пушкина не отказываться от командировки, и он уехал. Но, вернувшись в Одессу, он тотчас же написал резкое письмо Воронцову, в котором требовал отставки.

Воронцов вежливо ответил, что отставка зависит не от него, а от графа Нессельроде, а в то же время написал графу Нессельроде письмо — уже откровенный донос на Пушкина. В Петербурге как раз в это время сыщики донесли правительству о письме Пушкина из Одессы, в котором он писал приятелю: «...беру уроки чистого атеизма [1]. Здесь англичанин, глухой философ, единственный атей, которого я встретил...»

И вот в Одессу пришел приказ от графа Нессельроде: по решению правительства исключить (значит, выгнать с позором, а не отставить) Пушкина из списка чиновников и отправить немедленно в Псковскую губернию, в имение родителей, под надзор полицейских и церковных властей.

Пушкин простился с морем. Он жалел только о нем да о «ней», которую любил всем сердцем.

Прощай, свободная стихия!
В последний раз передо мной
Ты катишь волны голубые
И блещешь гордою красой.

Как друга ропот заунывный,
Как зов его в прощальный час,
Твой грустный шум, твой шум призывный
Услышал я в последний раз.

Моей души предел желанный!
Как часто по брегам твоим
Бродил я тихий и туманный,
Заветным умыслом томим!

Как я любил твои отзывы,
Глухие звуки, бездны глас

[1] Атеизм — безбожие.

И тишину в вечерний час,
И своенравные порывы!

Смиренный парус рыбарей,
Твоею прихотью хранимый,
Скользит отважно средь зыбей:
Но ты взыграл, неодолимый,
И стая тонет кораблей.

Не удалось навек оставить
Мне скучный, неподвижный брег,
Тебя восторгами поздравить.
И по хребтам твоим направить
Мой поэтический побег.

Ты ждал, ты звал... я был окован;
Вотще рвалась душа моя:
Могучей страстью очарован,
У берегов остался я.

Прощай же, море! Не забуду
Твоей торжественной красы
И долго, долго слышать буду
Твой гул в вечерние часы.

В леса, в пустыни молчаливы
Перенесу, тобою полн,
Твои скалы, твои заливы,
И блеск, и тень, и говор волн.

(Из стихотворения «К морю»)

Глава шестая

Под двойным надзором

Девятого августа Пушкин подъехал к шаткому крыльцу старого михайловского дома, до того обветшалого, что был он похож скорее на лачугу, чем на барский дом.

Началась суета, на кухне загремели самоваром, пошли расспросы, что да как. Родители были довольны, возвращение сына из ссылки они истолковали как первый шаг к прощению его царем. Да и Пушкин был доволен, что наконец ускакал из Одессы:

От оперы, от темных лож
И слава богу от вельмож.

Потянулись мирные деревенские дни. Пушкин проводил их частью дома, а частью в Тригорском, у соседки-помещицы Осиповой. Дома он дописывал поэму «Цыганы» и роман в стихах «Евгений Онегин», а в Тригорском отдыхал и веселился с дочерьми Осиповой и сыном ее Алексеем Вульфом, студентом Дерптского университета. В Тригорском кипела молодость, там любили его, там он чувствовал себя непринужденно и весело. А дома ворчал старый и скупой отец. Вот Александру-то уже двадцать пять лет. Его лицейские товарищи уже в чинах, обласканы государем, а он что? Все еще в мальчиках ходит. Одни стихи в голове.

Однажды псковский предводитель дворянства Пещуров вызвал к себе Сергея Львовича и сказал, что сын его Александр Сергеевич навлек на себя новое недовольство государя императора, что он, оказывается, не только вольнодумный молодой человек, но еще и безбожник.

Как! Этого еще недоставало!

Сергея Львовича охватил ужас.

Сергей Львович знал, что в глазах государя нет большего преступления, чем безбожие.

— Да, да, это точно известно правительству из письма, писанного сыном вашим из Одессы, — устрашал Сергея Львовича Пещуров и под конец предложил ему следить за сыном, за его поведением, разговорами, распечатывать письма, словом — шпионить.

Трусливый и малодушный Сергей Львович, боясь, как бы гнев государя не пал и на него самого, согласился.

В Михайловском начались ссоры. Сергей Львович в отчаянии хватался за голову и твердил, что Александр — этот выродок, это чудовище — их всех погубит, что их всех сошлют в Соловецкий монастырь или запрут в деревне. Пушкин отмалчивался, уходил на весь день из дому в поля или в Тригорское.





А. С. Пушкин.
Автопортрет.

Но вот из Пскова от Пещурова пришла официальная бумага, из которой Пушкин узнал, что отец, его родной отец, стал шпионом и доносчиком. Он не выдержал и в ярости высказал отцу все, что думал. Сергей Львович выбежал из комнаты, крича на весь дом: «Он меня бил!»

Это была чистейшая ложь. Но эта ложь могла окончательно погубить Пушкина. Пушкин перепугался не на шутку и написал своему неизменному заступнику и другу Жуковскому:

«...Отец мой, воспользуясь отсутствием свидетелей, выбегает и всему дому объявляет, что я его бил, хотел бить, замахнулся, мог прибить... Перед тобой не оправдываюсь. Но чего он хочет от меня с уголовным своим обвинением? Рудников сибирских и лишения чести? Спаси меня хоть крепостью, хоть Соловецким монастырем... Еще раз спаси меня. Поспеши. Обвинение отца известно всему дому. Никто не верит, но все его повторяют. Соседи знают. Я с ними не хочу объясняться. Дойдет до правительства — посуди, что будет. Доказывать суду клевету отца на меня ужасно, а на меня и суда нет. Я вне закона».

Жуковский уговорил Сергея Львовича не выносить сор из избы. Тем дело и кончилось. Сергей Львович с семьей уехал в Петербург и отказался шпионить за сыном, ссылаясь на то, что из столицы невозможно следить за поведением сына, живущего вдали от него. Но разрыв между отцом и сыном длился еще четыре года.

Пушкин остался в деревне один со старой няней Ариной Родионовной.

Пушкин жил как отшельник.

Настроение у него было мрачное. Ему минуло уже двадцать пять лет. Юность прошла, растрачены силы в бесплодных порывах. А что сделано? Ему захотелось оглянуться назад, на прошлую жизнь, и подвести итоги. Он стал писать записки о своей минувшей жизни, о людях, с которыми встречался, о событиях, которые прошли у него на глазах.

Но одиночество и скука порой приводят его в бешенство. В гости к соседям-помещикам он не ездил.

Бежал он их беседы шумной.
Их разговор благоразумный
О сенокосе, о вине,
О псарне, о своей родне
Конечно не блистал ни чувством,
Ни поэтическим огнем,
Ни остротою, ни умом...

(Из романа «Евгений Онегин»)

Пушкину здесь не хватало друзей — Дельвига, Вяземского, Пущина. В Петербурге вокруг умного и доброго поэта Дельвига образовался тесный круг молодых поэтов — друзей Пушкина. Там кипела жизнь, там шли горячие литературные битвы, там стихи Пушкина были боевым знаменем поэтов, а сам Пушкин сидел в глуши.

Но я плоды моих мечтаний
И гармонических затей
Читаю только старой няне,
Подруге юности моей.
. . . .
Или (но это кроме шуток)
Тоской и рифмами томим,
Бродя над озером моим,
Пугаю стадо диких уток:
Вняв пенью сладкозвучных строф,
Они слетают с берегов.

Одна няня, добрая старуха Арина Родионовна, сказочница, песенница, любительница выпить рюмочку винца, делила с ним скуку зимних вечеров.

Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя;
То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя,
То по кровле обветшалой
Вдруг соломой зашумит,
То, как путник запоздалый,
К нам в окошко застучит.

Наша ветхая лачужка
И печальна, и темна.
Что же ты, моя старушка,
Приумолкла у окна?
Или бури завываньем
Ты, мой друг, утомлена,
Или дремлешь под жужжаньем
Своего веретена?

Выпьем, добрая подружка
Бедной юности моей,
Выпьем с горя; где же кружка?
Сердцу будет веселей.
Спой мне песню, как синица
Тихо за морем жила;
Спой мне песню, как девица
За водой поутру шла.

Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя;
То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя.
Выпьем, добрая подружка
Бедной юности моей,
Выпьем с горя; где же кружка?
Сердцу будет веселей.

(Стихотворение «Зимний вечер»)

В январе 1825 года к Пушкину в Михайловское рано утром приехал нежданный гость — Пущин. Вот как сам Пущин описывает свой приезд и встречу с Пушкиным:

«Спускаясь с горы, недалеко уже от усадьбы, которой за частыми соснами нельзя было видеть, сани наши в ухабе так наклонились набок, что ямщик слетел. Я с Алексеем, неизменным моим спутником от лицейского порога до ворот крепости [1], кой-как удержался в санях. Скачем опять в гору извилистою тропой; вдруг крутой поворот, и как будто неожиданно вломились с маху в притворенные ворота, при громе колокольчика. Не было силы остановить лошадей у крыльца, протащили мимо и засели в снегу нерасчищенного двора...

Я оглядываюсь: вижу на крыльце Пушкина, босиком, в одной рубашке, с поднятыми вверх руками. Не нужно говорить, что тогда во мне происходило. Выскакиваю из саней, беру его в охапку и тащу в комнату. На дворе страшный холод, но в иные минуты человек не простужается. Смотрим друг на друга, целуемся, молчим. Он забыл, что надобно прикрыть наготу, я не думаю об заиндевевшей шубе и шапке. Было около восьми часов утра. Не знаю, что делалось. Прибежавшая старуха застала нас в объятиях друг друга в том самом виде, как мы попали в дом: один — почти голый, другой — весь забросанный снегом. Наконец, пробила слеза (она и теперь, через тридцать три года, мешает писать в очках), мы очнулись. Совестно стало перед этой женщиной, впрочем, она все поняла. Не знаю, за кого приняла меня, только, ничего не спрашивая, бросилась обнимать. Я тотчас догадался, что это добрая его няня, столько раз им воспетая, — чуть не задушил ее в объятиях.

Все это происходило на маленьком пространстве. Комната Александра была возле крыльца, с окном на двор, через которое он увидел меня, заслышав колокольчик. В этой небольшой комнате помещались кровать его с пологом, письменный стол, диван, шкаф с книгами и проч. и проч. Во всем поэтический беспорядок, везде разбросаны

---

[1] Алексей — слуга Пущина. Пущин 14 декабря 1825 года участвовал в восстании декабристов, был посажен в крепость царем, потом сослан на каторгу в Сибирь.

исписанные листы бумаги, всюду валялись обкусанные, обожженные кусочки перьев.

...Я привез Пушкину в подарок «Горе от ума» [1], он был очень доволен этою, тогда рукописною комедией. После обеда, за чашкой кофею, он начал читать ее вслух.

Среди этого чтения кто-то подъехал к крыльцу. Пушкин выглянул в окно, как будто смутился и торопливо раскрыл лежавшую на столе Четью-Минею. Заметив его смущение и не подозревая причины, я спросил его: что это значит? Не успел он отвечать, как вошел в комнату низенький рыжеватый монах и рекомендовался мне настоятелем соседнего монастыря.

...Монах начал извинением в том, что, может быть, помешал нам, потом сказал, что, узнавши мою фамилию, ожидал найти знакомого ему П. С. Пущина, уроженца великолуцкого. Ясно было, что настоятелю донесли о моем приезде и что монах хитрит. Разговор завязался о том о сем. Между тем подали чай. Пушкин спросил рому, до которого, видно, монах был охотник. Он выпил два стакана чаю, не забывая о роме, и после этого начал прощаться, извиняясь снова, что прервал нашу товарищескую беседу.

Я рад был, что мы избавились от этого гостя, но мне неловко было за Пушкина: он, как школьник, присмирел при появлении настоятеля. Я ему высказал мою досаду, что накликал это посещение: «Перестань, любезный друг! Ведь он и без того бывает у меня, я поручен его наблюдению. Что говорить об этом вздоре!» Тут Пушкин, как ни в чем не бывало, продолжал читать комедию...

Потом он прочел кое-что свое, большею частью в отрывках, которые впоследствии вошли в состав замечательных его пьес.

...Между тем время шло за полночь. Нам подали закусить; на прощанье хлопнула третья пробка. Мы крепко обнялись. Ямщик уже запряг лошадей, колоколец брякал у крыльца, на часах ударило три. Мы еще чокнулись стаканами, но грустно пилось: как будто чувствовалось, что в последний раз вместе пьем и пьем на вечную разлуку! Молча я набросил на плечи шубу и убежал в сени. Пушкин еще что-то говорил мне вслед; ничего не слыша, я глядел на него: он остановился на крыльце, со свечой в руке. Кони рванули под гору. Послышалось: «Прощай, друг!» Ворота скрипнули за мною...»

Пущин уехал. Разговор с другом — честным, твердо решившим пожертвовать жизнью за свободу народную, — взволновал Пушкина. Он написал стихи «Андрей Шенье», в которых снова славил свободу. Пусть эта свобода во Франции породила кровавый террор якобинцев, — это не вина свободы.

Но ты, священная свобода,
Богиня чистая, нет, — не виновна ты,
В порывах буйной слепоты,
В презренном бешенстве народа,
Сокрылась ты от нас; целебный твой сосуд
Завешен пеленой кровавой;
Но ты придешь опять со мщением и славой —
И вновь твои враги падут.

---

[1] «Горе от ума» — комедия А. С. Грибоедова.

Глава седьмая

Восстание декабристов

Время шло.

Поднадзорная жизнь час от часу становилась несносней, а впереди — неизвестность... Ведь так и вся жизнь пройдет в глуши, в бездействии, в неволе.

Пушкин просил мать написать царю, чтоб он разрешил ее сыну, больному аневризмом, поехать полечиться в Петербург или за границу. Мать написала. Царь разрешил лечиться в Пскове, с тем чтобы псковский губернатор наблюдал за поведением и разговорами больного. Пушкин понял: ждать царской милости бесполезно и глупо. Оставалось одно: тайно бежать за границу. Он думал об этом с самого приезда в Михайловское.

Но как же выбраться из подлого отечества? Ведь за каждым его шагом двойной надзор — полицейский и церковный. Он стал придумывать план бегства — и придумал. План его знал брат Лев и сын Осиповой Алексей Вульф. План был такой.

В городе Дерпте, расположенном вблизи границы, преподавал в университете известный профессор хирургии Мойер. Надо было уговорить этого Мойера, чтобы он вызвал Пушкина в Дерпт, как интересного для науки и очень опасного больного. А там уже, когда Пушкин приедет, Вульф должен был тайно переправить его за границу.

Вульф действовал в Дерпте, а брат Лев в Петербурге. Пушкин писал брату письма, самыми мрачными красками расписывал свою застарелую болезнь. Родители испугались за сына, решили не тратить времени на хлопоты о разрешении на выезд Александра в Дерпт и написали прямо Мойеру, умоляя его приехать в Псков и сделать операцию их сыну. Упросили они и Жуковского написать Мойеру о том же. И стали уже снаряжать коляску из Петербурга в Дерпт за Мойером. Пушкин узнал об этом и ужаснулся. Он не ожидал такого оборота. Почтенный профессор протрясется в коляске в такую даль по скверным дорогам, приедет и увидит совершенно здорового человека! Дурная шутка!

Он тотчас же написал Мойеру:

«Благодеяние ваше было бы мучительно для моей совести. Я не должен и не могу согласиться принять его; смело ссылаюсь на собственный ваш образ мыслей и на благородство вашего сердца».

Мойер понял все и не поехал.

Мечты о свободе рухнули. В утешение осталось одно — работа, поэзия. Пушкин с головой ушел в работу. Он писал «Онегина», читал Шекспира, восхищался его великолепными трагедиями, его знанием человеческого сердца и так проникся духом Шекспира, что и сам принялся за трагедию в стихах «Борис Годунов». Работа так увлекла его, что он забыл все свои горести.

Чтоб написать такую трагедию, какую он задумал, ему надо было досконально изучить время Бориса Годунова, продумать, что за люди тогда были, какие страсти волновали их, каким языком они говорили.

И он прочитал множество исторических книг и древних летописей. В древних записях он нашел имя своего предка Гаврилы Пушкина, примкнувшего к самозванцу против царя Бориса.

Переодевшись крестьянином, в соломенной шляпе, в рубахе с шелковой опояской, Пушкин бродил по ярмаркам, прислушиваясь к народному говору, к песням юродивых, слепцов у монастыря, хватал на лету живую народную речь, живой дух народа. Ведь главным героем трагедии он хотел сделать не только царя Бориса и самозванца, а вот этот простой народ, изведавший под властью царя

Опалу, казнь, бесчестие, налоги,
И труд, и глад...

Уже в октябре 1825 года Пушкин писал Вяземскому:

«Трагедия моя кончена. Я перечел ее вслух один и бил в ладоши и кричал: — ай да Пушкин, ай да сукин сын!.. Жуковский говорит, что царь простит за трагедию — навряд, мой милый. Хоть она и в хорошем духе писана, да никак не мог упрятать всех моих ушей под колпак юродивого. Торчат!»

В трагедию Пушкин, в самом деле, упрятал многое. В нее он упрятал главную мысль: цари вовсе не избранники народа, между царями и народом нет и тени той крепкой связи, какую расписывали царские историки: царь — это отец, а народ — его дети. Нет, власть царей ненавистна народу.

Всегда народ к смятенью тайно склонен:
Так борзый конь грызет свои бразды;
На власть отца так отрок негодует;
Но что ж? конем спокойно всадник правит,
А отроком отец повелевает, —

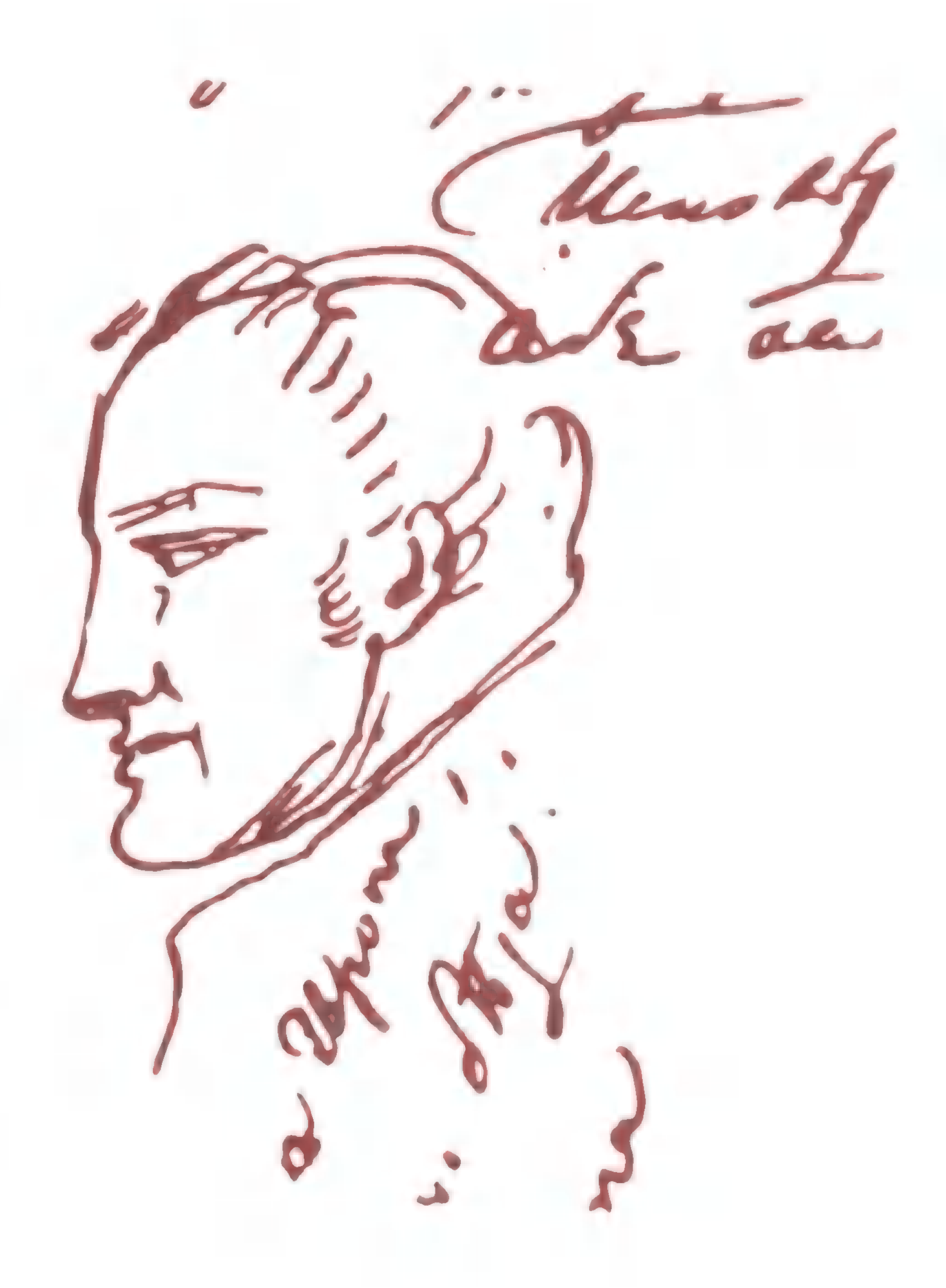
говорит в трагедии Басманов, и царь Борис с грустью отвечает:

Конь иногда сбивает седока,
Сын у отца не вечно в полной воле.
Лишь строгостью мы можем неусыпной
Сдержать народ.

Если народ надо сдерживать «строгостью неусыпной», чтобы он не сбросил с престола царя, то разговоры о том, что царь избранник и любимец народа, — пустая болтовня, ложь, выдумка придворных историков.

В трагедии весть о новом царе — Дмитрии Самозванце — не радует народ. Новый царь — новое бедствие. Это вскоре оправдалось и на самом Пушкине. В Михайловское, в деревенскую глушь, в конце ноября 1825 года стали доходить темные и сбивчивые слухи, будто бы царь Александр I внезапно умер в Таганроге по дороге из Крыма. Потом — будто бы брат царя, наследник Константин Павлович, отрекся от престола, а царем будет его младший брат, Николай.

А через некоторое время до Пушкина дошли слухи, что в Петербурге бунт. Эти слухи были правдой. Члены тайного общества давно готовились к свержению деспотизма. Они выработали конституцию и твердо решили убить царя Александра летом 1826 года во время маневров. И вот он вдруг сам умер и спутал все планы заговорщиков. Народ и войска привели к присяге Константину, а Константин отказался от престола. Народ и войска должны были снова присягать царю Николаю. «Переприсяга» была назначена на 14 декабря 1825 года. Войска были недовольны этим и глухо волновались.



Декабрист П. И. Пестель.

Члены тайного общества решили в день 14 декабря вывести недовольные войска на Сенатскую площадь и заставить царя принять конституцию. Но они сами сознавали, что не подготовлены к этому дерзкому делу, и почти не надеялись на успех. Накануне восстания Рылеев говорил: «Предвижу, что не будет успеха, но потрясение необходимо. Тактика революций заключается в одном слове: дерзай! И ежели это будет несчастливо, мы своей неудачей научим других».

Опасения Рылеева оправдались. Восстание с самого же начала пошло вразброд. Диктатор восстания князь Трубецкой не явился на площадь, восставшие оказались без вождя. Царь Николай разогнал их с площади, потом начал хватать поодиночке и запирать в казематы Петропавловской крепости. Среди восставших были близкие друзья, товарищи и знакомые Пушкина: Пущин, Рылеев, Бестужев, Муравьев, Пестель. Кюхельбекер бежал в Варшаву, но его схватили там и привезли в Петербург в крепость.

Весть об этих событиях потрясла Пушкина. Какая судьба ожидает этих несчастных? И за себя он не был спокоен. Близость его со многими декабристами, конечно, известна правительству. Чтобы не запутать в это дело и других людей, он сжег свои записки о минувших днях, которые писал со всей откровенностью.

Время шло. Пушкина не трогали, значит, за ним не числилось ничего предосудительного. Можно попытаться выбраться из проклятой глуши.

В мае 1826 года Пушкин представил псковскому губернатору прошение на имя нового царя. Ссылаясь на свою болезнь, он снова просил позволения ехать для лечения в чужие края.

Отослал прошение, и оно кануло в неизвестность. Друзья не шлют писем, боятся царских шпионов, все притихли, ждут: что-то будет с несчастными мятежниками?

Царь Николай приказал пятерых, самых главных — Рылеева, Пестеля, Бестужева, Муравьева и Каховского, — повесить, остальных сослать в Сибирь, в рудники на каторгу.

Приговор ошеломил Пушкина. Чего же теперь ждать? Утешаться работой? Но рифмы не шли в голову, и он машинально рисовал пером виселицы с пятью повешенными. Вот она, судьба лучших людей в подлой России! И как горько было ему, когда он увидел, что другие люди, которых он тоже считал лучшими, стали поворачиваться спиной к опальным декабристам!

Даже Вяземский, член вольнодумного общества «Арзамас», друг многих декабристов, теперь называет их в письме к Пушкину «сорванцами и подлецами». «Кого ты называешь сорванцами и подлецами? — ответил ему Пушкин. — Если уж Вяземский... так что же прочие? Грустно, брат, так грустно, что хоть сейчас в петлю».

Нет, опальный Пушкин не отворачивался от опальных друзей и по-прежнему в письмах своих называл декабристов друзьями, братьями, товарищами.

Неизвестность бесила Пушкина. Забыли о нем, что ли? Нет, царь Николай ни на минуту не забывал о Пушкине. О нем напоминали ему декабристы, которых царь сам допрашивал. Они все говорили, что знают и любят Пушкина, любят его стихи, в которых он славил свободу. В их бумагах нашлись списки этих стихов. Все они показывали, что Пушкин ни в тайном обществе, ни в заговоре не участвовал. Но царь, напуганный восстанием, не доверял ни им, ни Пушкину.

Для расследования царь отправил в Псковскую губернию чиновника Бошняка.

Бошняк под видом ученого ботаника побывал в городах и селах, расспрашивал про Пушкина у помещиков, у крестьян и донес в Петербург, что Пушкин появлялся на ярмарках в мужицкой одежде, со знакомыми мужиками здоровался за руку; крестьяне говорят, что он отменно добрый барин, никого не обижает. А игумен Святогорского монастыря сказал: «Он ни во что не мешается и живет, как красная девка».

Пушкин был чист от подозрений царя и охранки.

Тут случилось еще нечто, что повлияло на судьбу Пушкина. После восстания декабристов у царской охранки нашлось много добровольных агентов. Все искали покровительства нового царя и шефа жандармов Бенкендорфа. Не бездействовала и охранка и вербовала в свои ряды генералов, чиновников, светских дам, журналистов, лакеев, дворников. В Петербурге был известный журналист Фаддей Булгарин — умный и подлый делец.

После 14 декабря Булгарин заметил, что писатели упали в глазах правительства и теперь ему гораздо выгоднее дружить с царской охранкой. Он составил две записки, два хитроумно написанных доноса. В записках он вскрывал вольнолюбивый, дерзкий дух писателей,

бывших воспитанников Лицея и членов общества «Арзамас». Лицейский дух — дух, опасный для правительства, — пошел от Французской революции. Но как же бороться с этим духом? Он рекомендует правительству не силу, а хитрость. Нужно пустить в ход пропаганду, а для этого использовать благонамеренных писателей вроде Булгарина, потом надо взять на учет всех людей с «лицейским духом», наблюдать за ними и тех, кого еще можно исправить, лаской привязывать к царю и правительству. Вот в «Арзамасе» был Жуковский, и мало ли их было, а обласкало их правительство, и они стали усердными чиновниками и верноподданными. Жуковский воспитывал наследника царского.

Обе записки Булгарин представил в Третье отделение (охранка) Бенкендорфу. Он знал, что через Бенкендорфа они станут известны царю.

Советы Булгарина не пропали даром.

И в августе после коронации царь Николай приказал: доставить к нему сочинителя Пушкина.

Глава восьмая

Новый царь — новое бедствие

Царь Николай требовал неукоснительного и мгновенного исполнения своих приказаний. Когда приказ передавался вдаль, царский приказ вез фельдъегерь. Тройка коней, бричка. Стоя в бричке, царский курьер — фельдъегерь — орал и бил ямщика в шею. Фельдъегерь знал, что с него шкуру спустят за опоздание. Так пусть же шея вспухнет у ямщика, пусть насмерть загонит всю тройку, но ни секунды проволочки. На станциях на почтовом тракте всегда наготове стояла тройка коней — фельдъегерская тройка, — ее никому не давали. Пусть хоть генерал проезжает, фельдъегерскую тройку ему не дадут.

Возницы сворачивают с дороги, в страхе шарахаются кони и опрокидывают дровни, заслышав фельдъегерский колокольчик. Подъезжает фельдъегерь к станции. Смотритель издали слышит этот фельдъегерский скач. Бегом выводят конюхи «подставку» — сменных коней. Второпях пристегивают постромки, и не успел ямщик еще взяться за вожжи, «гони!» — ревет фельдъегерь и тумаком подгоняет испуганного ямщика. И летит тройка новый перегон к новой станции. Фельдъегерь везет царский приказ псковскому губернатору.

Пушкин поздно вечером, в одиннадцатом часу, вернулся из Тригорского. Не успел еще согреться, докладывают:

— От губернатора. В сенях человек ждет — военный какой-то.

Пушкина требуют к губернатору в Псков.

Чего ждать? Новой беды или милости? А курьер торопит — дело царское. Едва Пушкин успел одеться, захватить деньги, поскакали в Псков. Губернатор передал Пушкину царский приказ — вызов. С тревогой в сердце сел Пушкин в фельдъегерскую тройку, и понесся фельдъегерь в Москву без остановки.

Генерал Потапов встретил Пушкина в дежурной канцелярии;

доложил царскому дежурному генералу Дибичу. У Дибича распоряжение царя: в четыре часа пополудни доставить Пушкина к нему во дворец.

Пушкин прямо с дороги, как был, явился к царю.

Царь был один в своем кабинете. Говорить хотел с глазу на глаз. Царь спросил про декабристов, спросил в упор:

— Где бы ты был четырнадцатого декабря, если бы был в Петербурге?

— В рядах мятежников, государь, — ответил Пушкин.

Пушкин говорил смело и держался свободно. Если бы какой-нибудь придворный видел, как он стоит у камина и греет озябшие ноги, наверное, сказал бы, что сочинитель Пушкин «забывается».

Царь увидел, что Пушкина не запугаешь. Его надо обласкать, приблизить к себе, авось и утихнет.

Николай сказал, что ссылку Пушкина он отменяет, пусть пишет, что хочет, пусть в цензуру не носит.

— Я сам буду твоим цензором, — сказал Николай.

Это значило: «Пиши и все показывай мне». Это было неожиданно и тревожно для Пушкина. Он и рад был, что вырвался из глуши, что снова может быть в кругу образованных людей, и в то же время чувствовал, что свобода эта будет похожа на почетный плен.

Пушкин поселился у друга своего, Соболевского. Через неделю вся Москва уже знала, что сосланный Пушкин возвращен царем из деревни и живет в Москве. Все, кто ценил образованность и литературу, наперебой старались попасть на квартиру к Соболевскому. Многие приходили просто поглядеть — какой он, Пушкин. Когда Пушкин вместе с Баратынским бывали в театре, все шепотом передавали друг другу:

— Вот этот, что блондин и повыше, — поэт Баратынский, а тот, другой, кучерявый, — сам Пушкин.

Из ряда в ряд летели слова: «Пушкин, Пушкин! Смотрите, Пушкин!» Здесь, в театральном зале, Пушкин ясно услышал шепот славы. Он, может быть, забыл на это время, что за всеми его движениями следил через своих шпионов царский жандарм Бенкендорф.

И в Москве, и в Петербурге друзья Пушкина затевали новые литературные журналы. Его друг, поэт Дельвиг, писал из Питера: «Обними Баратынского и Вяземского. Подумайте, братцы, о моих «Цветах».

«Цветы» — это журнал «Северные цветы», который издавал Дельвиг. Он хотел, чтобы Пушкин взялся вместе с ним собирать все лучшее, что написано русскими писателями.

«...Позволение издавать журнал получено. Первый номер непременно должно осветить Вами: пришлите что-нибудь поскорее на такой случай», — писал издатель «Московского вестника» Погодин.

Новый погодинский журнал больше всех привлекал Пушкина. Новый журнал можно начать по-новому: с друзьями, лучшими поэтами,

можно устроить новый боевой литературный фронт. Пушкин поскакал в Михайловское, где остались его рукописи; ему казалось, что началась наконец новая, настоящая жизнь.

А тут письмо от Бенкендорфа, второе письмо; на первое Пушкин не ответил.

«Милостивый государь Александр Сергеевич! При отъезде моем из Москвы, не имея времени лично с Вами переговорить, обратился я к вам письменно с объявлением Высочайшего соизволения, дабы Вы в случае каких-либо новых литературных произведений Ваших, до напечатания или распространения оных в рукописях, представляли бы предварительно о рассмотрении оных или через посредство мое, или даже и прямо его Императорскому Величеству.

...Ныне доходят до меня сведения, что Вы изволили читать в некоторых обществах сочиненную Вами вновь трагедию. Сие меня побуждает Вас покорнейше просить об уведомлении меня, справедливо ли таковое известие или нет.

С совершенным почтением имею честь быть Ваш покорный слуга А. Бенкендорф».

Этого без ответа нельзя было оставить. И Пушкин написал Бенкендорфу:

«Милостивый государь Александр Христофорович!

Будучи совершенно чужд ходу деловых бумаг, я не знал, должно ли мне было отвечать на письмо, которое удостоился получить от Вашего Превосходительства, и которым был я тронут до глубины сердца.

...Так как я действительно в Москве читал свою трагедию некоторым особам конечно не из ослушания, но только потому, что худо понял Высочайшую Волю Государя, то поставляю за долг препроводить ее Вашему Превосходительству в том самом виде, как она была мною читана, дабы Вы сами изволили видеть дух, в котором она сочинена; я не осмелился прежде сего представить ее глазам Императора, намереваясь сперва выбросить некоторые непристойные выражения. Так как другого списка у меня не находится, то приемлю смелость просить Ваше Превосходительство оный мне возвратить...

С глубочайшим чувством уважения, благодарности и преданности всепокорнейший слуга Александр Пушкин».

То, что Пушкин подписывался «всепокорнейшим слугой» и уверял в глубочайшем чувстве уважения и преданности, ровно ничего не значило. Так полагалось по правилам вежливости. Жандарм Бенкендорф также подписывался и с «уважением», и «покорнейшим слугою». Бывало, что писали самые оскорбительные, ругательные письма, а подписывались еще кудреватей — «всенижайшим и всепокорнейшим слугою честь имею пребывать».

Царь прочитал «Бориса Годунова» и захотел показать свой ум и вкус. Он думал: если он царь, то он судья всему — и наукам и искусствам. Вот трагедия — в этом он тоже безгрешный

судья и ценитель. И оценил. Бенкендорф сейчас же эту царскую оценку отослал Пушкину:

«Я имел счастие представить Государю Императору комедию Вашу о Царе Борисе и о Гришке Отрепьеве. Его Величество изволил прочесть оную с большим удовольствием и на поднесенной мною по сему предмету записке собственноручно написал следующее: «Я считаю, что цель г. Пушкина была бы выполнена, если б с нужным очищением переделал комедию свою в историческую повесть или роман, наподобие Вальтера Скотта».

Царь не хотел, чтобы трагедия была напечатана. В ней он увидел намеки на себя и на расправу с декабристами, которую все еще помнили. Чтобы не говорить этого прямо, царь посоветовал переделать трагедию в повесть в духе Вальтера Скотта.

Англичанин Вальтер Скотт — современник Пушкина — писал исторические романы, в которых восхвалял английских королей и их рыцарей. Он был тогда в большой моде. Николай хотел, чтобы и у него был свой Вальтер Скотт.

Надо было дать ответ царю: сдаюсь, иду в льстецы и переправлю всего «Годунова» на Вальтера Скотта, или остаюсь на своем, против твоей воли, всесильный царь.

«Милостивый Государь Александр Христофорович!

С чувством глубочайшей благодарности получил я письмо Вашего Превосходительства, уведомляющее меня о Всемилостивейшем отзыве его Величества, касательно моей драматической поэмы. Согласен, что она более сбивается на исторический роман, нежели на трагедию, как Государь Император изволил заметить. Жалею, что я не в силах уже переделать мною однажды написанное».

Пушкин объявил войну царю и всем тем, кто всякий царский кивок принимал как приказ, всей той светской черни, которая роем жужжала около царского престола, ловила чины и милости.

Зато с какой страстью, с какой нежностью он стремился к своим друзьям, людям искренним, непродажным, правдивым, для которых свобода ума, прямота суждений, ясность души и совести были дороже царских милостей и всех благ на свете!

А много ль осталось этих друзей, людей с ясной душой и совестью?

Смешной и милый Кюхельбекер в Сибири, там же лучший друг — Пущин, Рылеев повешен, Давыдов — в ссылке, Муравьев — на каторге в рудниках, а Вяземский остепенился, отвернулся от декабристов.

Кого любить? Кому можно верить?

Около Пушкина остался, пожалуй, один Дельвиг — горячая душа, «товарищ юности живой». И Пушкин пишет стихи декабристам, посылает в далекую Сибирь.

Жена декабриста Муравьева довезла пушкинский привет до декаб-

ристов. Они узнали, что они не забыты и лучший человек России посвящает им слова своего сердца.

Во глубине сибирских руд
Храните гордое терпенье,
Не пропадет ваш скорбный труд
И дум высокое стремленье.

Несчастью верная сестра,
Надежда в мрачном подземелье
Разбудит бодрость и веселье,
Придет желанная пора:

Любовь и дружество до вас
Дойдут сквозь мрачные затворы,
Как в ваши каторжные норы
Доходит мой свободный глас.

Оковы тяжкие падут,
Темницы рухнут — и свобода
Вас примет радостно у входа,
И братья меч вам отдадут.

(Стихотворение «Послание в Сибирь»)

Глава девятая

Бегство на Кавказ

Петербург в то время был столицей, центром ученой и литературной жизни; Москва, вторая столица, все-таки была провинцией. К Москве Пушкин не привык, хоть и родился в ней, и все же дома чувствовал себя только в Петербурге. Друзья уже писали ему, что он засиделся в Москве и как бы московские литераторы не перетянули его к себе. Пушкин решил ехать.

Надо было уведомить Бенкендорфа, испросить высочайшего соизволения. Бенкендорф прислал разрешение.

«Его Величество, соизволяя на прибытие Ваше в С.-Петербург, Высочайше отозваться изволил, что не сомневается в том, что данное русским дворянином Государю своему честное слово: вести себя благородно и пристойно, будет в полном смысле сдержано».

Весной 1827 года в день отъезда друзья собирались на прощальный ужин к Соболевскому на дачу. Было уже поздно. Друзья ждали, а Пушкина все нет. Наконец он приехал. Мрачный, не сказал ни слова, побыл немного, вскочил в коляску и ускакал в темную ночь.

Он ехал в Петербург и опять не знал, что решил царь.

Пушкин чувствовал беспокойную тяжесть. В Петербург он приехал в первый раз после царской расправы с декабристами. Где же те люди? Где же те буйные речи, когда за столом хмелели не от вина, а от светлых надежд, когда вслух читали такие стихи, какие сейчас никто не решался держать за подкладкой! Не стало людей, развеяло вольный дух, все боятся друг друга. Жандармы сами это заметили. Устроен

был вечер, был ужин, вино, сидели писатели; шпионы втайне надеялись, что разгорячатся головы, развяжутся языки. И что же? Пушкин не узнавал речей своих старых товарищей. Все говорили с оглядкой. А временами Пушкину казалось, что и жить-то незачем.

Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана?
Иль зачем судьбою тайной
Ты на казнь осуждена?

Кто меня враждебной властью
Из ничтожества воззвал,
Душу мне наполнил страстью,
Ум сомненьем взволновал?..

Цели нет передо мною:
Сердце пусто, празден ум,
И томит меня тоскою
Однозвучный жизни шум.

(Стихотворение «Дар напрасный»)

Наконец Пушкин не выдержал и решил бежать из Петербурга. Была война с турками. Попроситься на войну! А ведь каждый шаг через Бенкендорфа. И Пушкин просил Бенкендорфа передать царю о своем желании вступить добровольцем в армию. Ему ответили, что мест в армии нет.

На другой же день Пушкин подал прошение Бенкендорфу — не пустят ли его выехать из России в Париж, хоть на полгода: «Если Ваше Превосходительство соизволите мне испросить у Государя сие драгоценное дозволение, то вы мне сделаете новое истинное благодеяние».

Хотелось убежать куда-нибудь — на войну, за границу — все равно!

В эти времена на Пушкина находила такая тоска, что вся жизнь казалась ему сплошной ошибкой.

Когда для смертного умолкнет шумный день,
И на немые стогмы града
Полупрозрачная наляжет ночи тень
И сон, дневных трудов награда,
В то время для меня влачатся в тишине
Часы томительного бденья:
В бездействии ночном живей горят во мне
Змеи сердечной угрызенья;
Мечты кипят; в уме, подавленном тоской,
Теснится тяжких дум избыток;
Воспоминание безмолвно предо мной
Свой длинный развивает свиток:
И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклинаю,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю.

(Стихотворение «Воспоминание»)

Пушкин лежал больной у себя в номере и не велел никого принимать. Но принять пришлось: пришел от Бенкендорфа чиновник.

— А знаете, можно попасть на войну. Генерал Бенкендорф едет со своей походной канцелярией. Так вот можно поступить туда служить.

Выходило: Пушкину предлагали поступить на службу к жандармам!

— Впрочем, — говорил чиновник, — можете попроситься в армию графа Паскевича на Кавказ.

Чиновник ушел. Пушкин встрепенулся. Верно! На Кавказ, в армию Паскевича!

На Кавказе в этой армии служил и брат Пушкина — Лев.

В начале марта 1829 года Пушкин выехал из Петербурга и через Москву поехал на Кавказ. Он не спрашивал разрешения у царя и ничего не сказал Бенкендорфу.

Пушкин задержался в Москве. Здесь он встретил свою будущую жену, красавицу Наталью Николаевну Гончарову.

«Я полюбил ее. Голова у меня закружилась, я просил руки ее. Ответ едва не свел меня с ума. В ту же ночь я уехал в армию. Спросите зачем? — Клянусь, сам не умею сказать: но тоска непроизвольная гнала меня из Москвы».

«...Мне предстоял путь через Курск и Харьков, но я своротил на прямую тифлисскую дорогу... Наконец увидел я воронежские степи и свободно покатился по зеленой равнине и благополучно прибыл в Новочеркасск, где нашел графа Вл. Пушкина, ехавшего также в Тифлис; и мы согласились путешествовать вместе. Он едет в огромной бричке. Это род укрепленного местечка; мы ее прозвали Отрадною. В северной ее части хранятся вина и съестные припасы; в южной — книги, мундиры, шляпы...

С западной и восточной стороны она защищена ружьями, пистолетами, мушкетонами, саблями и пр. На каждой станции выгружается часть съестных запасов, и, таким образом, мы проводим время как нельзя лучше.

Переход от Европы к Азии делается час от часу удивительнее: леса исчезают, холмы сглаживаются, трава густеет... Калмыки располагаются около станционных хат. У кибиток их пасутся уродливые, косматые кони... На днях посетил я калмыцкую кибитку (клетчатый плетень, обтянутый белым войлоком). Все семейство собиралось завтракать: котел варился посредине, и дым выходил в отверстие, сделанное вверху кибитки. Молодая калмычка, собою очень недурная, шила, куря табак. Я сел подле нее. — Как тебя зовут? Сколько тебе лет? — Десять и восемь. — Что ты шьешь? — Портка. — Кому? — Себя.

Она подала мне свою трубку и стала завтракать. В котле варился чай с бараньим жиром и солью. Она предложила мне свой ковшик. Я не хотел отказаться и хлебнул, стараясь не перевести духа. Не думаю, чтобы другая народная кухня могла произвести что-нибудь гаже.

Я попросил чем-нибудь это заесть. Мне дали кусочек сушеной кобылятины; я был и тому рад.

...С Екатеринограда начинается военная Грузинская дорога, почтовый тракт прекращается. Нанимают лошадей до Владикавказа. Дается конвой казачий и пехотный и одна пушка. Почта отправляется

два раза в неделю, и проезжие к ней присоединяются: это называется оказией».

Пушкин приехал в Тифлис. Ему хотелось скорей в действующую армию. Здесь, в войсках, Пушкин встретил своих товарищей и друзей. Здесь было несколько декабристов, разжалованных в солдаты; среди них Михаил Пущин, брат декабриста Ивана Пущина.



Пушкин на лошади в бурке и с пикой.

Пушкину очень хотелось увидеть бой.

«...Пришли сказать, что неприятель показался у аванпостов. Все мы бросились к лошадям, с утра оседланным... Не успел я выехать, как уже попал в схватку казаков с наездниками турецкими, и тут же встречаю Семичева, который спрашивает меня: не видал ли я Пушкина? Вместе с ним мы поскакали его искать и нашли его скачущего, с саблею наголо, против турок. Приближение наше, а за нами улан, скакавших нас выручать, заставило турок в этом пункте удалиться, — и Пушкину не удалось попробовать своей сабли над турецкой башкою», — писал М. Пущин.

Пушкину все хотелось знать, все видеть самому, все испытать. Он осмотрел все в Эрзеруме [1], побывал и в мечети, и на кладбище, и во дворце.

Пушкин с наслаждением разглядывал завоеванную заграницу. Но и его разглядывали все те же сыскные очи. Графу Паскевичу донесли, что Пушкин встречается и говорит с разжалованными в солдаты декабристами. Паскевич вызвал Пушкина и сказал:

— Господин Пушкин, мне вас жаль, жизнь ваша дорога для России, вам здесь делать нечего, а потому я советую немедленно уехать из армии обратно, и я уже велел приготовить для вас благонадежный конвой.

И в тот же день Пушкин уехал. В Москве он сейчас же явился к Гончаровой. Он пришел утром. Девицы Гончаровы пили чай. Сама мамаша была еще в постели. Доложили, что пришел Пушкин.

«Поднадзорный, за которым следит полиция, — нет, такого жениха лучше не надо», — решила мамаша и приказала дочке похолоднее и посуше обойтись с Пушкиным.

Даже тут жандармская рука заградила ему дорогу, и озлобленный Пушкин с проклятиями покинул Москву.

В Петербурге Бенкендорф немедленно потребовал его к ответу:

— Кто вам разрешил, милостивый государь Александр Сергеевич, ездить на Кавказ? Вы спросились?

И Пушкину опять стало несносно в России. Пушкин написал Бен-

---

[1] Эрзерум — турецкий город.

кендорфу: «Так как я еще не женат и не связан службой, я желал бы сделать путешествие во Францию либо в Италию. Если мне это не будет дозволено, я просил бы разрешения посетить Китай с миссией, которая туда направляется».

Заодно Пушкин еще раз испрашивал разрешения напечатать «Бориса Годунова».

Бенкендорф ответил: «Его Величество Государь Император не удостоил снизойти на Вашу просьбу посетить заграничные страны, полагая, что это слишком расстроит Ваши денежные дела и в то же время отвлечет Вас от Ваших занятий».

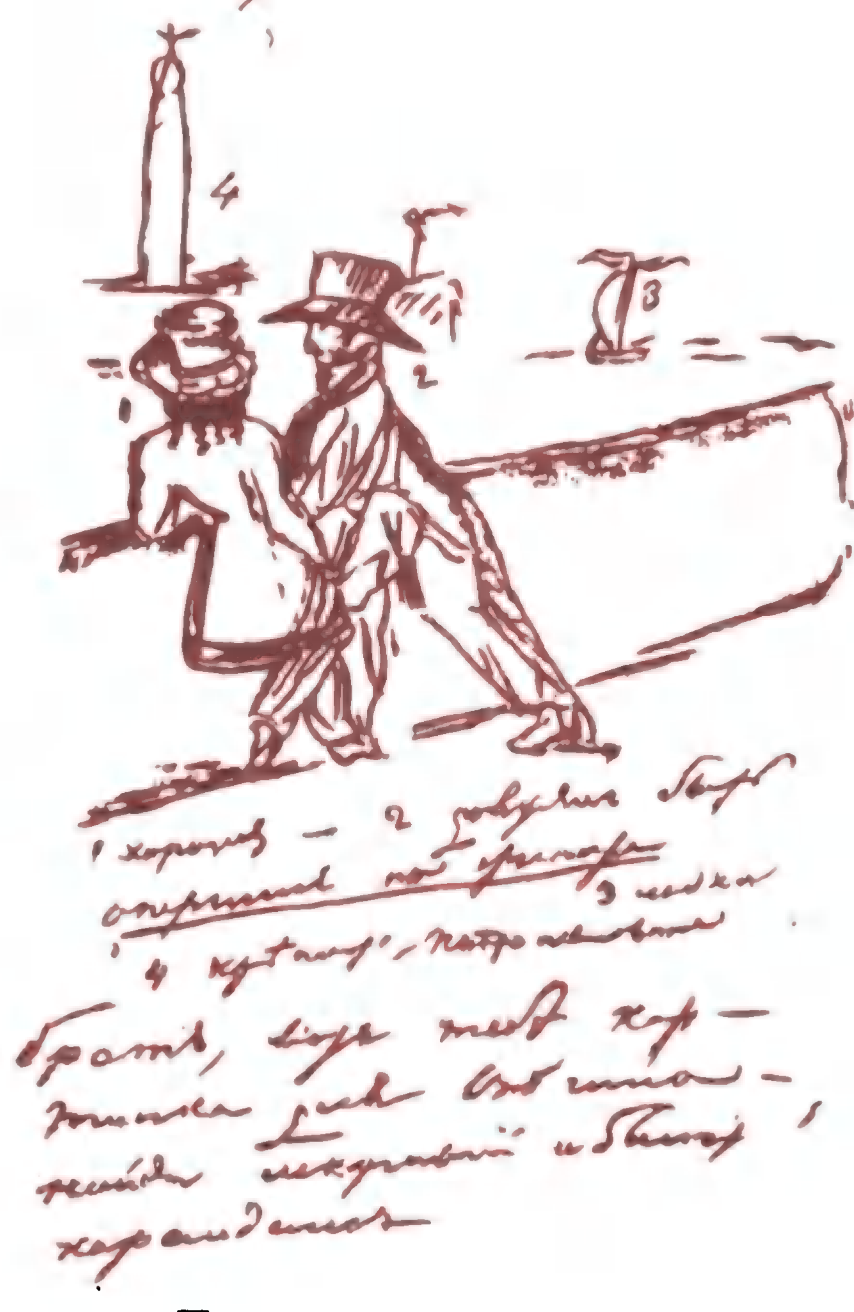
Весной 1830 года Пушкин снова сделал предложение Гончаровой. Предложение на этот раз было принято.

Пушкин написал Бенкендорфу, что намерен жениться, но мать невесты боится, потому что он поднадзорный.

Бенкендорф прислал письмо, в котором писал, что за Пушкиным никогда полицейского надзора не было, а если что и советовал Бенкендорф, то как друг, а сам государь к Пушкину относится с отеческим попечением.

Пошли разговоры о свадьбе. Теща жаловалась, что за дочерью нет приданого.

Свадьбу назначили через несколько месяцев. За это время Пушкину нужно было устроить свои денежные дела. Он получил от Бенкендорфа разрешение печатать «Бориса Годунова». Но этого было мало. Отец выделил ему имение — Болдино. Пушкин решил заложить имение и в конце лета уехал туда. В это время началась холера, и Пушкину три месяца пришлось просидеть в Болдине. Деревенская тишина, осень — любимая пора Пушкина... И вот за три месяца своего одиночества он написал две последние главы «Евгения Онегина», «Домик в Коломне», «Моцарт и Сальери», «Каменный гость», «Скупой рыцарь», «Пир во время чумы» и десятка три маленьких стихотворений; кроме того, прозой написал пять повестей: «Метель», «Станционный смотритель», «Гробовщик», «Выстрел» и «Барышня-крестьянка».



Пушкин и Онегин.
Иллюстрация к роману в стихах «Евгений Онегин».

В феврале 1831 года сыграли свадьбу. Пушкин с женой уехал в Царское Село.

«Теперь, кажется, все уладил, — писал он приятелю в Москву, — и



Рисунок к «Сказке о Золотом петушке».

стану жить потихоньку без тещи, без экипажа. Следственно, без больших расходов и без сплетен. Мы здесь живем тихо и весело, будто в глуши деревенской, насилу до нас и вести доходят».

Но все это было недолго. В июле Николай со своим двором переехал в Царское Село.

Царское Село закипело, превратилось в столицу. В парке Пушкин как-то встретил Николая. Царь спросил, почему он не служит. Пушкин сказал, что, кроме литературной, никакой другой работы не знает. Тогда Николай сказал: пусть напишет историю Петра I — вот его будет служба. Вход в архивы, где хранятся бумаги, оставшиеся с прошлых времен, царь Пушкину разрешает и назначает ему жалованье.

Нужно было написать историю царского прадеда, и, конечно, не так, как Пушкину хочется, а чтобы пришлось по нраву царю. Попросту, надо сделаться придворным историком, таким же услужливым царедворцем, каким уже давно стал Жуковский, каким был Карамзин, написавший «Историю государства Российского».

Бывая в архивах, роясь в бумагах о Петре, Пушкин нашел документы о восстании Пугачева.

Он сразу понял, что пугачевское восстание — не мелкий случайный бунт, а большое народное движение против помещичьей власти.

Пушкин решил написать историю этого движения. Как же попросить разрешение у царя писать историю народного восстания? Пушкин сказал, что хочет писать историю полководца графа Суворова. Так как Суворов ходил против Пугачева, то, значит, Пушкину нужны все бумаги, касающиеся пугачевского восстания, а потом нужно съездить и на места событий: на Урал, в Оренбург, в башкирские степи. Пушкин получил разрешение и выехал. Он обходил места, где были сражения, записывал песни, сложенные про Пугачева, расспрашивал стариков, которые помнили, как проходил «Пугач».



Рисунок к «Сказке о попе и работнике его Балде».

В ноябре Пушкин уже собрал все, что нужно было, и вернулся в Болдино. Опять осень и деревня,

и Пушкин пишет жене: «Я уж чувствую, что тут на меня находит, и я в коляске сочиняю. Что же будет в постели?»

Пушкин любил сочинять утром в постели.

Он писал жене из Болдина: «Просыпаюсь в 7 часов, пью кофей и лежу до 3 часов. Недавно расписался и уже написал пропасть. В 3 часа сажусь верхом, в 5 в ванну, и потом обедаю картофелем да грешневой кашей. До 9-ти часов читаю. Вот тебе мой день, и все на одно лицо».

В Болдине Пушкин за эту осень действительно написал «пропасть». Он закончил «Историю Пугачева», написал повесть «Капитанская дочка» и поэму «Медный всадник».

В «Медном всаднике» Пушкин достиг полной простоты слова.

Итак, домой пришед, Евгений
Стряхнул шинель, разделся, лег.
Но долго он заснуть не мог
В волненье разных размышлений.
О чем же думал он? О том,
Что был он беден, что трудом
Он должен был себе доставить
И независимость и честь;
Что мог бы бог ему прибавить
Ума и денег. Что ведь есть
Такие праздные счастливцы,
Ума недальнего, ленивцы,
Которым жизнь куда легка!
Что служит он всего два года;
Он также думал, что погода
Не унималась; что река
Все прибывала...

Читаешь, и кажется, что сейчас стихи перейдут в простой прозаический рассказ. И вдруг начинается беспокойная, взволнованная речь, как будто встрепенулись все слова и побежали стремительно, неудержимо, как то наводнение, про которое Пушкин и говорит:

Редеет мгла ненастной ночи,
И бледный день уж настает...
Ужасный день!
Нева всю ночь
Рвалася к морю против бури,
Не одолев их буйной дури...
И спорить стало ей невмочь...
Поутру над ее брегами
Теснился кучами народ,
Любуясь брызгами, горами
И пеной разъяренных вод.
Но силой ветров от залива
Перегражденная Нева
Обратно шла, гневна, бурлива,
И затопляла острова.
Погода пуще свирепела,
Нева вздувалась и ревела,
Котлом клокоча и клубясь,
И вдруг, как зверь остервенясь,
На город кинулась. Пред нею
Все побежало. Все вокруг
Вдруг опустело...

Знаменитый французский писатель Проспер Мериме восхищался пушкинскими стихами. Он говорил: «У него из самой обычной прозы неожиданно расцветает поэзия».

Но никакая поэзия, никакие ее чудеса не могли пробрать «всеевропейского жандарма» — Николая I. На все он смотрел оком полицейского. И когда Пушкин отправил ему на просмотр «Медного всадника», Николай прочел и не велел печатать.

В «Медном всаднике» неуважительно сказано про царскую особу. Правда, неуважительные слова говорит человек, сошедший с ума.

Добро, строитель чудотворный!
Ужо тебе!..

И еще при этом грозит кулаком царскому памятнику. Царь потребовал, чтоб все это было исправлено. Пушкин не исправил, а царь не разрешил печатать. Поэма вышла лишь после смерти Пушкина, в полном собрании сочинений. Жуковский внес все поправки, какие требовал царь. И только через много лет, когда уже не стало на свете Николая I, поэму выпустили так, как написал ее Пушкин.

Глава десятая

Дуэль и смерть

Все красивое в государстве создано для его удовольствия и блеска — так считал Николай I. Пушкина Наталья — первая красавица в Петербурге, и она должна бывать в царском дворце, на балах и приемах. Царю сказали, что Пушкину не нравится это, он не хочет, чтобы его жена ездила туда, где он сам не бывает. И царь пожаловал Пушкина званием камер-юнкера, которое обязывало Пушкина бывать при дворе. Звание маленькое, какое обычно давали двадцатилетним юнцам.

Пушкин узнал о своем камер-юнкерстве на балу у графа Орлова. Это взбесило его до такой степени, что друзья должны были отвести его в кабинет графа и там всячески успокаивать.

Потом Пушкин записал в свой дневник: «Третьего дня я пожалован в камер-юнкеры, что довольно неприлично моим летам. Но Двору хотелось, чтоб Наталья Николаевна танцовала в Аничкове»[1].

В это время в петербургском обществе появился молодой француз Жорж Дантес. Он бежал от французской революции 1830 года. Голландский посланник Геккерен усыновил его, и Дантес стал Жоржем Геккереном.

Старик Геккерен представил приемного сына императрице. Молодой француз сумел ей понравиться. Вскоре Жоржа Дантеса произвели в офицеры кавалергардского полка, над которым шефствовала императрица.

Дантес встречался с Натальей Николаевной на придворных балах.

---

[1] Царский дворец.

Старик Геккерен знал, что жена Пушкина нравится царю и царь не хотел, чтоб об этом говорили в обществе. И Геккерен стал толкать Дантеса на то, чтоб он открыто ухаживал за Пушкиной и тем самым прикрыл ухаживания царя. Дантес ухаживал за красавицей. Царь дал Дантесу следующий чин: из корнета он стал поручиком.

В свете пошли сплетни, над Пушкиным смеялись. Пушкин злился: надевать этот дурацкий камер-юнкерский мундир и возить свою жену во дворец на показ и забаву, а теперь уж выходит, что и на позор! Пушкин хотел уехать в деревню, зажить спокойно. Он подал в отставку, отказывался и от мундира и от чина, которым его пожаловал царь. Но поэт Жуковский уговорил Пушкина взять назад свое заявление: это дерзость, и царь этого так не оставит. Пушкин взял заявление назад. Пушкин чувствовал, что он зажат как в тисках. Он снова был окружен той великосветской чернью, с которой уже воевал когда-то в Одессе. Но царь — это не Воронцов, воевать было гораздо труднее. Все общество было на стороне царя, а Пушкин — снова один.

Утром 4 ноября 1836 года он получает издевательское письмо о том, что ему изменяет жена. Письмо без подписи. Приходит приятель и говорит, что получил письмо, распечатал, а в нем другой конверт с надписью: «Александру Сергеевичу Пушкину». Пушкин вскрыл конверт. Там было точно такое же письмо про его жену, какое получил он утром. Пушкин был взбешен. Это значит, кто-то посылал эти письма всем его знакомым, чтобы ославить его на весь Петербург. Кто? Пушкин догадался: старик Геккерен, голландский посланник.

Вечером Пушкин был в гостях, рядом с ним сидел его приятель граф Соллогуб. Пушкин наклонился к нему и под шум общего разговора сказал на ухо, чтобы он шел и устраивал его поединок с Дантесом. Пушкин послал Дантесу вызов, и теперь надо договориться об условиях.

Поединком, или дуэлью, в то время в дворянском обществе решали «дела чести». Если, например, один оскорбит другого, назовет в обществе обидным словом или позволит себе другую какую-либо дерзкую выходку, обиженный «требовал удовлетворения» — вызывал на дуэль. Отказаться от дуэли — значило показать себя трусом. Такому человеку вход в общество был бы закрыт, его все презирали бы.

Когда Дантес получил вызов Пушкина, он выбрал своим секундантом графа д'Аршиака, француза из посольства.

Старик Геккерен не ожидал, что дело примет такой оборот. Ему хотелось угодить русскому царю, а вышел скандал, который мог повредить ему и его приемному сыну по службе.

Он стал просить приятеля Пушкина, князя Вяземского, чтобы он уговорил Пушкина отложить дуэль. Вяземский отказался. Тогда старик бросился к Жуковскому и разжалобил его: его приемный сын ухаживает вовсе не за Пушкиной, а за ее сестрой Екатериной и так влюблен, что хочет жениться.

Дело уладилось. Пушкин взял вызов назад, но продолжать знакомство с Дантесом отказался наотрез.

Все в обществе знали о вызове Пушкина, о сватовстве Дантеса. Знали и о гнусных письмах без подписи, что получал Пушкин.

Знал об этом и царь. Почему же царь не прекратил травлю?

Да потому, что Пушкин был большой силой, а царь, напуганный

декабристами, опасался и не доверял ему. Царю была выгодна ссора Пушкина с Дантесом. Пусть эта ссора дойдет до дуэли, пусть Пушкин будет убит.

Дантес женился на сестре Натальи Николаевны Пушкиной — Екатерине. Устроили свадебный обед у графа Строганова. На этот обед пригласил Строганов и Пушкина, но не сказал, что там будут и Геккерены. Думали устроить примирение Пушкина с Дантесом. Пушкин даже не поклонился Дантесу.

Старик Геккерен после этого еще больше озлился на Пушкина. Новая волна сплетен поднялась в обществе. На ссору Пушкина с Дантесом смотрели со злым весельем: что-то выйдет? Пушкин слышал, как за спиной у него перешептываются, подсмеиваются, передают друг другу обидные, позорящие его рассказы. Пушкин не мог сокрушить всех этих шептунов и сплетников. Он не видел, куда нанести свой удар. Друзьям Пушкина казалось, что он находится в той степени раздражения, когда человек уже ищет смерти. А тут вдруг однажды на балу старик Геккерен стал умолять жену Пушкина полюбить Дантеса, говорил это, когда она шла рядом с мужем.

На другой день Пушкин отправил старику Геккерену резкое, оскорбительное письмо. Геккерен, как посланник иностранного двора, не мог вызвать Пушкина на дуэль. За него вызвал Пушкина его приемный сын — Дантес.

На другой день Пушкин вышел из дому, взял извозчика, на мосту встретил своего лицейского товарища полковника Данзаса и окликнул:

— Данзас, я ехал к тебе. Садись со мной, поедем во французское посольство, где ты будешь свидетелем одного разговора.

Данзас, не говоря ни слова, сел с ним в сани. Дорогой Пушкин говорил о посторонних делах как ни в чем не бывало. Приехали в посольство, к д'Аршиаку. Пушкин требовал, чтоб дуэль была сегодня же.

— Если это дело не закончится сегодня, то в первый же раз, как я встречу Геккерена — отца или сына, — я им плюну в физиономию.

Пушкин ушел. Данзас, секундант Пушкина, и д'Аршиак, секундант Дантеса, остались договариваться об условиях дуэли.

А Геккерен бросился к Бенкендорфу, рассказал про дуэль. Царь велел Бенкендорфу помешать дуэли. Бенкендорф умел понимать приказы царя и послал жандармов в другую сторону. Пушкин с Данзасом в санях ехали к месту дуэли. День был ясный. Много знакомых встречалось по дороге.

На место поединка противники приехали одновременно. Данзас вышел из саней и отправился с д'Аршиаком искать удобное для поединка место. Нашли площадку. Густой кустарник прикрывал ее от глаз проезжих. Снег был по колено. Дантес и оба секунданта начали утаптывать снег.

Отмерили десять шагов. Пушкин и Дантес скинули плащи, бросили на снег. Данзас и д'Аршиак начали заряжать пистолеты. Пушкин торопил:

— Ну что ж, кончили?

Противники встали, им дали пистолеты. Данзас махнул шляпой, и они начали сходиться. Дантес потом говорил, что Пушкин с такой решительностью наступал, лицо его было так страшно, что он, Дан-

тес, не дойдя одного шага до отмеченного места, выстрелил. Пушкин упал ничком на плащ.

Секунданты бросились к нему. Дантес тоже. Но Пушкин приподнялся.

— Подождите, — сказал он, — я чувствую в себе достаточно силы, чтоб сделать свой выстрел.

Дантес вернулся на свое место, с которого стрелял. Стал боком, закрыл правой рукою грудь. Данзас подал Пушкину другой пистолет — первый он уронил, падая, в снег. Пушкин, полулежа, выстрелил. Дантес упал. Пушкин подбросил вверх пистолет, крикнул: «Браво!» — и упал без чувств.

— Убил я его? — спросил Пушкин, придя снова в себя.

— Нет, — ответил д'Аршиак, — только ранили.

— Странно, — сказал Пушкин, — я думал, что мне доставит удовольствие его убить, но я чувствую теперь, что нет... Впрочем, все равно, как только поправимся, снова начнем.

Дантесу пуля пробила мякоть правой руки и прошла бы дальше, но большая пуговица от подтяжек преградила путь.

Пушкин был ранен в правую сторону живота. Пуля, раздробив кость бедра, глубоко вошла в живот.

Пушкина усадили бережно в сани. Данзас приказал извозчику ехать шагом, сам пошел возле саней вместе с д'Аршиаком. Пушкин сказал Данзасу, что надо устроить так, чтобы не встревожить жену.

Пушкина внесли в кабинет. Жена хотела войти, но он твердым голосом крикнул: «Не входите!» Он не хотел, чтоб она видела его рану. Данзас побежал за доктором.

Приехал знаменитый в то время хирург, придворный врач Арендт. Он осмотрел рану. Пушкин просил его сказать прямо, что он думает.

— Если так, — отвечал Арендт, — то я должен вам сказать, что рана ваша очень опасна и что к выздоровлению вашему я почти не имею надежды.

Пушкин поблагодарил Арендта за то, что он сказал ему прямо, только просил не говорить жене. Пушкин взглянул на свою библиотеку, на книги, что стояли на полках, и сказал:

— Прощайте, друзья!

Это было в семь часов вечера. А в восемь доктор Арендт снова вернулся и сказал, что по обязанности своей должен обо всем доложить государю.

Весть о дуэли уже разнеслась по городу, и к Пушкину начали съезжаться друзья: Вяземский, Жуковский...

Арендт тем временем поехал во дворец. Царь был в театре. Арендт распорядился, чтоб, как только царь вернется, ему передали о случившемся. В полночь за Арендтом царь прислал фельдъегеря: царь приказывал немедленно ехать к Пушкину и дать прочесть ему записку. Записка была написана карандашом самим царем — пусть прочтет, а записку не оставлять, вернуть царю.

Ночью Арендт привез эту записку. Пушкин ее прочел и вернул. Так и неизвестно, что было в этой записке, о чем так таинственно писал Николай I Пушкину.

Домашний врач Пушкиных, Спасский, все время был при Пушкине.

Он исполнял все, что велел Арендт. Но улучшения не было. Пушкин временами жаловался на боль в животе и впадал в забытье. Спасский спросил Пушкина, не будет ли каких распоряжений.

Пушкин велел позвать Данзаса и продиктовал ему все свои долги, чтоб потом отдать. Снял с руки кольцо, просил Данзаса взять на память. Данзас сказал, что готов отомстить Дантесу.

— Нет, нет, — сказал Пушкин.

Потом он позвал жену:

— Не упрекай себя в моей смерти: это дело, которое касалось одного меня.

И отослал ее опять.

Ночью боль возросла до высшей степени. Это была настоящая пытка. Лицо Пушкина изменилось, взор его сделался дик. Лоб покрылся холодным потом, руки похолодели. Больной испытывал ужасную муку.

Пушкин приказал слуге вынуть один из ящиков в его столе и подать ему. В этом ящике были пистолеты. Данзас отнял их у Пушкина. Пушкин признался, что хотел застрелиться.

Арендт, который на своем веку видел немало смертей, стоял со слезами на глазах у постели Пушкина и говорил, что никогда не видал такого терпения.

— Долго ли мне так мучиться? Пожалуйста, поскорее, — говорил больной. — Ах, какая тоска! Сердце изнывает!

Наконец стало невмочь. Пушкин почти упал на пол в судорогах. Он кричал ужасно. Это продолжалось минут десять. Крик разбудил жену. Ей сказали, что это на улице.

Теперь, в наше время, когда врачи рассмотрели ход болезни Пушкина, они удивляются: как Арендт, опытный хирург, который излечивал более тяжелые болезни, не спас Пушкина?!

Страшно подумать, что и это сделано по царской воле.

Жене не хотелось верить, что Пушкин умрет, она все повторяла: «Я чувствую, я чувствую, что он не умрет».

Пушкин призвал жену, сказал, что у Арендта надежды на выздоровление нет, что рана смертельная.

— Носи по мне траур два или три года. Ступай в деревню. Постарайся, чтоб забыли про тебя. А потом выходи опять замуж, но не за пустозвона.

Это было на третьи сутки. Пушкин спросил зеркало, посмотрел на себя и махнул рукою. Он становился все слабее и слабее.

А там, на улице, народ атаковал подъезд пушкинской квартиры. Толпа так напирала, что поставили солдат-часовых. Писатели, дипломаты, студенты, служащий люд наполняли комнаты и сени, все с трепетом прислушивались, как там, в кабинете, есть ли хоть какая-нибудь надежда.

У больного пульс падал. Руки начали холодеть. Пушкин раскрыл глаза. Попросил моченой морошки.

— Позовите жену, пусть она меня покормит.

Жена стала на колени у изголовья, поднесла ему ложечку, другую. Пушкин погладил ее по голове и сказал:

— Ну, ну, ничего, снова будет все хорошо.

А она все повторяла: «Вот увидите, что он будет жив...»

Потом больной попросил повернуть его на правый бок. Данзас и Спасский легко повернули, подперли подушкой.

— Хорошо! — сказал Пушкин и прибавил: — Жизнь кончена! Теснит дыханье.

И стал тихо кончаться.

Пушкина в гробу вынесли в соседнюю комнату. В нее вела узкая дверь. Народ так валил прощаться с покойником, что пришлось разнимать стенку.

Жена лежала без памяти.

Тридцать две тысячи человек перебывало у гроба Пушкина за один день.

А газеты — как онемели. Никто не решался напечатать хоть строчку сожаления об умершем поэте. Все знали, что Бенкендорф против того, а раз Бенкендорф, — значит, и царь. Один только редактор «Литературных прибавлений» к журналу «Русский инвалид», Андрей Александрович Краевский, отважился и в черной рамке напечатал в своей газете:

«Солнце нашей поэзии закатилось! Пушкин скончался, скончался во цвете лет, в середине своего великого поприща! Более говорить о сем не имеем силы, да и не нужно, всякое русское сердце знает всю цену невозвратимой потери, и всякое русское сердце будет растерзано. Пушкин! Наш поэт! Наша радость, наша народная слава!.. Неужели в самом деле нет уже у нас Пушкина! К этой мысли нельзя привыкнуть.

29 января, 2 ч. 45 м. пополудни».

На другой же день Краевского вызвали для объяснений. Начальник Краевского, князь Дундуков, сказал:

— Я должен вам передать, что министр (Сергей Семенович Уваров) крайне, крайне недоволен вами. К чему эта публикация о Пушкине? Что это за черная рамка вокруг известия о кончине человека не чиновного, не занимавшего никакого положения на государственной службе? Ну, да это еще куда бы ни шло! Но что за выражения? «Солнце поэзии»! Помилуйте, за что такая честь? «Пушкин скончался... в середине своего великого поприща»! Какое это такое поприще? Разве Пушкин был полководец, военачальник, министр, государственный муж? Наконец, он умер без малого сорока лет. Писать стишки не значит еще, как выразился Сергей Семенович, проходить великое поприще. Министр поручил мне сделать вам, Андрей Александрович, строгое замечание...

Боялись, что похороны Пушкина обратятся в народную демонстрацию против царя и правительства. Боялись отпевать в церкви. Правительство боялось гроба Пушкина, как самого громкого обвинителя. Распорядились, чтобы вынос тела в церковь был глухой ночью, в час пополуночи. Жандармов и полиции было больше, чем провожавших. Объявили, что отпевание будет в одной церкви, а отпевали в другой. Во дворах были спрятаны войска на всякий случай — так трусили царь и Бенкендорф перед этим гробом. И все равно народ узнал, и вся площадь перед церковью была усеяна народом. Боялись, что народ

пойдет громить дом Геккерена. Гроб перенесли в подвал при церкви. Но если на отпевании произошла чуть ли не демонстрация против властей, то что же будет на похоронах, когда гроб понесут по городу? Гроб тайком, ночью, поставили в сани. Друг Пушкина, Александр Тургенев, должен был сопровождать гроб до места погребения. Для надзора посадили еще жандарма и велели везти в Михайловское и похоронить там. Везли спешно, вскачь. А царь боялся, боялся этого гроба: ведь он еще не зарыт. Царь послал курьера в Псков, к губернатору, и приказал: чтоб не было встреч, чтоб как-нибудь не собрался народ. Пушкин и мертвый был страшен царю.

Опустили Пушкина в могилу Тургенев да жандарм.

Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
К нему не зарастет народная тропа,
Вознесся выше он главою непокорной
  Александрийского столпа.

Нет, весь я не умру — душа в заветной лире
Мой прах переживет и тленья убежит —
И славен буду я, доколь в подлунном мире
  Жив будет хоть один пиит.

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,
И назовет меня всяк сущий в ней язык,
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой
  Тунгус, и друг степей калмык.

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я свободу
  И милость к падшим призывал.

Веленью божию, о муза, будь послушна,
Обиды не страшась, не требуя венца;
Хвалу и клевету приемли равнодушно,
  И не оспоривай глупца.

НА СМЕРТЬ ПОЭТА

Погиб поэт! — невольник чести —
Пал, оклеветанный молвой,
С свинцом в груди и жаждой мести,
Поникнув гордой головой!..
Не вынесла душа поэта
Позора мелочных обид,
Восстал он против мнений света
Один как прежде... и убит!
Убит!.. к чему теперь рыданья,
Пустых похвал ненужный хор,
И жалкий лепет оправданья?
Судьбы свершился приговор!
Не вы ль сперва так злобно гнали
Его свободный, смелый дар
И для потехи раздували
Чуть затаившийся пожар?
Что ж? веселитесь... — он мучений
Последних вынести не мог:
Угас, как светоч, дивный гений,
Увял торжественный венок.

Его убийца хладнокровно
Навел удар... спасенья нет:
Пустое сердце бьется ровно,
В руке не дрогнул пистолет.
И что за диво?.. издалека,
Подобный сотням беглецов,
На ловлю счастья и чинов
Заброшен к нам по воле рока;
Смеясь, он дерзко презирал
Земли чужой язык и нравы;
Не мог щадить он нашей славы;
Не мог понять в сей миг кровавый,
На что́ он руку поднимал!..

И он убит — и взят могилой,
Как тот певец, неведомый, но милый,
Добыча ревности глухой,
Воспетый им с такою чудной силой,
Сраженный, как и он, безжалостной рукой.

Зачем от мирных нег и дружбы простодушной
Вступил он в этот свет завистливый и душный
Для сердца вольного и пламенных страстей?
Зачем он руку дал клеветникам ничтожным,
Зачем поверил он словам и ласкам ложным,
Он, с юных лет постигнувший людей?..

И прежний сняв венок — они венец терновый,
Увитый лаврами, надели на него:
Но иглы тайные сурово
Язвили славное чело;
Отравлены его последние мгновенья
Коварным шепотом насмешливых невежд,
И умер он — с напрасной жаждой мщенья,
С досадой тайною обманутых надежд.
Замолкли звуки чудных песен,
Не раздаваться им опять:
Приют певца угрюм и тесен,
И на устах его печать. —

А вы, надменные потомки
Известной подлостью прославленных отцов,
Пятою рабскою поправшие обломки
Игрою счастия обиженных родов!
Вы, жадною толпой стоящие у трона,
Свободы, Гения и Славы палачи!
Таитесь вы под сению закона,
Пред вами суд и правда — все молчи!..
Но есть и божий суд, наперсники разврата!
Есть грозный суд: он ждет;
Он не доступен звону злата,
И мысли и дела он знает наперед.
Тогда напрасно вы прибегнете к злословью:
Оно вам не поможет вновь,
И вы не смоете всей вашей черной кровью
Поэта праведную кровь!

Эти стихи не были напечатаны[1], но они сейчас же разошлись в рукописях по всему Петербургу, дошли до Бенкендорфа, до царя

[1] Их напечатали только через двадцать с лишним лет, в 1858 году.

Николая. Царь возмутился. Как! Не успели похоронить одного бунтаря, как его место заступил такой же непримиримый бунтарь! Кто он?

Царю донесли: двадцатидвухлетний корнет Михаил Лермонтов. Царь приказал арестовать Лермонтова и сослать на Кавказ.

Прошло сто лет. За это время не одно поколение сменило другое; забыты многие и многое. Но не забыт Пушкин.

Если сто лет назад Пушкина читал только небольшой круг грамотных людей, если тогда его гений понимали и ценили только такие исключительные люди, как Лермонтов, Гоголь, Белинский, то сейчас Пушкина читают и ценят все народы Советского Союза. Только сейчас осуществилась мечта Пушкина:

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,
И назовет меня всяк сущий в ней язык,
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой
Тунгус, и друг степей калмык.

ПЬЕСЫ



СЕМЬ ОГНЕЙ

Пьеса для детского и клубного театра

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Молодой рабочий.
Старый рабочий.
Шпик.
Городовой.
Дама.
Генерал.
Даша.
Анна Сергеевна.
Лишин.
Надя.
Сашка.
Сережа.
Матрос.
Виктор Николаевич.
Коля.
1-й городовой.
2-й городовой.
Забулдыга.
Хохол.
Хозяин кабака.
Шестерка.
Мотя.
Грек.
Минка.
Стражник.
Штатский.
Смотритель маяка.
Жена.
Вахтенный.
Другой вахтенный.
Ротмистр.
Полковник.
Анастас.
Молодая работница.
Алексеевна.
Работница.
Квартальный.

АКТ ПЕРВЫЙ

Перед занавесом.

На занавесе пришпилено «Обязательное постановление». Справа выходят двое рабочих: Молодой и Старый.

Молодой. Да брось ты, дядя Митрий! Вы тут все как тараканы в щелки залезли, забастовали да сами себя перепугались. Гляди, у нас в Питере!

Старый. Так то в Питере!.. В Питере!.. Ты мне не рассказывай, товарищ, — в Питере. *(Останавливается.)* Бралися, говорю, похлеще вас ребята. Две недели завод стоял, а того и вышло, что последнее барахло позагоняли... Курить в тебе нема? Ну и в мене нема. Пошли, пошли — видал? *(Указывает на «Обязательное постановление».)*

Молодой. Стой! *(Читает.)* «Обязательное постановление... и всякие собрания и скопища... по первому требованию поли-

ции, в противном случае будут рассеяны силою оружия на основании...»

Слева выныривает Шпик, делает вид, что тоже читает.

Молодой. «...На основании положения об усиленной охране».

Старый *(кивает на Шпика)*. Идем! Пошли!

Шпик. Разве вам не интересно, товарищи, когда такие возмутительности! Народ ищет права, а они стрелять, без предупреждения даже, заметьте! Разве можно терпеть?

Молодой *(оглядывает Шпика)*. Ты что? Лягавый?

Старый *(оттягивает его за руку)*. Брось, не заводись, пошли.

Молодой *(вырываясь, замахивается на Шпика)*. Да я тебя, гада!

Шпик отскакивает и свистит в полицейский свисток. За занавесом свистки, топот, справа вбегает Городовой.

Городовой. Стой! Не скопляйся в кучу!

Бежит к рабочим, те убегают влево. За ними Городовой, сзади Шпик. Слева появляется Генерал под ручку с Дамой.

Дама. Вот опять повели! Всех арестовывают. Вот Колиного репетитора прямо ни за что схватили: просто стоял на углу.

Генерал *(назидательно)*. Зря, сударыня, никого не арестовывают. Скажите пожалуйста, стоял! Вот извольте, я буду стоять. *(Высвобождает руку; останавливается, разведя руки, лицом к зрителям.)* Вот стою! Никто ж меня не арестовывает.

Проходит Городовой, отдавая честь. Генерал берет Даму под руку, идут.

А если вам нравится сидеть без воды, без электричества, тогда пожжалуйста, пож-жалуйста...

Уходят вправо.

Поднимается занавес.

Сцена представляет буржуазную столовую. Двери прямо, налево. Справа окно и дверь. За столом Анна Сергеевна перетирает стаканы и чашки.

Даша *(вбегает из дверей слева)*. Барыня, воды в кранте нема! Бастует!

Анна Сергеевна. Нет! Ведь это что же. Забастовал водопровод! Ах, оставь, Даша!

Даша. Забастовал!

Анна Сергеевна. Ах, оставь, Даша! Рабочим хорошо бастовать, они и без воды могут, они пиво пьют. А нам как же? А? Даша!

Даша. Уж не знаю. Самовар-то я долила. Говорят, барыня, свету не будет.

Уходит.

Анна Сергеевна *(поворачивает выключатель)*. Не действует! Nicolas! Слышишь: не действует!

Лишин *(входит из двери)*. Да погоди ты — «не действует». Вот зато действует. Слушай. Где это? Да, вот. Да не бренчи стаканами! Слушай. *(Читает.)* «Днем, когда все пассажиры, наслаждаясь, высыпали смотреть берега, группа неизвестных в масках терроризовала бра-

унингами, ограбив артельщика Волжско-Камского банка на 50 тысяч, скрылась в шлюпке к берегу. Молодые люди заявили себя максималистами по поддержке забастовки грузчиков. Находя преступление возмутительным по дерзости, все власти и пароходы подняты на ноги». Ну, что ты скажешь?

Анна Сергеевна. Зачем же они пароходы перевернули?

Лишин. Э! Дура. Вот это я понимаю: смело и... черт возьми, есть что-то рыцарское.

Анна Сергеевна. Comment donc? *(Смотрит растерянно.)*

Лишин. Ей-богу, поневоле уважаешь! Нельзя не уважать! Что-то во всем этом есть... подвижническое. Декабристами пахнет. Колька! *(Вынимает большой карандаш и отчеркивает в газете.)* Кольке показать! Колька!

Анна Сергеевна. Да с утра нет!

Лишин. Надя! *(Хлопает рукой по газете.)* Надежда!

Анна Сергеевна. И Нади нет!

Лишин. Позвони к Федоровым, наверное, у них торчит. Это замечательно!

Анна Сергеевна *(подходит к телефону)*. Не действует! Никого нет и ничего не действует.

Лишин. А, вздор! Этого даже сделать не могут! *(Подходит к телефону.)* Станция? Я спрашиваю: станция!.. *(Раздраженно.)* А! Чер-рт! *(Швыряет трубку.)*

Анна Сергеевна. Ничего не действует и никого...

Лишин *(зло)*. А, помолчи ты, ради бога! *(Допивает залпом чай и садится за газету.)* Так! В Польше тоже не ладно! Докатимся, докатимся! А все-таки замечательно!

Даша *(из дверей слева)*. Ой, барыня, смотрите! Бабу какую-то ведут! Отбивается! Страсть.

Анна Сергеевна. Где, где?

Бросается к двери налево, за ней беспокойно спешит Лишин. Входят справа Надя и Сашка.

Надя *(конфиденциальным шепотом)*. Передайте сейчас Виктору, что Троицкая, пять, провалилась! Анатолий и Ната арестованы, и там засада. Ступайте сейчас же. Да не ходите вы больше в этой дурацкой шляпе — все смотрят!

Сашка *(весело)*. Ладно, дело не в шляпе. Наплевать! *(Садится верхом на стул.)*

Надя. Нет, наше-то дело в шляпе! *(Оба смеются. Серьезно.)* Ну, идите же к Виктору. Не рассаживайтесь! Уходите через кухню.

Сашка. Не понимаю, почему это Виктор, Виктор — терпеть не могу никаких генералов. Какие за ним подвиги? *(Встает.)*

Надя. Не вам о его подвигах судить. Я ухожу!

Сашка. Еще бы! Подумаешь, икона какая! Организатор! Когда ему предлагаешь дело, чтоб...

Надя. Чтоб кончилось все глупейшей провокацией? Знаю я такие дела. Идите, я запру за вами.

Сашка. Уж когда бабы лезут в дело...

Сердито уходит направо, за ним Надя.

Лишин *(входя, Анне Сергеевне).* Нет, это баба! Еще говорят про какое-то рабство в русской женщине! Даша! Даша!

Даша вбегает.

(Даше.) Неужели двадцать раз надо кричать, чтоб...

Даша. Мне не разорваться!

Лишин. И пожалуйста, без кислых рож! *(Садится.)*

Надя *(входит).* Колька дома?

Анна Сергеевна *(тревожно).* Нет, нет! Pas encore! А что, что?

Надя *(нехотя).* Да не знаю! Вообще в городе тревожно: забастовки, всюду полиция... Конка не действует...

Анна Сергеевна. Ничего не действует!

Лишин *(протягивает газету).* Читала?

За сценой несколько револьверных выстрелов. Все встревожены. Даша убегает направо. Надя взволнованно бросается к соседней двери.

Уходи ты, бога ради. Не понимаю, зачем соваться.

Крики за сценой: «Стой! Держи!» Гул, потом взрыв. Крики: «Сейчас стрелять будут!» Свистки городовых. Крик: «Казаки!» Пробегает Сережа справа налево.

Даша *(вбегает, запыхавшись).* Барыня! В банке сейчас такую забастовку сделали, что аж сто тысяч, говорят, унесли! Полиции-и-и! И свету не видать!

Убегает направо.

Анна Сергеевна. Надя, Надя! Nicolas! Что же это! *(Мечется.)*

Надя. Экспроприация, наверно. Да, Колька, Колька, где? *(Топает ногой.)*

Звонок. Даша бежит отпирать. В дверь посредине вбегает, запыхавшись, Сережа.

Сережа. Колька... ваш...

Анна Сергеевна *(кричит).* Что Коля? Что?

Сережа. Арестованный... солдаты скрозь, полиция!

Лишин. Что? Что?

Надя *(хватает шляпу).* Я сейчас бегу!

Лишин. Куда, куда? *(Вскакивает.)*

Надя. Я знаю куда. Оставь!

Лишин *(хватает Надю за руку).* Стой! Стой! Да погоди ты, ради бога! Куда ты? Куда? Господи, что они со мной делают! Ну что ты можешь сейчас?.. Абсурд!.. Надо позвонить Афанасьеву... а, черт, безобразие... и телефон!.. Полный идиотизм!

Анна Сергеевна *(Сереже).* Как ты его видел, как? Боже ты милостивый!

Даша *(вбегает).* Оцепили, весь квартал оцепили. Ой, страсть какая!

За стеной гул, крики, выстрелы.

(Высовывается в правую дверь.) Батюшки! Стучит кто-то в кухню!

Скрывается.

М а т р о с *(входя).* Спрячьте меня! Аккурат гады чуть не засыпали! *(Обводит всех глазами.)*

А н н а С е р г е е в н а *(кричит).* Колю нашего, голубчик, не видал ли? Мальчик такой. *(Показывает рукой.)*

М а т р о с. Вы меня запхайте куда-нибудь, а то враз менты наскочут.

Л и ш и н. Видите ли... Почему вы, собственно, к нам? Хотя, конечно, с другой стороны... *(Разводит руками.)*

М а т р о с. Тут со всех сторон! И нема кудой податься, я и заскочил...

Л и ш и н. В сущности я не совсем понимаю. *(Делает строгую серьезную мину Наде.)*

М а т р о с. А хиба тут товарища Зины нема?

Н а д я *(встрепенулась).* Идемте, идемте, товарищ.

Уводит М а т р о с а к двери налево.

Л и ш и н. Опять секреты... тайны... конспирация! Как на иголках...

С е р е ж а. Там казаков до черта! Аж два табуна прискакало. Кольку держат...

Л и ш и н. Фу ты!.. Господи! А тут этот матрос! Надо его деть куда-нибудь! Что со мной делают!

А н н а С е р г е е в н а. Да что ж это в самом деле?

Звонок. Сережа бросается отворять.

Л и ш и н. Стой, не открывай... спроси.

Все в страхе. Вбегает Д а ш а. Бежит отворять.

Даша, Даша! Спросите сначала! Стойте! Я сам.

Уходит в среднюю дверь. Все за ним.

(Солидным нарочитым басом.) Кто там? Я спрашиваю: кто там?

Д е т с к и й г о л о с. Ваша кошечка коло дверей просится.

Г о л о с Л и ш и н а. А, черт!

Слышно сердитое хлопанье дверью.

Л и ш и н *(входя).* И ведь все это в сущности преждевременно... эксцессы... одни эксцессы... Нет, Колька!.. Э-эк, ей-богу!..

А н н а С е р г е е в н а *(Сереже).* Как ты смел его бросить?

С е р е ж а *(сердито).* Да что он, окурок, что ли, что его бросить?

А н н а С е р г е е в н а. Не дерзи, пожалуйста, ах какой!

Л и ш и н. Да погодите вы! Куда она этого матроса дела? Боже мой! Надя! Надя!

Н а д я *(входит).* Чего ты?

Л и ш и н. Куда ты его дела? Надо с ним что-нибудь сделать! Даша! Позовите его сюда!

Д а ш а уходит налево и возвращается с М а т р о с о м.

Послушайте, вас ведь надо как-нибудь...

А н н а С е р г е е в н а. Пусть наденет мой капот и вот шаль.

(Снимает с себя шаль и вешает на Матроса.) Или в сундук! В сундук! Да-да! В шаль и в сундук и накрыть капотом.

Лишин. Помолчи! Э-э... вот что. Пусть он идет в мой кабинет пока, а я сейчас скажу...

С улицы шум, крики, свистки.

Даша *(пробегает из левой двери в правую, кричит).* Ой, ведут, ведут, ой, бедненькие!

Сережа *(бросается в левую дверь, потом возвращается).* Кольки нема там.

Лишин *(Анне Сергеевне).* Спрячь ты куда-нибудь этого матроса! Каждую минуту могут...

Анна Сергеевна. Иду, иду! *(Кричит во всю глотку.)* Матрос! Матрос!

Лишин. Да тише, бога ради! Этого даже не могут!

Матрос *(входит).* Ну, в чем дело?

Анна Сергеевна. Идемте, голубчик, в сундук! *(Берет его под руку.)*

Матрос *(высвобождая руку).* Вот что: я уж пойду на улицу, если такой тут тарарам коло мене.

Надя. Нет, нет! Папа! Тетя!

Звонок. Анна Сергеевна выталкивает Матроса в дверь. Опять звонок. Все в замешательстве. Стук в дверь четыре раза и звонок.

(Радостно.) Это Виктор Николаевич! Его стук!

Бежит отворять в среднюю дверь. Кричит в сенях.

Коля! Коля!

Все бросаются к дверям.

Лишин. Коля!

Анна Сергеевна. Ах, миленький!

Сережа. Колька! Ей-богу, Колька!

Входят Виктор Николаевич, Коля и Надя.

Лишин *(трясет руку Виктора Николаевича).* Ах, здравствуйте, дорогой. Какими судьбами? В такое время. Садитесь, бога ради!

Анна Сергеевна подвигает стул.

Виктор Николаевич *(садится).* Да все в совершенном порядке. Вижу вот этого кавалера в очень неудачной компании. Это бывает с молодыми людьми. *(Хлопает Колю по плечу.)*

Надя усаживается против и восторженно глядит на Виктора Николаевича.

Лишин. Ну, да как же, как же все это? Фу! Голова кругом!

Виктор Николаевич. Да пусть сам герой вам расскажет. *(Закуривает, выжидательно улыбается, глядя на Колю.)*

Коля. Нет! Понимаешь, Надька... нет, не могу! Ну только я с лестницы вниз, городовые навстречу...

Анна Сергеевна. Ах боже мой, ну и что?

Коля. А баба проклятая: «Он! Он!» — и на меня тычет.

Л и ш и н. Ну-ну?

К о л я. Наши стреляли. Те тоже. Я видел, Петра убили... на лестнице...

Н а д я. Какого Петра? Монтера?

Л и ш и н *(Наде)*. Да постой ты! *(Коле.)* Ну, а ты-то? Ты как?

К о л я. Потом оцепили... солдаты, казаки... *(Молчит.)*

Н а д я *(взволнованно)*. А Павел-моряк? Всех арестовали?

К о л я. И меня тоже... Ну, потом вижу Виктора Николаевича... шепнул что-то этому... казачьему офицеру.

В и к т о р Н и к о л а е в и ч *(с усмешкой)*. Ну, и устроилось дело, одним словом.

Н а д я. Виктор Николаевич! Дорогой, как же, почему же?

А н н а С е р г е е в н а. Да ну, какая ты? Знакомый, значит. Как удачно!

В и к т о р Н и к о л а е в и ч *(значительно)*. Да... знакомый... *(Понизив голос, наклоняется к Лишину.)* Вот вам результат: такова сила военной революционной пропаганды.

Н а д я *(радостно кивает головой)*. Да-да, это то, что вы тогда говорили! Это замечательно! Даже среди казаков!

В и к т о р Н и к о л а е в и ч. Ну-ну, довольно об этом. Обошлось хорошо, и ладно.

Л и ш и н. Господи! То есть что я пережил за это время! Тут, знаете, еще вваливается матрос; этакая, понимаете ли, фигура... *(Показывает руками.)*

К о л я *(вскакивает)*. Где матрос?

Н а д я *(укоризненно)*. Папа! *(Виктору Николаевичу, вполголоса.)* У него явка.

Л и ш и н. Помолчи, Надежда! И вот извольте: спрячь его! Может быть, провокация. Уж делаю этой *(кивает на Надю)* знаки — не действует...

А н н а С е р г е е в н а. Да! Ни-че-го не действует!

Л и ш и н. Теперь посадили его куда-то. Что с ним делать?

А н н а С е р г е е в н а *(в двери)*. Даша! Самовар! Обалдела совсем.

В и к т о р Н и к о л а е в и ч. А ну, давайте-ка его сюда!

А н н а С е р г е е в н а. Да ведь сейчас только ставят.

В и к т о р Н и к о л а е в и ч. Матроса вашего подавайте-ка!

Л и ш и н. Вот-вот, отлично! Надя!

Н а д я уходит.

Я, вы знаете, вполне на стороне революционного движения в России; но, знаете ли, если в такое время! К вам в дом! Со-вер-шенно же неиз-вестный человек! Нет, знаете ли, как хотите! Как хотите!..

В и к т о р Н и к о л а е в и ч. Да нет! Я понимаю; вы, в конце концов, стоите вдали от революции с этим вашим... либерально-благотворительным настроением. Но ведь в данном случае важно решить одно: провокатор это или действительно революционер... Я-то сейчас же определю. Ах, вот.

Входят Н а д я с М а т р о с о м.

Матрос *(отдавая шаль Анне Сергеевне).* Получайте, товарищ, ваш полушалок, оно без надобности.

Виктор Николаевич. Присаживайтесь, товарищ. Можете меня не бояться.

Матрос садится. Даша выносит самовар. Тетка хозяйничает.

Вы товарища Абрама знаете?

Матрос. А у чем дело?

Виктор Николаевич. Хорошо. Я вам сейчас назову имена и скажу два слова на ухо. *(Нагибается, шепчет.)*

Матрос *(расцвел; ударяя кулаком по колену).* Пр-равильно: Роза и Ландыш! Руку, товарищ! *(Жмет Виктору Николаевичу руку.)*

Надя торжественно обводит всех глазами.

Виктор Николаевич *(Наде).* Лучше бы услать Дашу. Знаете...

Надя. Я ее к портнихе спроважу, провалится на три часа.

Уходит и потом возвращается.

Анна Сергеевна. Пейте же чай!

Лишин *(выходит).* Кажется, уж спокойно как будто.

Виктор Николаевич. Не беспокойтесь, шпики ходят. *(Матросу.)* Да-с... Все-таки без поддержки на берегу флот ничего не в состоянии сделать. Вы это понимаете, конечно?

Матрос. Да рабочие повсегда нашу руку держат, да им нема чем отмахнуться. Что ж он, рабочий, с напильником на штык не полезешь!

Виктор Николаевич. Вот! В том-то и дело! Так видите, товарищ *(берет Матроса за рукав, выходят на авансцену),* вам на корабль теперь возвращаться, конечно, не придется; я дам вам здесь явку, и надо будет работать в направлении вооружения рабочих масс.

Матрос. За чем же остановка? Денег нема, ни черта? Последнюю копейку с человека выдушивают, кроме мозолей, ни дьявола нема! *(Жестикулирует, переворачивает стул и не замечает.)*

Анна Сергеевна *(спохватывается).* Какой сердитый!

Матрос. Навалились гады! Это не хвакт, чтоб человек человека мог по морде бить! Мы все против этого солидарны!

Виктор Николаевич. Отлично, товарищ! Погодите. Надо дело делать. Если мы будем только кричать и руками махать, ничего не выйдет.

Матрос. Да, я сегодня маханул одного — дай бог здоровья.

Виктор Николаевич. Стойте! Деньги сейчас у организации есть. Весь вопрос в закупке оружия за границей и организации транспорта. Понимаете?

Матрос. Как вы говорите, товарищ?

Виктор Николаевич. Я говорю: надо купить оружие за границей и привезти сюда. Лучше всего морем. Вы, как моряк, очень нужны будете в этом деле. Надо найти судно и контрабандным поряд-

ком доставить оружие на берег. Об этом надо условиться. Только нельзя вводить в дело много народу.

Матрос *(с жаром)*. Есть такое дело!

Виктор Николаевич *(смотрит на часы)*. Да-с. *(Лишину.)* Так-то оно так, а вот с молодыми героями надо все же как-нибудь устраиваться.

Лишин *(встревоженно)*. А что? Что?

Виктор Николаевич. Да ведь Колю видели! Он сейчас ведь бежавший из-под ареста. Ведь его искать будут. А как вы думали?

Лишин. Да-да-да! Слушайте, голубчик, выручайте! Эк, Колька! И все эксцессы, эксцессы... тайны эти вечные, секреты! Господи!

Виктор Николаевич. Вот что: мой совет... на-сто-ятельный, впрочем, совет...

Анна Сергеевна. О-ох! C'est affreux!

Лишин *(Анне Сергеевне)*. Да погоди ты! *(Виктору Николаевичу.)* Ну, ну?

Виктор Николаевич. Настоятельный, повторяю, совет: немедленно, сегодня же обоих отправить куда-нибудь в имение, где можно жить без прописки. И это се-год-ня же: пока железная дорога еще действует...

Анна Сергеевна. Ни-чего не действует!

Лишин. Да оставь ты, ради бога! *(Виктору Николаевичу.)* И подальше? А?

Виктор Николаевич. Да лучше бы подальше. И вообще быть осторожным.

Лишин *(кивая на Матроса)*. А этого?

Виктор Николаевич. Дайте ему штатское платье, и я его направлю.

Надя *(решительно)*. Папа! Я беру твое пальто и котелок!

Лишин. Пожалуйста, пожалуйста! Визитку, сюртук, фрак. Что угодно. Только, ради бога, поскорей!

Виктор Николаевич *(Матросу)*. Я вам скажу адрес. Вы город знаете?

Матрос. Ни черта! Хоть стреляй!

Надя. Я провожу вас, товарищ!

Виктор Николаевич. Нет, я думаю, лучше пусть Анна Сергеевна. *(Кивает на Анну Сергеевну.)* Безопасней.

Анна Сергеевна. Отлично, отлично! Мы так и пойдем, под ручку. *(Наде.)* Чего ты смеешься? Очень натурально: я — старуха, он меня ведет. Все скажут: вот благонамеренный молодой человек! Собираюсь! Сейчас!

Уходит направо.

Виктор Николаевич. И это надо делать сейчас же. *(Матросу.)* Идемте! *(Наде.)* Где у вас?

Уходят втроем налево.

Коля *(вполголоса Сереже)*. Слыхал, что Виктор Николаич! Это я понимаю!

С е р е ж а. Да, это я тоже понимаю: как дать рабочим оружие! И-и! По заводам такие хлопцы есть — куда!

К о л я. Флот с моря: бабах! трах! А тут рабочие: полиция вся по углам, студенты сейчас!

С е р е ж а. Это уж известно! А вот как?

К о л я. Что «как»?

С е р е ж а. Да перевезти оружие. Кордоны, знаешь. Катера ходят, дозоры — и прожектором, прожектором, так и глядят!

К о л я. А ночью парусником. Возят же шелк контрабандой, еще как! Нет, молодчинище Виктор!

Л и ш и н *(входя, Коле)*. Ну? Натворил дел! Хорош! Как раз тебе туда соваться. Вот как люди дела делают. *(Указывает в сторону двери.)* А вам в разбойники поиграть захотелось? Вот вам по двадцати рублей — и сегодня же марш! *(Дает бумажки.)*

Входят М а т р о с в штатском, В и к т о р Н и к о л а е в и ч. Все смеются, поворачивают Матроса.

Н а д я *(вбегает со шляпой)*. Шляпу, шляпу. *(Напяливает.)*

Л и ш и н *(кричит в дверь направо)*. Ну одевайся же, да не копайся, христа ради.

А н н а С е р г е е в н а *(за дверью)*. Сейчас, брошку только!

В и к т о р Н и к о л а е в и ч. Смотрите, по привычке не козыряйте офицеру. Это бывало!

Входит А н н а С е р г е е в н а в мантилье и наколке, с зонтиком.

В и к т о р Н и к о л а е в и ч *(Анне Сергеевне)*. Садовая, восемь, с парадной, третий этаж, одна там дверь. Стучите четыре раза! *(Матросу.)* Вы помните, товарищ, как сказать.

М а т р о с. Есть, на месте!

Уходит с А н н о й С е р г е е в н о й в среднюю дверь. Надя провожает.

Л и ш и н. Господи! Ну хоть бы минута единственная покою! Час от часу... И этак с самого рождества!

З а н а в е с.

Перед занавесом.
А н н а С е р г е е в н а с М а т р о с о м под ручку появляются слева.

А н н а С е р г е е в н а. Если я вам буду говорить по-французски, вы говорите: oui.

М а т р о с. Есть, вуй!

Анна Сергеевна вздрагивает, как от выстрела, оглядывается с опаской.

Вуй! Обождите. *(Отворачивается, сморкается пальцем.)*

Анна Сергеевна вздрагивает, как от выстрела, оглядывается с опаской.

Вуй! Пошли, пошли, бабушка!

Тащит Анну Сергеевну и уходят направо.

АКТ ВТОРОЙ

Перед занавесом уличный фонарь. Полусвет. Справа появляется Молодой рабочий. Делает два шага, озирается и вынимает из-за пазухи сверток. Один лист он пришпиливает к занавесу. Через два шага делает то же. Вешает третий лист, прислушивается.

Молодой рабочий. Ой! Идут!

Убегает налево. Справа появляются два городовых с винтовками.

1-й городовой. Шатайся вот всю ночь, в рот им дышло! Очумели, черти. *(Останавливается.)* Мало их били.

2-й городовой. А мало, так, значит, еще надо. На что ж тебе винтовку дали. *(Стучит прикладом об пол.)* Пали, и никаких. Сказано: без предупреждения — бей! Рвань анафемская! Чего галдят-то, слыхал: долой царя и чтоб жид архиереем был.

1-й городовой. Что ты?

2-й городовой. А вот и то! Стой! Что это? *(Оборачивается, замечает листок.)*

1-й городовой. Так это ж «Обязательное постановление», дурак!

2-й городовой. Сама дура! *(Срывает листок, бежит к фонарю, читает.)* «Товарищи рабочие! Революционные корабли Черноморской эскадры идут к нам на помощь. Сохраняйте порядок! Крепитесь, товарищи, и не поддавайтесь провокации. Матросы арестовали офицеров и сами ведут броненосец к нам в порт».

1-й городовой *(приседая).* Ух черт!

2-й городовой. Врут, врут, черти! *(Рвет листок в клочья.)*

1-й городовой. А вот еще! Еще! *(Городовые рвут листки.)* Ух, поймаю мерзавца, запляшешь ты у меня, чертов сын!

Убегают влево. Справа появляются Коля и Сережа.

Коля. Нет, какого, в самом деле, черта! Тут самое дело, а нас в деревню. Что мы? Маленькие?

Сережа. А что же делать?

Коля. Что делать? Дело делать! Судно найти.

Сережа. А нам сказал кто? Там без нас, брат...

Коля. Ничего не без нас, а найти судно и предложить: ну, не надо будет, так не надо. А может быть, и надо! Действовать надо, вот что!

Сережа. Это я даже очень понимаю, что действовать; ну а где ты судно найдешь? Что ты ерунду мелешь! Так вот пойдешь: хоп — и судно!

Коля. А вот хочешь — найду! Пойдем в кабак, где моряки собираются, я тут один знаю, и там увидим...

Сережа. Увидим, как ты дурака будешь клеить!

Коля. Ты вот говоришь только: флот, рабочие, бах... трах! А как до дела...

Сережа. Да что ты разоряешься? Я ничего не говорю, идем. Посмотрим.

К о л я. И сделаем. И увидишь: отлично будет. А если воображать, что кто-то там будет организовывать! Вот он, кабак этот, идем. Деньги у тебя?

С е р е ж а *(щупает карман)*. Да, здесь.

Уходят вправо.
Занавес подымается.

КАРТИНА ПЕРВАЯ

Кабак. Стойка, ваза с резаными огурцами. Из нее половой берет руками и шлепает на блюдца закуску; столики без салфеток. За стойкой Х о з я и н-армянин. Справа пианино, отгорожено деревянными перильцами. За пианино старик еврей. За столиком С т а р ы й р а б о ч и й. За другим столиком шлепают картами в «очко». Среди игроков З а б у л д ы г а. За третьим — пьяная баба. За передним — Х о х о л, за ним порожний столик.

З а б у л д ы г а. Лейба, накаж-жи меня господь, заводи «Заходю в дворянскую»... Фатай злот! *(Кидает музыканту пятиалтынный.)*

Музыкант играет. Забулдыга поет.

Заходю в дворянскую,
Сядаю за стол,
Скидаю хвуряшьку,
Кидаю на пол.

(Пьяным жестом срывает с Хохла картуз и шлепает им об пол.)

Х о х о л. Пошел ты, пьяная рожа твоя! Бодай ты свиту не бачив. *(Поднимает картуз.)*

З а б у л д ы г а.

А я ее спрашую:
Что ты будешь пить,
Вона мне говорить:
Голова болить. *(Хлопает бабу по спине.)*

Я в тебе не спрашую,
Что в тебе болить,
А в тебе я спрашую,
Что ты будешь пить.

Х о х о л *(стучит солонкой по столу)*. Хозяин! В тоби повылазило, чи що?

Х о з я и н *(подходит)*. Шкаличек? Полкварты?

Х о х о л *(думает)*. Дай ты мини...

Ш е с т е р к а. Парочку пивка?

Забулдыга стучит. Хозяин дергается.

Х о х о л. Да стой ты! Зараз! Дай ты мини румку водки. Ось!

Х о з я и н. Закусить помидорчика?

Х о х о л. Я ж тоби бильш ничого не казав!

Х о з я и н *(грубо)*. Давай пятак!

Х о х о л. О, аж пьять копеек! *(Разматывает мошню.)*

З а б у л д ы г а. Эх, Мотя! Забери свои лохмотья!

Музыканты играют «болгарскую». Входят К о л я и С е р е ж а, садятся за порожний столик.

(Хозяину.) Не лягавые?

С е р е ж а *(Коле вполголоса)*. Надо спросить что-нибудь.

Хозяин приносит Хохлу рюмку и блюдечко с огурцами. Хохол разворачивает сверток с салом и хлебом, пьет и закусывает.

Х о з я и н *(мальчикам.)* Вам чего?

К о л я. Два бутерброда.

Х о з я и н. Чего? Такого не держим. Селедку можно подать.

К о л я и С е р е ж а. Да, да, селедку!

Хохол оглядывается на мальчиков. Коля подается в сторону Хохла.

С е р е ж а. Ты не лезь сразу.

К о л я. Ты тоже с твоими подходами! Может, у него и судна-то нет.

З а б у л д ы г а *(икая)*. Мотя, побей меня бог, я тебе помаду подару.

К о л я *(к Хохлу)*. Скажите, вы с судна?

Х о х о л *(полуоборачиваясь)*. Эге!

К о л я. Вы что же, шкипер?

Х о х о л *(жуя)*. Эге!

К о л я. А судно большое?

Х о х о л *(обернувшись совсем)*. А вам шо? Груз який маете, чи як?

С е р е ж а *(встревоженный)*. Брось, дурак, ты не с того краю берешь!

Х о х о л. Маете дило яке?

К о л я. Да, есть дело... Видите...

З а б у л д ы г а *(поет)*.

Оборачуюсь назад —
Сзаду надзиратель!
Как он стал мне накладать —
Аж все силы стратил!
Эх, Мотька!

С е р е ж а. Судно ваше?

Х о х о л. Ну, а як мое, тоди що? *(Жует и чавкает.)*

С е р е ж а. Вы делом говорите: ваше чи нет?

К о л я. Нам надо судно нанять.

Х о х о л. Эге! А де идти?

К о л я. В Болгарию, за границу.

Х о х о л *(жуя сало)*. А шо везты?

Коля молчит.

З а б у л д ы г а. Я тебе помаду подару. *(Икает.)* Накажи мене господь!

Х о х о л. Я питаю, груз який?

С е р е ж а. Отсюда порожнем.

Х о х о л. А вид тиль? З Болгарии, я кажу?

К о л я. Мы там вам скажем, мы уж знаем.

Сережа. Ящики!
Коля. Картошку! } Вместе.

Хохол *(совсем обернувшись)*. Що? Як? Картохлю у ящиках? Мабуть у бутылках? О це ж дило запутане. Ге-ге, це вже таке дило, шо я вже пиду. *(Сворачивает объедки, уходит. Выходя.)* Це таке дило, бодай ему десять чертив у бок!

Сережа. Видишь что! Я тебе говорю, дурака только клеить здесь...

Коля. Ах черт! Засыпались, он сейчас приведет шпиков! Арестуют!

Хозяин *(ставит селедку и шкалик)*. Тридцать две!

Коля *(роется в карманах, дает рубль)*. Пожалуйста!

Хозяин. Сейчас сдачи.

Сережа. Бежим, каждая минута дорога.

Забулдыга *(подходит)*. Угощайте, панычи! Я выпью, а вы закусите, вот и квита! *(Берет шкалик и опрокидывает.)* Стребуйте парочку пива! Чтоб я так жил. *(Стукает кулаком по столу.)* Эй, гад! Давай пару пива!

Хозяин *(Коле)*. Давать?

Сережа *(указывая на стол Забулдыги)*. Туда, туда! *(Коле.)* Идем, ради бога!

Забулдыга. Не журись, Маруся! *(Подмигивает Хозяину.)*

Сережа. Бежим сейчас же, моментально! *(Дергает Колю.)*

Забулдыга. Что ж вы, панычи, закажите, нехай сыграют. Лейба, наворачивай, панычи плотють!

Музыкант играет.

Мотя *(тянет пьяным голосом со слезой)*.

Сухою бы я корочкой питалась,
Холодную воду бы пила,
Тобою бы, милый, любовалась
И тем бы счастлива была.

Входит Грек, садится на место Хохла.

Грек *(скороговоркой)*. Эй, эладо! Целовек! Давай вино, баклязани одна порция, по-грецески. Глигора! Салфетки давай, о-диаволос. Ты китаксис, гайдури! [1] Зива!

Сережа. Идем же скорей!

Коля *(смотрит на Грека, отмахивается)*. Надо сдачи взять, погоди.

Хозяин *(подает Греку)*. Злот. Деньги вперед!

Грек. А уксус-муксус, масло параванское? Перец-мерец? Хоросее дело, деньги вперед!

Хозяин бросается, приносит судок.

(Кивает мальчикам.) Хоросие зулики: деньги вперед, а масло назад? *(Выливает все из судка в тарелку.)*

Сережа *(Коле)*. Дурак, пропадем, сейчас придут.

---

[1] Чтоб тебя черт взял. Чего смотришь, болван.

Грек *(стучит).* Эладо! Давай масла, уксус! Зацем мене пустые бутилки? *(Отталкивает судок.)*

Шестерка. Что ж ты, на гривенник съешь, а на рубль масла тебе давай?

Грек *(горячась).* Сто ты рассказываешь, холера? Масла нема порции. Масло нузно — не нузно, когда нузно! Давай!

Хозяин приносит еще судок.

(Вливает, макает хлеб.) Десять тысяци дьяволы! Какое твое дело, скольки мене масло нузно?

Коля *(Греку).* Вы шкипер?

Сережа. Да брось ты, ей-богу, я уйду.

Грек. Я — капитани, капитани.

Сережа. Я иду!

Коля. Иди, черт с тобой, я один. *(Греку.)* У вас свое судно?

Грек. У нас есть судно, насе судно. *(Закуривает трубку.)*

Коля. У нас дело: из Болгарии, из Варны взять фасоль.

Грек. Сколько тысци?

Коля *(в замешательстве).* Чего это сколько тысяч?

Грек. Фасоли, фасоли! Сколько тысяци?

Коля. А сколько подымает ваше судно?

Грек. Больсой судно, греческий судно.

Коля. Десять... двадцать тысяч!

Грек. Давай задатки! Хримата эхис? Деньги иммесь?

Коля. Да, да! Вам сколько?

Грек. Сто рубли.

Коля. Мы дадим двадцать пять, а когда сговоримся...

Грек *(хлопает по столу).* Каки разговоры без деньги! *(Отворачивается.)*

Коля. Сережа, давай бумажку.

Сережа. Чего ты торопишься! Нехай вперед судно покажет.

Коля. Давай, давай!

Сережа нехотя передает.

Молодой рабочий. Не верь ты! Они тебе начнут петь, что тихо да ладно, да обождите, разберем. Они как раз разберут, как тебе на глотку ловчей стать!

Грек *(хватает, прячет).* Приходи на берег, спроси Потамьяно, все знают, больсой судна, Христо Потамьяно.

Минка *(входит).* Христо Потамьяно — и сыто и пьяно, а вот у Минки ни маковой росинки. *(Ребятам.)* Здорово, хлопцы!

Грек. Калимера, Минка, сядай, сядай, сюдой.

Минка садится.

Кусай, кусай! *(Макает хлеб в тарелку и ест.)* Кусай на здоровье. *(Пододвигает тарелку Минке и еще раз наспех макает хлеб.)* Кусай, все! *(Макает еще.)*

Минка снимает шапку, ест корки и обтирает тарелку.

А! Не умеесь, во, во, эци, эци! *(Сам вытирает и ест.)* Кусать не умеет!

М и н к а. Когда снимаемся, хозяин?

К о л я. Нам завтра надо, непременно!

М и н к а. А что? Судно фрахтуете? *(Кивает на тарелку.)* А хлеба не купуете?

С е р е ж а. Задаток дали.

М и н к а *(жует)*. Дал задаток... так знаешь... будешь без пяток; сам хлопочи, не льстись на калачи! Эх вы, голубчики. Покурить-то есть?

К о л я. Не курим, можно купить.

М и н к а. Зачем? Пустое дело. *(Забулдыге.)* Эй, приятель! Есть на цигарку?

З а б у л д ы г а. Фатаеть, не в армейских! Подходи!

Минка подходит. Входит Г о р о д о в о й. Общий переполох.

Г о р о д о в о й. Стой, ни с места!

М о т я *(верещит)*. Ой! Соткуда он!

Х о з я и н *(спешит из-за стойки и машет руками)*. Что такое? Зачем такое!

Г о р о д о в о й. Вынимай документы!

Забулдыга вскакивает. Бросается на Городового. Возня.

С е р е ж а. Бежим! *(Дергает Колю. Протискиваются между дерущимися к двери.)*

В суете удирают Г р е к и М и н к а.

З а б у л д ы г а. Врешь, ментяра!

Г о р о д о в о й. Стой, болотная морда!

Забулдыга сбивает Городового и вырывается, бежит. Свистки. Хозяин все время машет руками и приговаривает: «Вай мана! Вай мана!»

КАРТИНА ВТОРАЯ

Пристань. Судно кормой к берегу. М и н к а сидит на крыше каюты и латает парус. Г р е к парус просматривает. С т р а ж н и к скучающей походкой ходит и напевает. Слева входят К о л я и С е р е ж а.

К о л я. Конечно, ругался сначала, а потом говорит: молодцы. Сказал, что приедет в порт.

С е р е ж а. Виктор Николаевич коли сказал, так и будет. Это такой человек.

К о л я. Замечательный человек!

С е р е ж а. А вон смотри, Пиндос-то наш! Только погоди, стражник!

К о л я. Ерунда!

С е р е ж а *(удерживает)*. Опять как тогда! Погоди.

С т р а ж н и к отходит, потягивается и скрывается.

К о л я. Идем!

С е р е ж а. Я буду стеречь.

К о л я *(подходит к судну)*. Капитан, капитан!

Г р е к. Сто надо? *(Продолжает перебирать парус.)*

Коля. Вы меня не узнаете?

Минка. А! Здорово, сынок, здорово! Нема покурить?

Коля. Капитан, помните в трактире, я еще задаток вам дал? Двадцать пять рублей?

Грек *(скороговоркой)*. Двадцать пять рубли такие задатки? Бре! Хоросие задатки! Ми тысяци рубли брали, а нема дела так нема. Паруса надо чинить, нема когда рассказывать. Задатки! К чертовой матери с таким делом.

Сережа. Оставь, погоди Виктора!

Коля. Зачем же вы тогда говорили?

Грек *(раздраженно)*. А, мороць голову. Работать надо, нема рассказывать!

Минка. Чего ты хлопцев на бас берешь? Ты скажи дело!

Грек. Не нужно рассказывать! Я — капитан, какое твое дело?

Сережа. Идет! Идет!

Коля *(подбегает)*. Где?

Входят Виктор Николаевич с Сашкой. К ним подбегают Коля с Сережей.

Вот судно, только грек теперь отпирается.

Сашка *(громко)*. Задаток взял, так какого черта!

Виктор Николаевич *(Сашке)*. Ты не галди, во-первых, и не суйся. Я переговорю. *(Идет на судно.)*

Грек. Калимера! Здравствуйте! Не запацкайтесь, господин.

Виктор Николаевич. С вами вчера говорили. Так вот дело в том, что тут мне уж предлагали одно судно. Об вашем я справился. Вы, кажется, восемь тысяч грузу можете взять?

Грек. Вам Яни хотел вести? Он зулик, весь груз подмочит! Пускай не рассказывает: арапское дело! Смотрите, в мене нема вада! *(Пробует качать помпой.)* О! о! Сухой как у комнате.

Сашка. Нам это чепуха, дойдем как-нибудь, а вот чтоб ты не дрефил. Если ты — мокрая курица, так ну тебя к черту!

Виктор Николаевич *(Сашке вполголоса)*. Угомонись, провалишь дело. *(Греку.)* Конечно, надо, чтоб хороший был капитан.

Грек. Мы хорошие капитани, грецеские капитани.

Минка. Наливай, наливай!

Грек. Заграницный бумаги надо!

Виктор Николаевич. Это мы все устроим. Вы отход взяли?

Грек. Мы узяли. Васи бумаги справляйте.

Виктор Николаевич отходит с Греком в сторону, беседуют. Слышно:

Грек. Две тысяцы! Охи, охи мало!

Сашка *(влез на судно)*. Черт возьми, из винтовки ляпнут, так насквозь и пройдет. Тут мешков каких-нибудь нагородить. *(Показывает у борта.)* И чуть невыдержка — пожалуйте, так встретим.

Грек. Какой меский? Казали отсюда порозной судно!

Стражники появляются.

Сашка. Не бойся, грек, заплатим, если тебе судно немножко поковыряют.

Виктор Николаевич. Молчи, пожалуйста!

С а ш к а. Можно просто котельного железа положить, не пробьет, ей-богу! Лечь на палубу, и в случае чего — нас тут народу хватит.

Г р е к. Сто такое? Это какое дело? Бре! Идем к маклер, идем до корабельной маклер! Нема такой дело! *(Кричит.)* Нема, нема. Уходи усе с судна, ну, зива, зива, марс, уси, уси! Не нузно у Россия таки стуки! Идем уперед до маклера!

Появляется Н а д я с М а т р о с о м.

М а т р о с *(Наде).* Стоп! В них невыдержка. *(Останавливается и задерживает Надю.)*

Н а д я. Этот Сашка — черт знает что! Идиотство!

Стражник подходит не спеша.

В и к т о р Н и к о л а е в и ч *(Сашке).* Убирайся моментально!

Сашка нехотя уходит, подходит к Наде, горячо шепчутся.

Н а д я *(Сашке).* Вы все дело портите! Как вы себя ведете! Стойте здесь! Что за разгильдяйство! Возмутительно! Я вас призываю к порядку.

С а ш к а. Диктатура какая!

Н а д я. Дисциплина!

Г р е к *(Виктору Николаевичу, показывая на шею).* Веревка мне не нузна на сею! Не нузно, маты панайя, не поеду. Нема, нема, нема!

В и к т о р Н и к о л а е в и ч *(Греку).* Чего вы кричите? Мой приказчик *(указывает в сторону Сашки)* страшно боится морских разбойников. Он читал, что в море на-па-да-ют.

С т р а ж н и к. Какие теперь разбойники? Вот разбойники. *(Кивает на Грека.)* Вторую неделю стоит, хоть бы я от него стакан вина видел!

М а т р о с *(Наде).* Станьте тудой. Тут без баб дело. *(Подходит к Виктору Николаевичу.)* Здорово!

В и к т о р Н и к о л а е в и ч *(кивает Матросу. Обращается к Стражнику).* Ну, грек сейчас заработал, а магарыч наш. *(Отводит Стражника в сторону, шепчутся. Стражник кивает головой. Громко.)* Возьмите папирос двадцать пять штук, а сдачу устройте по-своему.

С т р а ж н и к. Слушаю-с!

Козыряет и уходит.

В и к т о р Н и к о л а е в и ч *(Греку).* Вы напрасно горячитесь! Если вам не нравится, то я уж потеряю один день и пойду с Яни.

М а т р о с *(входя на судно).* А ни черта посуда! *(Минке.)* Здорово, старик! *(Ходит по судну, смотрит.)*

Г р е к *(Виктору Николаевичу).* С Яни? С такой мосейник?

В и к т о р Н и к о л а е в и ч. Ну так вот. *(Вынимает бумажник и хлопает им по руке.)* Как только сниметесь, получите пятьсот, остальное при погрузке. Раз-два! Идет? *(Поворачивается, собирается уходить.)*

Г р е к. Сейчас, господин, сейчас. У цом дело? Минка! Ставь грот на место! Севели команду.

Н а д я *(Сашке).* Вам же говорил Виктор Николаевич: вы — при-

казчик, ведите себя приказчиком! Ну хоть молчите, вы как нарочно проваливаете! Я вас прямо не понимаю!

Сашка. А я не понимаю, чего там много разговаривать.

Коля. Ох, я уж думал, все пропало. Молодчина Виктор!

Минка *(Матросу)*. А ну, подбери топенант. Еще! Так.

На палубе появляется команда, несколько человек: греки, русские. Готовят судно. Матрос работает с ними.

Надя. Слушай, Виктор: я тебе серьезно советую смотреть за Сашкой.

Виктор Николаевич. Не беспокойся, в море будет полная дисциплина.

Надя *(тихонько)*. Не утони сам-то!

Виктор Николаевич. У меня надувной жилет! *(Вынимает трубочку и дует.)* На нем втроем можно держаться в воде хоть неделю.

Надя. Как ты со стражником устроил, Виктор?

Виктор Николаевич. Мы в России; надобно уметь вовремя и кому следует дать.

Надя. А паспорта?

Виктор Николаевич. На всех готовы! *(Хлопает себя по карману.)* Паспорта железные!

Надя. Ей-богу, ты прямо чародей!

Возвращается Стражник, с ним Штатский.

Стражник. Пожалуйте, я «Цыганку» взял. *(Отводит в сторону Виктора Николаевича к Штатскому.)* А вот документики все-таки следует, знаете...

Виктор Николаевич *(показывает паспорта)*. Пожалуйста!

Штатский *(мельком смотрит, кивает головой)*. Простите за беспокойство! *(Виктор шепчется со Штатским. Штатский отходит.)*

Грек *(Стражнику)*. Можно сниматься?

Стражник. С богом, с богом! Поезжай маслины кушать.

Матрос *(Греку)*. В тебе харчи есть?

Грек. Есть, усе есть. Севелись веселей!

Виктор Николаевич *(Наде)*. Мы выйдем на рейд и, когда стемнеет, снимемся в море. Прощай! *(Долго жмет руку.)*

Надя. Если тебя выдадут, я буду знать, с кем свести счеты! *(Зло смотрит на Сашку.)*

Виктор Николаевич. Ну, садимся! Коля! *(Сашке.)* Только веди себя солидней. Черт ведь знает что могло получиться!

Коля. Вот здорово! *(Идет по сходне.)* Сережа! Мы на нос!

Матрос. А ну, хлопцы, становись на браштиль!

Виктор Николаевич *(Сашке.)* Еще раз предупреждаю...

Сашка. Ну да полно диктатора валять!

Все входят на судно.

Матрос. Пошла нашая!

Сашка. Идем! Едем, черт возьми! Вставай, проклятьем...

Коля. Заклейменный...

Виктор Николаевич *(строго)*. Silentia!

М а т р о с *(убирает сходню)*. Ей! Полугак! Отдай концы!

Стражник отвязывает канат.

Г р е к. Вира якорь!

К о л я. Вот здорово! Пошли, ей-богу!

С а ш к а. Ур-ра!

М а т р о с. Понес без колес!

Стражник смеется, машет фуражкой. Надя машет рукой.

З а н а в е с.

КАРТИНА ТРЕТЬЯ

Комната в доме смотрителя маяка. Стол, на нем журнал раскрытый, кучка табаку, телефон на стене, кнопки звонков, карта, большие круглые часы, барометр, таблица инструкций, сигналов и прочее. Над столом портрет смотрителя в молодости — лейтенантом флота. С м о т р и т е л ь-старик, в бушлате без погон, флотской фуражке с утиным козырьком. Ж е н а — затрапезная дама, старуха. Вся сцена проходит под вой ветра и шум прибоя. Голоса с берега и с моря.

С м о т р и т е л ь *(скручивая папиросу)*. Опять засвежало от зюд-оста. Масса зыби в море. Мгла, ни черта не видно. *(Жене.)* Во, во! Слышишь, как дает... Иди ты спать, мамаша!

Ж е н а. Нет, уж какой сон. А то как в прошлом году, вот так же, дубок в самый берег, мальчика только одного и вытащили... Выходят же в такую погоду. *(Подходит тревожно к окну.)*

С м о т р и т е л ь. На то, матушка, и море! Помню, мы на «Весте» с покойником Владимир Платонычем, почище этого...

Стук в дверь.

Войди!

В а х т е н н ы й *(в мокром дождевике, с биноклем на ремешке)*. Парусник видать небольшой. Ковыряется тут.

С м о т р и т е л ь. Куда?

В а х т е н н ы й. Да на зюд-ост, должно. Топчется на лавировку.

С м о т р и т е л ь. Ну, посматривай, кабы на косу не сбило. На зюд-ост, говоришь?

В а х т е н н ы й. Так точно! Пойдет погода от оста, разведет зыби...

С м о т р и т е л ь. Иди, ты! Если что, звони сейчас же.

В а х т е н н ы й. Есть!

Уходит.

С м о т р и т е л ь *(садится к столу, взглядывает на часы)*. Десять сорок семь. *(Пишет.)* Де-сять. *(Смотрит на часы.)* Да! Сорок семь. Усмотрен парусник. Направляется... Направляется на зюд-ост.

Ж е н а *(садится у окна)*. Так вот сердце и ноет!

Звонок в телефон.

С м о т р и т е л ь. Ну что? Слушаю... На косу сбивает? Правым галсом не выйдут?.. Звони на кордон, чтоб глядели, на тридцать пятый.

Ж е н а *(крестится)*. Господи, господи! Опять!

С м о т р и т е л ь. Да погоди, может, и выберутся!..

Крик с берега. Фатайся! Пущайся за зыбом! А ну, пошел!..
Несколько голосов. У-ух! Уй-ух!
Жена. Что это? *(Смотрит в окно.)*
Смотритель. Рыбаки с моря. Носит в такую погоду!
Другой вахтенный *(входит).* Шаланду здоровую перекинуло под самым берегом, двоих накрыло тама; кателаж ловлют...
Смотритель. Ступай, скорей! Иду! Вот черт!
Жена *(вахтенному).* Пусть сюда, сюда ведут. Господи! *(Крестится.)*

Вахтенный уходит.

Смотритель *(наскоро старается закурить, подымает воротник бушлата).* А, черт! *(Чиркает спичку.)* Фу-ты...
Жена. Да иди, иди ты скорей!

Стук в дверь, резкий и четкий. Входят жандармский Ротмистр и старик Полковник пограничной стражи.

Ротмистр. Здравия желаю! *(Щелкает шпорами.)*
Полковник. Здравствуйте, батюшка! *(Здоровается со Смотрителем за руку и подходит к Жене смотрителя, шепчется с ней.)*
Смотритель. Простите, господа, сию минуту! *(Хочет идти.)*
Ротмистр. Виноват! Прошу внимания. Совершенно конфиденциально! *(Взглядывает на Жену смотрителя.)*
Смотритель *(Жене).* Мамаша, ты нас оставь.

Жена уходит.

Садитесь, садитесь, шинель скиньте. Что случилось?
Ротмистр *(запирает двери за Женой, оглядывается).* Здесь никто не слушает?
Смотритель *(тревожно).* Нет, нет! Да ведь вон как ревет, до того ли.
Ротмистр. Га-асподин полковник, прошу вас.

Полковник подходит.

То, что я сообщаю, — политическая тайна!
Смотритель *(испуганно).* Есть, есть!

Полковник мотает головой.

Ротмистр. Конечно, напоминать вам о присяге я не имею права. *(Пауза.)* Сегодня ночью мимо вашего маяка должно пройти парусное судно. Оно должно дать вам на маяк сигнал: семь, слышите, семь белых вспышек, семь огней!
Смотритель. Семь огней...
Ротмистр. Так, семь огней. Вы обязаны немедленно сообщить по телефону сто восемьдесят три-двадцать, запишите: сто восемьдесят три-двадцать.
Смотритель *(пишет).* Сто восемьдесят три-двадцать.
Ротмистр. Так, сто восемьдесят три-двадцать... Сообщить одно слово: «Прошло». Одно слово: «Прошло». Надеюсь, поняли? Через несколько дней судно это подойдет к вашим берегам опять-таки ночью. Ночь-ю! И даст тот же сигнал. Помните какой?

С м о т р и т е л ь. Семь огней...

Р о т м и с т р. Семь огней! И вы не-мед-ленно же по тому же телефону, помните?

С м о т р и т е л ь. Сто восемьдесят три-двадцать...

Р о т м и с т р. Так-с, немедленно сообщите: «пришло», и больше ничего. Только не прозевайте. Халатности тут быть не может! И если вы не сообщите, вы, надеюсь, соображаете, как это будет понято?

В а х т е н н ы й *(врываясь)*. Ваше благр... там человека...

Р о т м и с т р. К чер-ту-у!

В а х т е н н ы й скрывается.

Виноват, я распорядился. Так что зевать нельзя-с. Впрочем, вот что! Господин полковник, рекомендую вам остаться здесь, так сказать, в помощь бдительности господина смотрителя. У вас дел много, вдвоем оно вернее. Не так ли?

П о л к о в н и к. Конечно, конечно.

Р о т м и с т р. Затем честь имею. *(Встает, шаркает. В дверях.)* Итак! Халатности быть не может!

Ж е н а *(вбегает)*. В чем, в чем, голубчики, дело?

П о л к о в н и к *(мрачно)*. Такое дело!.. *(Машет рукой.)*

С м о т р и т е л ь. Закрой, матушка, двери. *(Полковнику.)* Иван Васильич, что это? Зверем каким.

П о л к о в н и к *(конфиденциально, шепотом)*. Да тут революционеры за оружием в Болгарию едут, на паруснике.

Ж е н а. Господи!

П о л к о в н и к. Ну, а там у этих есть свой... на судне.

Ж е н а. Провокатор?

П о л к о в н и к. Ну, одним словом, есть там на судне человек у них, который должен дать знать жандармам, когда выйдут.

Ж е н а. Схватят?

П о л к о в н и к. Эка штука! Нет: вот когда, матушка, они назад-то пойдут, с оружием, с поличным, так сказать, он-то, этот-то, опять дает знать сигналом: семь огней, семь вспышек. Вот тут-то их и цап-царап. Вот что!

Ж е н а. Ах мерзавец! А нельзя как-нибудь не говорить? Не видеть?

С м о т р и т е л ь *(кричит)*. В отставку, что ли?

П о л к о в н и к. Да, уж теперь служба...

С м о т р и т е л ь. Мамаша! Графинчик! Эх, жизнь собачья!

Ж е н а. Только не очень, господа... Да, впрочем, уж как тут... *(Подает графинчик, рюмки.)*

С м о т р и т е л ь *(по телефону)*. Слушаешь? Смотри в оба, считай огни.

Ж е н а. Господи, да ведь что же это?

Звонок. Смотритель за телефон.

С м о т р и т е л ь. Частые, говоришь, огни. Считай, тетеря! Семь? Семь огней?

П о л к о в н и к *(срывается)*. Идем, надо самим. Ну, прохвост!

Смотритель вскакивает за ним.

Ж е н а *(глядит в окно).* Раз!.. два!.. шесть, семь. Боже ты мой, крикнула б им! Голубчики, не ходите, милые, продает он вас! Голубчики! *(Стучит в окно.)*

З а н а в е с.

АКТ ТРЕТИЙ

КАРТИНА ПЕРВАЯ

Ночь, палуба судна, грузовой люк. На нем сидит К о л я, рядом стоит С е р е ж а. Р у л е в о й, Г р е к и д в а м а т р о с а.

К о л я *(Сереже).* Везем, брат. Здорово все-таки. Ты ступай, Сережа, спи. Я один пока покараулю. *(Хлопает рукой по люку.)* Дело, брат! Здесь уж оно!

С е р е ж а. Так ты меня разбудишь. Ты за греком смотри: тоже хороший хлюст!

К о л я. Ладно, ступай, ступай!

С е р е ж а уходит в каюту. Коля насвистывает «Смело, товарищи».

Г р е к *(подходит).* Цего свистишь? Мало ветру? На судно не мозно свистеть! Говорил мене в кабак: фасоли, фасоли! Присли Варна, говоришь: апельсины! Какие Варна апельсины? Болгарский апельсины! Не нузно стуки строить.

К о л я. Говорят тебе: апельсины.

Г р е к. Я хочу смотрети апельсины! Ну, долой с трюма! Митька, Анастасе, Элате-до!

Два матроса подходят.

Открывай трюм, надо ящики смотреть.

К о л я. Я не дам, пошли вон!

Г р е к. А, рассказывай! *(Хватает Колю.)*

Греческий матрос Колю держит. Грек с другими матросами открывает люк, вытаскивает ящик, Коля борется с матросом.

К о л я *(кричит).* Сережка, Виктор!

Из каюты выбегают В и к т о р Н и к о л а е в и ч, С а ш к а, М а т р о с, с бака бегут д в о е и з к о м а н д ы и М и н к а. Потом С е р е ж а.

М и н к а. Что ты мальчика душишь, дурак здоровый? Брось! Хороший мальчик такой. Надо тебе, дурбиле, это?

В и к т о р Н и к о л а е в и ч. Что здесь происходит? *(Греку.)* Что ты делаешь?

Г р е к. Мой судна, мой! Ты сто напхал у трюм? Бомби? Я знаю! Выкидай, Анастасе! А, много рассказывай! *(Отдирает доску с крышки ящика.)* Бре! Апельсины!

К о л я. Апельсины, действительно!

Анастас выбрасывает ящики на палубу.

Г р е к *(открывает второй ящик).* Апельсины! *(Анастасу.)* Давай, бре! Давай! Зива!

С е р е ж а. Опять апельсины.

Г р е к *(с командой открывает ящики).* Апельсини! Апельсини!.. Апельсини!

А н а с т а с *(из трюма).* Тяжелый есть один, а ну иди еще кто-нибудь.

Минка вскакивает, подают ящики. Грек открывает.

Г р е к. А! Это кабурья! Пистолети! Хорошие стуки!

А н а с т а с. А там опять апельсины!

К о л я. Что ж это такое? *(Смотрит на Виктора Николаевича.)*

В и к т о р Н и к о л а е в и ч *(Сашке).* Ты покупал! Это что же? Торгашество! На партийные деньги! Или это...

С а ш к а. Ящики ты купорил! Ты!

М а т р о с. Эге, вот какое дело!

В и к т о р Н и к о л а е в и ч. Это торгашество или предательство. *(Сашке.)* Про-во-ка-тор!

С а ш к а. Мер-завец!! *(Бьет Виктора Николаевича по лицу.)*

В и к т о р Н и к о л а е в и ч *(бросается на Сашку).* Предатель!

Свалка.

М и н к а. Зачем драться! Бросьте к черту! Потом дело разберете.

М а т р о с. Арапское это дело, чего разбирать, обоих за борт — и квита!

Г р е к. Митька, Анастасе! Всех, всех вязать, в трюм! Такое дело! Все через них пропадем. Все! Надо в полиция. *(Старается впихнуть в трюм Колю.)*

М и н к а *(заступается).* Что же ты делаешь?

Матросы наступают на остальных.

В и к т о р Н и к о л а е в и ч. Именем дела! Все сюда!

Образуются две группы, друг против друга; Виктор Николаевич, Сашка, Минка, Матрос и мальчики против Грека с командой; некоторое время боевое настроение, и Грек сдает.

Марш все в кубрик!

М и н к а. Да, идите, хлопцы, в кубрик! Дело вам говорят. За хозяйские галеты людей убивать? Что вы, с чаю подурели?

В и к т о р Н и к о л а е в и ч. Идите все в кубрик!

Матросы и Грек идут в бак.

М а т р о с *(Минке).* Э! нечистое тут дело! Есть тут какая-то лавочка! Что ж, там апельсинов понакуплювали. Что там есть оружия-то?

М и н к а. Нет, там есть-таки здорово!

М а т р о с. А апельсины? Такое дело надо раз! Хлоп — и в дамках! Тут фальшь кругом есть.

В и к т о р Н и к о л а е в и ч *(Матросу).* Отправляйся в кубрик и смотри за командой!

М а т р о с *(ворчит).* А за вами тут кто смотреть будет? *(Нехотя идет.)*

Виктор Николаевич *(Сашке).* Отправляйся в каюту, и на берегу партия разберет! Пойдешь на суд партии. И до самого берега не появляйся на палубе.

Коля. Идите, Саша!

Сережа. Идите, идите!

Сашка *(злобно).* Ну ладно!

Уходит.

Виктор Николаевич *(мальчикам).* Смотрите за ним! Сережа! Отправляйтесь и станьте у каюты. Коля! Бросьте ящики в трюм!

Коля. Есть. *(Бросает ящики.)*

Виктор Николаевич отправляется на бак, становится на борт за парусом. Коля не может поднять ящика с оружием. Оглядывается за помощью. Ищет глазами Виктора Николаевича и замечает проблески света за парусом. Крадется.

Что вы делаете? А, Виктор!

Виктор Николаевич. А, ты щенок! *(Набрасывается.)* Молчать!

Коля *(кричит).* Сережка! Все сюда!

Виктор Николаевич. Тебя... за борт.

Борются.

Коля. Он!.. Сигналы! Дает! Сашка!

Из кубрика выскакивают Матрос и Минка. Матрос хватает Виктора Николаевича, у Виктора Николаевича в руках фонарь, он старается вырваться.

Матрос. Стой, гад, ты фонарем!

Минка. Анафема!

Гонятся. С кормы выбегает Сашка. Из кубрика по одному появляются Грек с командой.

Сашка. Провокатор! Мерзавец!

Матрос. Держи! Бей его!

Виктор Николаевич бросается за борт.

А, вот тебе! Вот! *(Стреляет вдогонку два раза из револьвера.)*

Грек. Гони, гони на корму! *(В руках ганшпуны, ножи.)*

Сашка *(выхватывает револьвер).* Стой все!

Коля и Сережа вынимают револьверы.

Коля *(в азарте).* Всех перебью, по местам!

Грек. О диаволос! Бери их, ребята, бери! *(Сам прячется за команду.)*

Минка. Чего ж ты за людей прячешься? Хлопцы! Это ж люди за нашего брата. Чего вы грека слушаете!

Коля. Мы везем для рабочих оружие!

Матрос. Что, посдурели? На кого лезете! Нехай хозяин сам идет, что он вас уперед пхает?

Грек прячется.

М и н к а. Его вже нема!

М а т р о с. Сховался, гад.

И з к о м а н д ы. Да мы ничего! Он говорит: бомбы, судно взорвут!

М и н к а. Да брешет он, левольверты люди везут.

И з к о м а н д ы. Да, мы понимаем.

С а ш к а. Товарищи! К черту грека! Будьте с нами! *(Матросу.)* Иди на руль! Берем маяк за корму! Он туда сигналы давал. Тихо! И не курить на палубе! Закрыть трюм! Туши все огни!

Темнота.

З а н а в е с.

КАРТИНА ВТОРАЯ

Перед занавесом.

Справа выходят т р и р а б о т н и ц ы, впереди М о л о д а я, она ведет за руку пожилую А л е к с е е в н у, одна сзади.

А л е к с е е в н а *(останавливаясь).* Чего вы мене потаскали? На что я, баба, вам сдалася?

М о л о д а я. Читала — комитет писал, чтоб всем на улицу! Идем, идем, Алексеевна, вокзальные ребята всех папиросниц с работы сняли.

Слышен отдаленный фабричный гудок.

О! Слышь, девочки!..

Прислушиваются, останавливаются.

Комитет же писал — на Картомышевскую нашим! Я слышала, вокзальским ливольверты привезли, аж до тысячи.

В т о р а я. Брешешь!

А л е к с е е в н а. Ой, батюшки. } Вместе.
М о л о д а я. Пошли! *(Двигается.)* }

Справа вылетает К в а р т а л ь н ы й, кричит зверем.

К в а р т а л ь н ы й. Стой! Куда лезешь! Проваливай! Назад, назад поворачивай! Бабья тут еще не хватало!

Женщины пятятся.

А л е к с е е в н а. Уж какой страшный, какой ты фартовый с бабами воевать. Вынимай, вынимай селедку свою!

К в а р т а л ь н ы й *(наступая).* Осади! *(Замахивается.)*

А л е к с е е в н а. Скажи, петух какой! Ты бабе своей помаши! Развоевался!

М о л о д а я. Брось его! Идем! *(Тянет пожилую.)*

В т о р а я. Да идем же! *(Бросается назад.)*

Квартальный дает два коротких свистка. Т р о е г о р о д о в ы х вбегают справа с винтовками.

Г о р о д о в ы е. Стой! Назад!

М о л о д а я. Черти анафемские! Будете и вы бедные! *(Грозит кулаком.)*

Городовые. Ах ты рвань! *(Замахиваются прикладами.)*

Квартальный *(сзади.)* Бей, бей их, чертей!

Городовые ринулись, женщины убегают налево. Городовые уходят вправо. Околоточный приостанавливается, стоит монументом и поигрывает свистком на темлячке. За сценой ружейный залп. Квартальный прислушивается. Крики отдаленной толпы. Дает два коротких свистка. Выскакивают городовые. Квартальный расстегивает кобуру. Городовые берут на изготовку, щелкают замками — осторожно идут за квартальным влево.

КАРТИНА ТРЕТЬЯ

Комната первой картины.

Анна Сергеевна *(вбегает из двери слева).* Господи! Пальба! И чем это кончится? И спросить некого. Погадать, погадать! *(Хватает с буфета колоду карт.)* Ну куда я даму червей дела? *(Смотрит под стол, приподнимая скатерть.)* Все здесь, одну даму только найти!

Звонок. Входит Виктор Николаевич.

Виктор Николаевич. Здравствуйте! Что вы ищете?

Анна Сергеевна. Bonjour! Даму ищу, одну даму. Ну, ничего. *(Садится.)*

Виктор Николаевич. Какие вести о мальчиках? *(Садится.)*

Анна Сергеевна. Ничего, ничего не знаю, ведь мне не говорят. Вот все гадаю.

Виктор Николаевич *(озираясь).* А где они сейчас? В настоящую... минуту?

Анна Сергеевна. Вам лучше знать, Виктор Николаевич. Ведь вы их послали. Ведь ваше это дело.

Виктор Николаевич *(встает тревожно.)* То есть как мое дело? Позвольте, я...

Лишин *(входит).* А!.. Вот вас-то мне и надо. Слушайте! Что же это такое?

Виктор Николаевич. О Коле какие вести?

Лишин. Да никаких, конечно. Провалились.

Виктор Николаевич. То есть как провалились?.. Провал?

Лишин. Да вот так: как уехали, так с тех пор ни гугу. Присаживайтесь.

Виктор Николаевич. Простите. *(Анне Сергеевне.)* Мы здесь одни?

Анна Сергеевна. Да, да.

Виктор Николаевич. А... эта дама?

Анна Сергеевна. Червей дама, голубчик, червонная.

Лишин. Господи! Родятся же идиоты! Уйди ты куда-нибудь, ну на время, к черту хотя бы! *(Виктору Николаевичу.)* Да садитесь же.

Анна Сергеевна садится в угол на кресло.

Виктор Николаевич *(опускается на стул, локти на колени, смотрит в пол).* Я должен вас огорчить.

Лишин. Что? Опять сюрприз? Так и ждал!

Виктор Николаевич. У меня есть положительные данные, что мальчишки в руках провокатора.

Анна Сергеевна *(из угла)*. Коля?

Лишин. Вот ужас! Где они?

Виктор Николаевич. Этот провокатор... *(Встает.)*

Надя *(вбегает, бросается к Виктору Николаевичу)*. Ах, наконец! Ну как, как?

Лишин. Ты слышишь, что он говорит?

Виктор Николаевич. Да! *(Решительно.)* Все дело погублено.

Надя *(с ужасом)*. Что?

Виктор Николаевич. Так называемый Сашка оказался провокатором!

Надя. Что вы? Что же теперь будет. Какая мерзость! Господи, какая мерзость!

Виктор Николаевич. Мне удалось бежать с пути, чтоб предупредить организацию и вас.

Лишин. Да мальчишки-то куда попали? *(Наде.)* Ты знала? Секреты, секреты! И потом мне же ведь, мне эти секреты расхлебывать приходится. Где они?

Виктор Николаевич. Они на судне... Впрочем, сейчас не знаю. Ходили за границу за оружием. Теперь, может быть, в руках жандармов.

Лишин *(садится на стул)*. Черт знает что! Какой идиотизм! Форменный идиотизм!

Надя. Вот ужас! Мне и тогда этот Сашка ваш казался подозрительным. Как же это вышло?

Виктор Николаевич. Он закупил за границей больше апельсинов, чем оружия, шелку целые штуки, и это на деньги партии, и в пути выяснилось, что он сообщил обо всем охранке, в заговоре с капитаном ведет судно прямо в руки жандармерии.

Анна Сергеевна. Как же вы детей оставили? *(Орет.)* Ведь Колечку повесят!!

Лишин. Детей не вешают, не ори! Но что же это будет? Вот они, тайны, тайны, секреты... Эх, Виктор Николаевич, как вы-то могли?.. Я-то думал!

Виктор Николаевич. Мальчишек, может быть, удастся выгородить, но дело погибло, а пока мне самому надо скрываться.

Звонок. Виктор Николаевич вскакивает.

Надя. Сюда, сюда!

Виктор Николаевич уходит в дверь налево. Входят в среднюю дверь Сашка и мальчики. Все вскакивают.

Анна Сергеевна. Коля! *(Бросается к нему.)*

Надя. Что это?

Сашка. Здравствуйте! Приехали.

Сережа *(запирает все двери)*. Не орите!

Коля. Вот, понимаешь, здорово! Отлично! Все чисто! Привезли! У вокзальных теперь оружие — все вооружены. Здорово! А этот прохвост, твой Виктор проклятый, — провокатор, мерзавец.

Надя. Что? Что?

Сашка. Ну да! Он за борт прыгнул, прохвост. Еще, гляди, выплыл, такая сволочь не тонет, теперь еще звонить пойдет.

Надя. Как вы смеете! Провокатор — вы! Да, да!

Коля. Что? Что? Виктор твой фонарем сигналы давал.

Сережа. Шпик на полный ход!

Коля. Ты ничего не знаешь. Мы уже возвращались. Я его поймал, он фонарем знаки давал.

Сережа. Потом тика́ть и — хоп в воду. Матрос стрелял!

Лишин. Ничего не понимаю. Опять какие-то тайны!

Надя *(Сашке)*. Я докажу сейчас, что вы лжете, вы всех нас и мальчиков обманываете. Вас сейчас уличат как последнего подлеца. *(Идет, открывает левую дверь.)* Виктор Николаевич!

Коля *(изумленно)*. Он тут! Как это?

Надя *(громче)*. Виктор Николаевич!

Сашка. Давайте, давайте его сюда. *(Засовывает руку в карман.)*

Лишин. Что? Что? В моем доме? Я не допущу!

Сашка. Ну ладно. *(Вынимает руку.)* Черт с вами!

Надя уходит в двери налево, слышно: «Виктор! Виктор!»

Коля. Значит, выплыл.

Анна Сергеевна. Он сухой, сухой совсем.

Сашка. Из этого дела сух не выйдет.

Надя *(возвращаясь)*. Его там нет.

Идет в другие двери.

Сашка. Удрал, прохвост!

Надя опять возвращается.

Коля. Надька! Я ж тебе говорю, я сам его поймал.

Возня и голоса за дверью справа.

Даша *(вбегает)*. Ой, я не знаю что!

Голос Матроса. Пхай его сюда! Тебе, анафеме, этим хванаро́м голову продолбать надо!

Матрос с Минкой вталкивают Виктора Николаевича.

Матрос *(размахивает фонарем)*. Стой, гад!

Слышна отдаленная ружейная стрельба, гул.

Крышка тебе теперь!

Минка. Да уж не рипайся: все одно...

Надя. Виктор Николаевич! Что ж это? Докажите им...

Матрос. От этим самым хвинаро́м ему враз теперь по башке доказать надо!

Виктор Николаевич. У меня было условлено с организацией... эти сигналы...

Матрос. Наливай нам! Пушка это!

Минка. Да дай же человеку сказать.

Коля. А зачем вы в воду бросились?

В и к т о р Н и к о л а е в и ч. На меня накинулись...

К о л я. Почему вы не предупредили?

С а ш к а. В таких делах нет тайны от товарищей, которые все вместе рискуют.

Н а д я. Значит, вы всё лгали, лгали, лгали!

С а ш к а *(Виктору Николаевичу).* Провокатор!

В и к т о р Н и к о л а е в и ч *(оправившись, злобно).* Ладно! Пусть я провокатор! Да! Я агент! Но я вас не боюсь. *(Отступает к левым дверям.)*

А н н а С е р г е е в н а. Он бросится с балкона, ей-богу, бросится!

В и к т о р Н и к о л а е в и ч. Я вас не боюсь! *(Открывает левые двери, кричит.)* Патруль! Здесь шайка революционеров! Сюда! Я — агент! Я... я...

За сценой слышен шум толпы и пение: «Смело, товарищи, в ногу».

М а т р о с *(Виктору Николаевичу).* Стой, гад! *(Стреляет.)*

Виктор Николаевич падает в двери. Пение усиливается. Все настораживаются.

С е р е ж а *(бросается к окну).* Товарищи! Вокзальные идут, ей-богу! Ура!

Все бросаются к окну. Надя в это время, остолбенев, смотрит в двери, куда упал Виктор Николаевич. Лишин растерянно топчется от окна к Наде. Остальные в окно подхватывают: «Братский союз и свобода — вот наш девиз боевой» и так далее.

З а н а в е с.

ПОСЛЕДНИЕ МИНУТЫ

Дело было в октябре, 24-го числа. Вечером у адвоката были за столом: дама в шелковом платье, военный в полковничьих погонах, фабрикант и молодой человек из канцелярии сената.

На столе графинчики, бутылки, заливное на блюде и целый хоровод закусок.

А д в о к а т. Нет! Полное право имеем выпить. Во-первых *(адвокат при этом встал с бокалом в руке),* правительство распорядилось заткнуть рот большевистским газетам: обе приказано закрыть!

Ф а б р и к а н т. А закрыли? Так ли?

В о е н н ы й. Полковник Полковников пришлет юнкеров с пулеметом-с. И пулемет скажет: так-так-так-так! И будет так.

Д а м а. Так-так-так! Ах, полковник, еще, еще! Хорошенько их! Ну, пожалуйста!

А д в о к а т. Во-вторых! Налейте, господа! Советских комиссаров арестовать и отдать под военный суд — приказ Керенского.

Д а м а *(взвизгивает).* Душка Керенский! Вот, вот он. *(Достает из*

ридикюля карточку Керенского, тычет всем, потом целует, ставит перед собой.) Он нас спасет. Закусывайте, действуйте.

Военный. Не он — пулеметы-с! Юнкера-с! Действуйте.

Молодой человек. Ему не надо пулеметов, он уговорит, уговорит как пулемет, лучше даже. Он уговаривает наповал. Я его слушал и плакал.



Фабрикант. А я уже наплакался.

Дама. Фу, ворчун, не каркайте!

Адвокат. Господа! Встаньте! Возьмите в руки бокалы. Я объявляю вам: все партии — меньшевики, эсеры, даже еврейский Бунд — все против большевиков. Они одни — доигрались наконец. Ура! Да действуйте, господа!

Молодой человек. Действуем, действуем. Но господи боже! Да я всегда говорил, что русский народ — умный народ. Ну побаловались, а теперь все едят семечки, честное слово, все щелкают подсолнухи.

Фабрикант. А вот это кто щелкает? Слышите в форточку?

Адвокат. Неужели вы не знаете, что один выстрел войны не делает. Успокойтесь, правительство на своих местах, все. Действуйте же! Прошу, господа, стынет. Полковник, прошу!

Военный. Действую! Да. И батарея Михайловского училища охраняет дворец. Бат-та-р-р-ре-я! Ведь каждый юнкер — это почти офицер. А каждый офицер — это почти взвод.

Адвокат. Отлично, полковник, верим: вы целый полк! Только, господа, закусывайте, действуйте, действуйте!

Молодой человек *(с вилкой в руке)*. Действуем, действуем.

Дама. За Керенского! Господа, за нашего...

Адвокат. Телефон звонит! Одну минуту. Алло! Что, что вы говорите? *(Гостям.)* Тише, господа! Это секретно?.. *(Вешает трубку, шепотом.)* Господа! Сейчас сообщили, что Керенский... как это... уехал... в Гатчину, что ли.

Военный. Сбежал?

Дама *(прижимая к груди портрет, вскрикивает)*. Не верю!

А д в о к а т *(шепотом).* В Гатчину, на машине. Переодетый.

В о е н н ы й. Бабой, наверно. Ему к лицу — главноуговаривающий.

М о л о д о й ч е л о в е к. Боже! Кто же их теперь уговорит?

В о е н н ы й. Юнкера и пулеметы!

Д а м а. Ну, берите скорей пулемет и так их, так-так-так.

Ф а б р и к а н т. Надо складываться и того — фюить!

А д в о к а т. Вокзалы заняты «ими».

М о л о д о й ч е л о в е к. Дайте телеграмму генералу Корнилову.

А д в о к а т. Телеграф занят «ими». На телефоне юнкера!

В о е н н ы й *(встает).* И, черт! Надо было действовать!

М о л о д о й ч е л о в е к. Мы... действовали...

Д а м а. Хватайте скорей пулемет, полковник, дорогой!

Ф а б р и к а н т. Да верно ли? А ну-ка, хозяин, позвоните, справьтесь. Даст бог, все ваши знакомые врали.

А д в о к а т *(в телефон).* Алло, алло! Станция! Молчит. А, дьявол! Ал-ло-ло-ло!

М о л о д о й ч е л о в е к. И там «они»? Что ж это?

Д а м а. Я домой, домой!

А д в о к а т. На мостах матросы. Поздно, сударыня.

Г о р н и ч н а я. Поглядите в окно, народу-то что!

В о е н н ы й *(бросается к окну).* Солдаты, солдаты... И пулеметы.

Д а м а. Ах пулеметы, пулеметы! Куда это?

Г о р н и ч н а я. Сказывают, на Зимний.

Д а м а. Тушите свет, нас увидят. Скорее, скорее, и молчите! Тс-с!

Молодой человек тушит свет. Все молчат.

Г о р н и ч н а я. Барин, жаркое сейчас, что ли, подавать аль погодить?

А д в о к а т. К черту! Не до жаркого, самим бы живым остаться!

СОДЕРЖАНИЕ

ОЧЕРКИ

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

ПЬЕСЫ

Литературно-художественное издание

ДЛЯ СТАРШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Житков Борис Степанович

СЕМЬ ОГНЕЙ

Ответственный редактор
О. В. Москалева
Художественный редактор
В. П. Дроздов
Технический редактор
О. Е. Иванова
Корректоры
В. Г. Арутюнян и Л. А. Ни

ИБ 11569

Сдано в набор 05.02.89. Подписано к печати 23.05.89. Формат 70×100 1/16. Бумага офсетная № 1. Шрифт школьный. Печать офсетная. Усл. печ. л. 23,4. Усл. кр.-отт. 46,8. Уч.-изд. л. 20,25 Тираж 200 000 (1-й завод 1—100 000) экз. Заказ № 338. Цена 1 р. 20 к.+ 20 к.=1 р. 40 к. Ленинградское отделение орденов Трудового Красного Знамени и Дружбы народов издательства «Детская литература» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 191187, Ленинград, наб. Кутузова, 6. Фабрика «Детская книга» № 2 Росглавполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 193036, Ленинград, 2-я Советская, 7.



Житков Б. С.

Ж74 Семь огней: Очерки, рассказы, повести, пьесы/Рис. А. Брея, В. Владимирова, Н. Лапшина, П. Митурича, А. Самохвалова, Р. Семашкевича, С. Соколова, М. Цехановского; Оформл. Г. Фильчакова. — Л.: Дет. лит., 1989. — 287 с., ил.

ISBN 5—08—000182—8

Автор книги — известный советский детский писатель, один из основателей детской литературы. В этот сборник вошли его произведения для школьников старшего возраста: рассказы, повести, пьесы и очерки.

Ж $\frac{4802000000—155}{М101(03)—89}$ 196—89 **Р2ст**

1 р. 40 к.